



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ



Большая серия
Второе издание



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

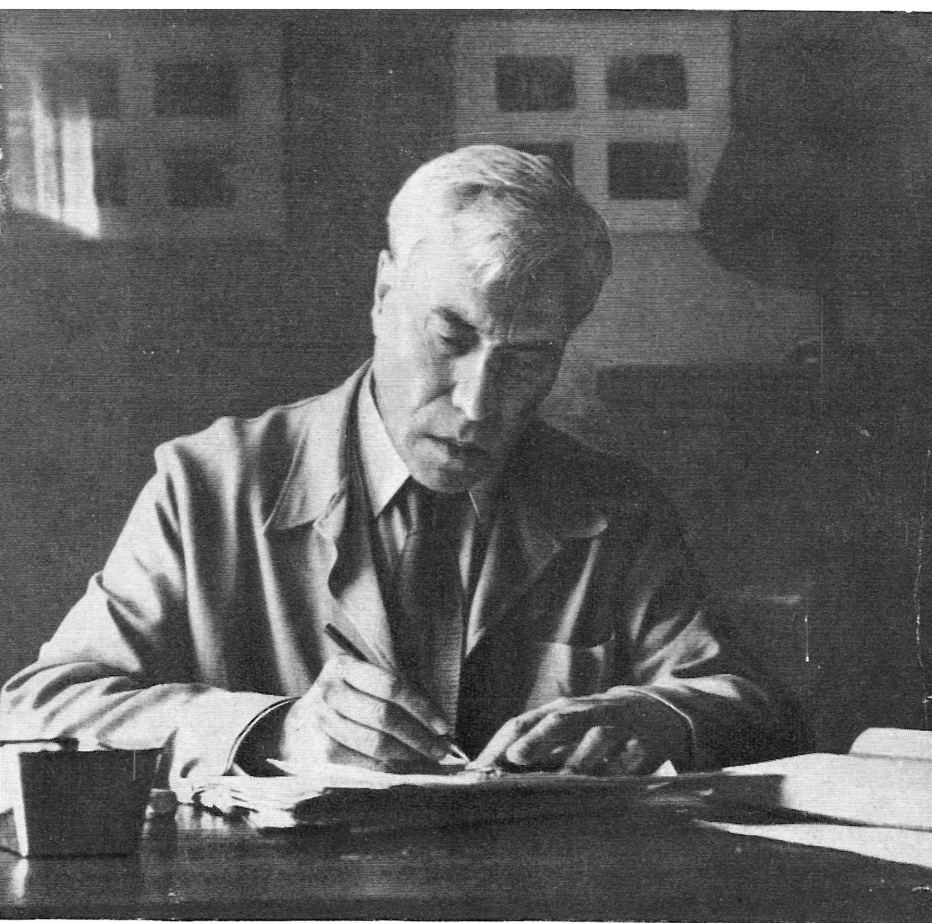
БОРИС ПАСТЕРНАК

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*Вступительная статья
А. Д. Синяевского*

*Составление, подготовка текста
и примечания
Л. А. Озерова*

Настоящее издание является первым научно подготовленным собранием стихотворений и поэм Бориса Пастернака, творчество которого представляет значительный вклад в историю советской поэзии. В книгу вошли стихи разных лет, начиная от первых, дореволюционных сборников и кончая написанными в последние годы жизни, а также поэмы: «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и «Спекторский». Ряд стихотворений печатается впервые.



Борис Пастернак

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературный путь Бориса Пастернака завершен — и пришло время объективно разобраться в его творчестве, в том, что составляло и силу и слабость его таланта. Подготовленное «Библиотекой поэта» первое фундаментальное собрание стихотворений и поэм Б. Пастернака, думается, должно помочь решению этой задачи.

Борис Пастернак занимает видное место в русской поэзии советской эпохи. Это поэт большого и совершенно своеобразного дарования, существенно обогативший культуру современного русского стиха. При всем том на творчестве Б. Пастернака лежит печать резких противоречий.

Поэт сформировался в дореволюционное время, в недрах буржуазной культуры, испытал заметное влияние модной в ту пору новейшей идеалистической философии (ближайшим образом — неокантианства). На этой почве сложилось субъективно-идеалистическое мировоззрение Б. Пастернака, обусловившее его эстетику, его художественные взгляды и убеждения.

С самого начала в творчестве Б. Пастернака отчетливо проявился крайний субъективизм жизненных восприятий и их художественного истолкования. Углубляясь в свой «внутренний мир», поэт оставался равнодушным к тому «объективному», что не вмещалось в границы его личного душевного опыта. Отсюда — бросающаяся в глаза скудость социального содержания в ранней лирике Б. Пастернака.

Нельзя не заметить, что подчас и в этой узко субъективистской лирике, наряду с жадой душевной цельности, ощущается чувство протеста против убожества, пошлости и фальши буржуаз-

но-мещанского мира, но оно, чувство это, не приобретало активного, наступательного характера, а выражалось лишь в стремлении обособиться от «неприятной» действительности и полностью сосредоточиться на своих интимных переживаниях и духовных исканиях.

В этом отношении Б. Пастернак разделил свойственное представителям буржуазно-индивидуалистического искусства заблуждение, о котором очень точно сказал А. М. Горький: «Пассивный романтизм полагает, что, если вытолкнуть личность из сферы задач и вопросов социальных, погрузить и углубить ее в капризную игру ее чувствований и мыслей о себе самой, то этим самым в стороне от жизни личность обретет утраченную цельность, „внутреннюю гармонию“». ¹

Такое углубление в свой «внутренний мир» не проходит для художника безнаказанно, — тем более для художника, живущего в эпоху величайших исторических сдвигов и потрясений.

Вопрос о сильном воздействии, которое оказала на творческое развитие Б. Пастернака Великая Октябрьская социалистическая революция, достаточно выяснен в советской литературной критике.

Живая жизнь, реальная история все настойчивее вторгались в творческий мир поэта. Не подлежит сомнению искренность, с которой Б. Пастернак стремился понять новую, социалистическую действительность. В середине двадцатых годов он обратился к историко-революционной теме и создал широкие эпические повествования «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт», принадлежащие к числу бесспорных достижений советской поэзии. В начале тридцатых годов, в книге «Второе рождение», поэт пытался вникнуть в «наш день, наш генеральный план» и заглянуть «в ту даль, куда вторая пятилетка протягивает тезисы души». В годы Великой Отечественной войны Б. Пастернак написал ряд стихотворений, проникнутых горячим патриотическим чувством и ненавистью к фашизму.

И все же Б. Пастернак не стал активным борцом за социализм. Не уступая своей исходной индивидуалистической позиции, он не сумел в должной мере постичь существо и смысл происходившего в стране и мире исторического процесса.

Мировоззрение Б. Пастернака с годами не претерпело глубоких изменений. Усвоенные поэтом в молодости идеалистические представления об искусстве и миссии художника так и не были изжиты им до конца. Искусство, в понимании Б. Пастернака, это

¹ М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24. М., 1953, стр. 451.

прежде всего выражение личного, индивидуально неповторимого опыта, — и поэтому, казалось ему, так трудна судьба художника при социализме.

Отсюда — противоречия лирических раздумий и признаний Б. Пастернака, в которых порой звучат жертвенные, ущербные ноты. Он и чувствует свою связь с новой действительностью, и боится утратить «неповторимость» своего внутреннего мира:

И разве я не мерюсь пятилетней,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Общими идейными посылками, влиянием идеалистической эстетики обусловлена специфика поэтики Б. Пастернака. Он исходил из того убеждения, что искусство вовсе не должно воспроизводить действительность в ее подлинности и конкретности, но призвано как бы заново воссоздавать образ действительности силой чувства и фантазии художника. «Искусство есть запись смещения действительности, производимого чувством», — утверждал Б. Пастернак в автобиографической книге «Охранная грамота».

Примером такого «смещения действительности» служит в значительной своей части поэзия Б. Пастернака с ее произвольной и зачастую парадоксальной ассоциативностью, чрезмерно усложненной метафоричностью, затрудненностью и сбивчивостью стихотворной речи. Вместе с тем поэт последовательно старается объяснить большое через малое, общее через частное, целое через деталь. Этот прием, в свою очередь, сильно суживает мир поэзии Пастернака.

А. М. Горький, считавший Б. Пастернака «талантом исключительного своеобразия», писал ему в 1927 году: «Мне часто кажется, что слишком тонка, почти неуловима в стихе вашем связь между впечатлением и образом. Воображать — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично». ¹

В пору творческой зрелости Б. Пастернак настойчиво стремился изменить свою излишне усложненную манеру и обрести ту естественность и «неслыханную простоту», которые, как утверждал он, подсказаны «опытом больших поэтов». На этом пути он достиг значи-

¹ «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». — Литературное наследство, т. 70. М., 1963, стр. 306 и 308.

тельных успехов — особенно в пейзажной лирике последних лет, подкупающей полной свободой поэтического дыхания и прозрачной ясностью стихотворного языка.

Сильное и самобытное дарование Бориса Пастернака обеспечило ему законное место в истории советской поэзии. Но идейные — философские, эстетические — основы творчества, неизжитый субъективизм художественного мышления ограничили возможности этого выдающегося русского поэта.

Редакционная коллегия «Библиотеки поэта»

ПОЭЗИЯ ПАСТЕРНАКА

Творчество Пастернака долгое время пользовалось известностью в сравнительно узком кругу знатоков и любителей поэтического слова. Литературная обособленность, одиночество Пастернака отмечались критикой на протяжении многих лет и объяснялись отчасти теми трудностями в самом понимании текста, с которыми сталкивался читатель, впервые открывающий его книги. «Читатели встретились с поэтом совсем особого склада, — писал один из критиков в конце 20-х годов. — Чтобы понять его, нужно было сделать над собой некоторое усилие, в известном смысле перестроить привычный способ понимания. Его манера воспринимать и самый словарь казались сначала неприемлемыми, удивительными, и назойливые вопросы о «непонятности», о том, «как это может быть», долго сопровождали появление каждой книги». ¹

Сгущенная метафоричность произведений Пастернака раннего периода зачастую воспринималась как претензия формы, за которой лишь смутно угадывалось глубокое содержание. Вместе с тем его первые книги производили впечатление почти полной отрешенности от современной жизни. За Пастернаком упрочилась репутация поэта далекого от больших общественных вопросов, замкнутого в мире сугубо интимных переживаний.

Но наряду с этим отрицательным, порою нетерпимым отношением к Пастернаку, уже в начале 20-х годов Маяковский называет его произведения среди образцов «новой поэзии, великолепно чувствующей современность». ²

¹ К. Локс. Борис Пастернак. Поверх барьеров. ГИЗ. 1929. — «Литературная газета», 1929, 28 октября.

² «Театральная Москва», 1921, № 8, стр. 6.

Тогда же В. Брюсов отмечал: «У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома автора, пропитаны духом современности; психология Пастернака не заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни». ¹

По складу таланта, по пониманию задач искусства Пастернак не принадлежал к трибунам и глашатаям революции. Отвлеченные идеалы нравственного совершенствования определяли его отношение к жизни, подход к действительности, не всегда отвечавший требованиям конкретной исторической обстановки. В творчестве Пастернака преобладало восприятие жизни с точки зрения «вечных» категорий добра, любви, всечеловеческой справедливости.

Но в ряде произведений поэта, написанных в разные годы, запечатлены революция и новая, советская действительность, показанные (как это вообще ему свойственно) под углом зрения нравственных перемен, внесенных в мировую историю нашим временем и нашим народом. О том же на закате жизни, в 1957 году, писал он в новогоднем послании, обращаясь к зарубежным читателям: «...И еще вот за что скажите спасибо нам. Наша революция, как бы ни были велики различия, задала тон и вам, наполнила смыслом и содержанием текущее столетие. Не мы, не наша молодежь, — даже сын вашего банкира уже совсем не то, чем были его отец и дед... И за этого нового человека, даже в вашем старом обществе, за то, что он живет, тоньше и одареннее своих грузных высокопарных предшественников, скажите тоже спасибо нам, потому что это детище века принято в родильном доме, называемом Россией. Так вот, не лучше ли нам мирно поздравить друг друга с наступающим Новым годом и пожелать друг другу, чтобы раскаты военного грома не примешались к хлопанью винных пробок на его встрече и никогда не раздались потом, и в течение его, и в следующие годы. Если же суждено грянуть несчастьем, вспомните, какие события воспитали нас и какую для нас были суровою закаляющею школой. Нет людей отчаяннее нас и более готовых к несбыточному и баснословному, и любой военный вызов превратит нас поголовно в героев, как в предшествующее недавнее испытание». ²

Большим содержанием, нужным людям сегодняшнего и завтрашнего дня, насыщены и стихи Пастернака, посвященные природе и

¹ В. Брюсов. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. — «Печать и революция», 1922, № 7, стр. 57.

² Дружбам на Востоке и Западе. Новогоднее пожелание. — «Литературная Россия», 1965, № 1, стр. 9.

принадлежащие, может быть, к лучшему, что им было написано за полвека литературной работы. Пейзажи Пастернака жизнеутверждающим пафосом, обновленным восприятием мира созвучны умонастроению современного человека. Недаром сам поэт создание своей книги «Сестра моя — жизнь», сложившейся летом 1917 года, связывал с мироощущением, рожденным новой эпохой: «Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неупомянутого». ¹

1

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля (29 января) 1890 года в Москве. Его отец — известный художник Л. О. Пастернак, мать — пианистка Р. И. Кауфман. Детские годы поэта протекали в атмосфере искусства, музыки, литературы. Разносторонние культурные интересы и связи семьи очень рано сказались на его склонностях. Так, еще в пору детства и ранней юности неизгладимое впечатление на него произвели немецкий поэт Райнер-Мария Рильке, Лев Толстой, Скрябин. Впоследствии он придавал определяющее значение в формировании своего духовного облика именно этим первым встречам с миром большого творчества, с художественной гениальностью. К ним присоединились позднее столь же личное, обостренно-биографическое восприятие лирики Блока и знакомство с Маяковским.

Первое творческое пристрастие и увлечение Пастернака всецело отдано музыке. Испытав сильнейшее воздействие Скрябина, он с тринадцати лет посвящает себя музыкальному сочинительству, изучает теорию композиции под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра. После шестилетних упорных занятий музыка была навсегда оставлена. В 1909 году Пастернак поступает на историко-филологический факультет Московского университета и основательно берется за философию. Чтобы пополнить свое философское образование, он в 1912 году едет в Германию и один семестр учится в Марбургском университете. Тогда же им была предпринята поездка в Швейцарию и Италию.

Еще в 1908—1909 годах у Пастернака пробудился интерес к современной поэзии и завязались дружеские отношения в этой

¹ Неопубликованное послесловие Б. Пастернака к его книге «Охранная грамота» (1931 г.). (Архив Б. Л. Пастернака.)

среде. Он принимает участие в поэтическом кружке Ю. П. Анисимова, пробует силы в литературной работе. Но лишь после Марбурга окончательно прояснилось его истинное призвание. Охладев к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искусству, которое с 1913 года становится главным и постоянным делом его жизни.

Столь же резкие разрывы и стремительные переходы от одного круга идей и занятий к другому (музыка, философия, поэзия), неудовлетворенность собою, творческий максимализм, готовность пожертвовать годами труда, для того чтобы пережить «второе рождение», — характеризуют и литературную биографию Пастернака. Он развивался, смело перечеркивая свое прошлое. Начальная пора его поэтических исканий, отмеченная перекрестным влиянием символизма и футуризма (тогда он вместе с Н. Асеевым и С. Бобровым входил в группу умеренных футуристов «Центрифуга»), в дальнейшем была им решительно пересмотрена. Очень многое из написанного им до семнадцатого года Пастернак вообще не включал в позднейшие издания.

Появление книги «Сестра моя — жизнь» в 1922 году выдвинуло ее автора в ряд видных мастеров современного стиха. С этой книги, можно сказать, начинается Пастернак как вполне самобытное поэтическое явление. То, что ей предшествовало в творчестве молодого поэта — книги «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров» (1917), — носило характер первых опытов, подготовки, настройки и было связано с поисками индивидуального голоса и своего взгляда на жизнь, своего места в пестроте литературных течений. Ряд стихотворений, входивших в сборники «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров», впоследствии был переписан наново и появился в неузнаваемом виде. Хотя уже во второй книге намечались некоторые знаменательные признаки и устойчивые вкусы поэта (стремление к раскованности речевого выражения, к достоверному воссозданию живой картины, к порывистой, динамичной изобразительности), он счел нужным коренным образом ее переработать, подготавливая «Поверх барьеров» к новому изданию 1929 года. Исчезают свойственные его ранним сборникам и навеянные символистами поэтические штампы, отвлеченность и нарочитое затемнение речи, футуристические (как он сам выразился впоследствии) «побрякушки», сообщающие стиху «постороннюю остроту» в ущерб его смыслу, содержанию.

Намечая периодизацию творчества Пастернака, можно, таким образом, обозначить период 1912—1916 годов как время ученичества, накопления опыта, становления его поэтики, еще не зрелой, не

вполне самостоятельной. Крупнейшей вехой на литературном пути Пастернака стало создание в 1917 году книги «Сестра моя — жизнь». Работа над нею протекала необычайно активно, бурно, стремительно и свидетельствовала о взлете поэтического вдохновения, о внезапном мощном напоре творческой энергии, хлынувшей в эту книгу. Затем, после сборника «Темы и вариации», изданного в 1923 году и во многом представлявшего ответвление, продолжение «Сестры моей — жизни», начинается период напряженных эпических исканий поэта (1923—1930 годы): работа над «Высокой болезнью», историко-революционными поэмами «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», романом в стихах «Спекторский».

В 20-е годы Пастернак примыкал к литературному объединению «Леф» (В. Маяковский, Н. Асеев, С. Третьяков, О. Брик, Н. Чужак и др.). Эстетические установки «Лефа» на подчеркнута тенденциозное, агитационное искусство, проповедь утилитаризма и технизма — были ему далеки. Временная и очень непрочная связь Пастернака с левовцами поддерживалась дружбой его с Маяковским и Асеевым, некоторой общностью устремлений к стиховому новаторству, к разработке современного поэтического языка. Но в левовской среде Пастернак чувствовал себя инородным телом, о чем заявил открыто в 1928 году. Отметим попутно, что групповая регламентация, приверженность к какой-то школе, к определенной литературной платформе всегда были чужды Пастернаку. Даже в ранний, дооктябрьский период, выступая заодно с футуристами, он перетолковывал футуризм на иной, скорее импрессионистический лад и тяготился узостью группы, к которой принадлежал.

Закончив большую работу над историческими поэмами, Пастернак в начале 30-х годов вновь обращается к лирике (книга «Второе рождение»). Он заметно меняет лирическую тональность и манеру изображения, развиваясь в направлении большей ясности и классической простоты стихотворного языка. Процесс этот затянулся и сопровождался в его работе временным спадом энергии, длительными перерывами в творчестве.

Тридцатые годы — наиболее трудная, переломная для поэта пора. В это время он мало создает оригинальных произведений, отдавая основные силы переводческой деятельности, которая с 1934 года приобретает регулярный характер и продолжается до конца его жизни (переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гете, Шиллера, Клейста, Рильке, Верлена и др.).

Лишь в начале 1941 года, накануне войны, поэт преодолевает кризис и вступает в полосу творческого подъема. Появляется ряд первоклассных стихотворений, вошедших в книгу «На ранних

поездах» (1943). Отсюда протягиваются прямые связи к лирике Пастернака конца 40-х и 50-х годов, увенчавшей его жизненный путь (Пастернак умер 30 мая 1960 года).

И в 20-е и в 30-е годы, и позднее, вплоть до последних лет жизни поэта, мы наблюдаем у него постоянные попытки пересмотреть и переоценить свое литературное прошлое. Известно, например, заявление, сделанное им в 1956 году, что он не любит своего стиля до 1940 года. Подобные самооценки, не всегда справедливые, — в натуре Пастернака, предпочитавшего не накапливать, а терять — ради дальнейших свершений. Искусство в его понимании — непрестанная самоотдача, движение, озабоченное не итогами, а открытиями.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех. . .

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

Настойчивая, проходящая сквозь всю биографию Пастернака, тяга к обновлению художественного взгляда и стиля не исключает, однако, большого внутреннего единства в его творчестве 1917—1960 годов. Оно целостно в своих ведущих идейных и стилевых тенденциях. Вслед за «Сестрой моей — жизнью», которая утвердила жизненное и эстетическое кредо поэта, Пастернак изменялся, не нарушая основ своей лирики. Он восполнял и развивал то, что сложилось в этой книге, прозвучавшей как его первооткрытие.

Очертив контуры поэтического пути Пастернака, попытаемся войти в индивидуальный мир художника, требующий пристального внимания к его жизненной философии, к словесной ткани и образному строю его поэзии. Для этого мы несколько отойдем от последовательно-хронологического изложения его творческой биографии и обратимся непосредственно к стихам, написанным в разное время и зачастую в разной манере, но единых, перекликающихся в каких-то основных стимулах и решениях.

2

Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе. Содержание этих стихотворений шире обычных пейзажных зарисовок. Рассказывая о веснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастер-

нак повествует о природе самой жизни, мирового бытия, исповедует веру в жизнь, которая, как нам кажется, главенствует в его поэзии и составляет ее нравственную основу. Жизнь в его толковании — нечто безусловное, вечное, абсолютное, всепроникающая стихия и величайшее чудо. Удивление перед чудом существования — вот поза, в которой застыл Пастернак, навсегда пораженный, замороженный своим открытием: «опять весна».

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.
Это она, это она.

От его пейзажей веет свежестью, здоровьем. По верному замечанию О. Мандельштама, «Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза». ¹

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Изо дня в день, из строки в строку Пастернак не устает твердить об этой жизненности природы, спасительной, всепобеждающей. Деревья, травы, облака, ручьи облакаются в его стихах высоким правом говорить от имени самой жизни, наставлять нас на путь истины, добра. («На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал»). Самое ценное, самое прекрасное может заключаться в одном кустике вербы:

¹ О. Мандельштам. Борис Пастернак. — «Россия», 1923, № 6, стр. 29.

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она, —
По иве, иве разрыдалась. . .

Когда случилось петь Офелии, —
А горечь грез осточертела, —
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Пейзаж в творчестве Пастернака зачастую уже не объект изображения, а субъект действия, главный герой и двигатель событий. Вся полнота жизни в разнообразии ее проявлений вмещается в клочок природы, который, кажется, способен совершать поступки, чувствовать и мыслить. Уподобление природы человеку, свойственное поэзии, достигает у Пастернака такого предела, что пейзаж выступает в роли наставника и нравственного образца. «Роняет лес багряный свой убор» — такова утвердившаяся в русской поэзии, классическая формула осени. У Пастернака мы нередко встречаем обратный ход мысли: «Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья. . .»; «Твой смысл, как воздух, бескорыстен. . .» — обращается поэт к любимой. Человек определяется через природу, в сравнении с нею обретает свое место в мире. Эта власть, вернее сказать, заступничество природы не унижает человека, ибо, повинувшись и уподобляясь ей, он следует голосу жизни. Вместе с тем природа в творчестве Пастернака настолько близка человеку, что, будучи оттеснен и замещен пейзажем, он вновь оживает в нем. Степень очеловечивания мира здесь такова, что, гуляя по лесам и полям, мы имеем дело, по существу, не с картинами этих лесов и полей, а с их характерами, психологией.

О своем пребывании в Венеции Пастернак вспоминает: «Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью». ¹ В его поэзии состоялось подобного рода свиданье с пейзажем, воспринятым как неповторимая, самобытная личность:

И вот тыходишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

У Пастернака природа приобретает все черты индивидуального лица. Мы привыкли к тому, что «дождь идет», а теперь узнаем: «Ско-

¹ Борис Пастернак. Охранная грамота. Л., 1931, стр. 81

рей со сна, чем с крыш; скорей забывчивый, чем робкий, топтался дождик у дверей. . .». У пейзажей Пастернака есть свой нрав, симпатии, излюбленные развлечения — тучи играют в горелки, гром занимается фотографией, ручьи поют романс. Его пейзаж наделяется даже портретными чертами:

И лес шелушится, и каплями
Роняет струящийся пот.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водопоя.

«Лицо лазури», «лицо реки», «лицо грозы, с себя сорвавшей маску» — таков мир природы, многолюдное и многоликое сборище.

Поэзия Пастернака насквозь метафорична. Но метафорический характер всех этих уподоблений зачастую не воспринимается, настолько живо происходящее на наших глазах действие. Не в иносказательном смысле, а буквально «плачет сад» или «бежит гроза», представленные во всем правдоподобии неподдельного, всамделишного поступка:

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дуря,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

Метафора в поэтике Пастернака выполняет прежде всего связующую роль. Она мгновенно, динамично стягивает в единое целое разрозненные части действительности и тем самым как бы воплощает великое единство мира, взаимодействие и взаимопроникновение явлений. Пастернак исходил из положения, что два предмета, расположенные рядом, тесно взаимодействуют, проникают один в другой, и потому он связывает их — не по сходству, а по смежности, — пользуясь метафорой как связующим средством. Мир пишется «целиком», а работа по его воссоединению выполняется с помощью переносного значения слов:

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Последняя строка позволяет понять, почему «даль пугается», а «дом упасть боится»: они тоже только что выписались из больницы, — как человек, от узелка которого засинел воздух.

Пейзаж — и шире, весь окружающий мир — обладает у Пастернака повышенной чувствительностью. Он остро и мгновенно реагирует на изменения, происходящие в человеке, не только соответствуя его чувствам, мыслям и настроениям (случай, распространенный в литературе), а становясь его полным подобием, продолжением, alter ego. Механика этих превращений обнажена в прозаической «Повести» Пастернака. Влюбленный герой вдруг замечает: «Разумеется, весь переулочек в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок, и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром... Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд... он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни».¹

Обратите внимание: чувство, охватившее Сережу, было *шире и точнее* подобных же явлений, пережитых другими людьми — друзьями и предшественниками. Да ведь это о самом себе рассказывает здесь Пастернак, о своих отличиях от предшественников и современников. Его «соответствия» отличаются от традиционных (пейзаж — аккомпанемент переживаниям человека) именно широтой и точностью возникающего образа: все — *кругом и целиком* — превращается в Анну Арильд.

В этом Пастернак ближе всего, пожалуй, к метафорическим броскам Маяковского, уподоблявшего мир страстям и страданиям своего героя («От плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом...»). Но у того распространение эмоции на действительность мотивировано беспокойством, доведенным до крайней степени напряжения («я не могу быть спокойней»), силой, грандиозностью душевных переживаний поэта. Пастернак «спокойнее», «тише», «сдержанней» Маяковского; подобного рода смещения вызваны у него не столько исключительностью страсти, сколько тонкостью чувства к рефлексам и резонансам, чуткостью каждой вещи к соседней, смежной. Ответная реакция здесь не достигает столь гиперболических размеров, но каждая капля бросает ответ; все предметы, даже самые незначительные, влияют друг на друга и перенимают чужие

¹ Борис Пастернак. Воздушные пути. М., 1933, стр. 134.

признаки. В поэзии Пастернака нельзя отделить человека от обстановки, живое чувство от мертвой материи. Посредством метафорической скорописи действительность изображается в слиянии различных частей, в пересечении граней и контуров, как единое неделимое.

Пастернака увлекала задача — в пределах стихотворения воссоздать всеохватывающую атмосферу бытия, передать владевшее поэтом «чувство короткости со вселенной». В его стихах лирическое повествование не развивается последовательно от явления к явлению, но скачет «поверх барьеров», тяготея к широкой эскизности, к размашистому живописанию целого. С помощью иносказаний, переносного значения слов вещи сдвигаются со своих насиженных мест и приходят в бурное хаотическое движение, призванное запечатлеть действительность в ее естественном беспорядке.

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Своеобразное положение в этом сквозном, пересеченном метафорами пространстве занимает образ поэта, художника. За исключением немногих произведений, он не выделен, не развернут как вполне самостоятельный, обособленный характер. В отличие от Блока, Цветаевой, Маяковского, Есенина, лирическая партия сравнительно редко ведется здесь от первого лица. Там личность поэта стояла в центре, и его творчество, растянувшееся многолетним дневником, рассказом «о времени и о себе», составляло некое житие, драматическую биографию, которая разыгрывалась перед глазами читателей и была окружена ореолом легенды. Пастернак отходит от этой концепции, обозначенной им как «романтическое», «зрелищное понимание биографии» поэта.¹ Он мало рассказывает о себе и от себя, старательно убирает, прячет свое «я». При чтении его стихов подчас возникает иллюзия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как рассказчик, как свидетель, видевший все то, что здесь изображено. Природа объясняется от собственного имени:

¹ Борис Пастернак. Охранная грамота, стр. 111—113.

.. В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Не поэт замечал, а «облака замечали», так же как в другом месте — не поэт вспоминает о детстве, а «снег напоминает мельком, мельком: спатки — называлось, шепотом и патокою день позападал за колыбельку. . .». В одном из поздних пастернаковских стихотворений, «Заморозки», мы снова сталкиваемся с таким несколько необычным изображением, в котором пейзаж и зритель как бы поменялись ролями и сама картина разглядывает стоящего перед ней человека:

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Если Маяковский или Цветаева хотят говорить за весь мир от своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него и вместо него: «не я про весну, а весна про меня», «не я про сад, а сад про меня».

.. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Сама природа выступает в качестве главного лирического героя. А поэт — повсюду и нигде. Он — не сторонний взгляд на раскинувшуюся панораму, но ее двойник, становящийся то морем, то лесом. В стихотворении «Плачущий сад», например, обычный параллелизм — «я и сад» — оборачивается равенством: «я — сад», и Пастернак одними и теми же словами рассказывает «про него» и «про себя»:

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель. . .

К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.

Это единение с природой, без свидетелей и соглядатаев, придает стихам Пастернака особую интимность и подлинность.

Героем его известного стихотворения «Зеркало» также является сад, но сад, отраженный в трюмо, живущий, так сказать, второй жизнью, подсмотренный из таинственной зеркальной глубины: «Огромный сад тормозится в зале в трюмо — и не бьет стекла!» Любопытно, что в ранней публикации это стихотворение декларативно называлось «Я сам»: рассказ о трюмо, вобравшем сад, и был для поэта рассказом о самом себе. Именно таким зеркалом, породившимся с жизнью, равным ей, осознает себя Пастернак. А в стихотворении «Девочка», продолжающем образный ряд «Зеркала», устанавливается обратная связь — трюмо узнает себя в ветке, вбежавшей из сада, поэт видит в природе свое подобие, повторение:

Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

3

Так складывалась художественная система Пастернака — в книге с названием, звучавшим как поэтическая декларация, — «Сестра моя — жизнь». Так утверждалось единство поэта и природы — первое и основное кредо поэта.

Казалось альфой и омегой, —
Мы с жизнью на один покров;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.

По глубокому убеждению Пастернака, поэзия — прямое следствие жизни, ее производное. Художник не выдумывает образы, а черпает их на улице, помогая творчеству природы, но никогда не подменяя его своим вмешательством.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.

Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Зарождение искусства в недрах природы — излюбленная тема Пастернака. Представленная в разных вариациях, она неизменна в одном: первоисточником поэзии является сама жизнь, поэт же в лучшем случае — ее соучастник, соавтор, которому остается только подсматривать и удивляться, собирая готовые рифмы в подставленную тетрадь. Отсюда такое распространение литературных терминов в пейзажах Пастернака:

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли..

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари,
Кропают с кровель свой акrostих,
Пуская в рифму пузыри.

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитие,
И сознавал свой интерес.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат..

Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет,
Предмет и содержание книги,
А парк и клумбы — переплет.

Это отождествление искусства и жизни, поэзии и природы, передача авторских прав пейзажу — служат, в общем, одной цели: предлагая нашему вниманию стихи, сочиненные самой природой, автор как бы удостоверяет нас в их подлинности. А подлинность, достоверность образа является для Пастернака высшим критерием искусства. Его взгляды на литературу и поэтическая практика проникнуты заботой: «суметь не исказить глоса жизни, звучащего в нас».

«Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть»,¹ — заявлял Пастернак. Реализм в его понимании (обостренная впечатлительность и добросовестность художника в передаче реального бытия, которое, подобно живой человеческой личности, всегда целостно и уникально) присущ всякому истинному искусству и обнаруживает себя в творчестве Льва Толстого и Лермонтова, Шопена и Блока, Шекспира и Верлена; тогда как романтизм для Пастернака понятие скорее отрицательное, ибо склонен к фантазированию и легко пренебрегает верностью изображения.

Эта сторона его эстетических воззрений представляет тем больший интерес, что Пастернак длительное время был связан с кругом футуристов, позднее — левовцев, среди которых широкое хождение имел так называемый формальный метод, трактующий художественное произведение как сумму технических приемов. «Современные течения, — писал Пастернак в начале 20-х годов, — вообразили, что искусство — как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия. Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады...»²

Тот же образ — «поэзия-губка» — развернут в одном из ранних стихотворений Пастернака, считавшего повышенную восприимчивость определяющим моментом своего творчества:

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

¹ Борис Пастернак. Несколько положений. — Сб. «Современник», № 1. М., 1922, стр. 6.

² Там же, стр. 5.

Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

Знакомясь с литературными взглядами Пастернака, поражаешься настойчивости его предостережений: не помешать, не спугнуть! Эти опасения в значительной мере направлены против предвзятого отношения к натуре, против мышления чужими, готовыми, стереотипными формулами, против штампа в широком смысле этого слова. Сила, чистота, непосредственность восприятия утверждались им как необходимое условие искусства, а новаторство совпадало с поисками наибольшей естественности и достоверности изображения. Поэтому, например, в статье о творчестве Шопена Пастернак замечал, что оно «насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сходства с натурой, с которой он писал».¹

Искусство в таком понимании предполагает обновленный взгляд на мир, который как бы впервые постигается художником. Пастернак считал, что исходный момент творческого процесса состоит в том, что мы «перестаём узнавать действительность» и порываемся говорить о ней с непринужденностью и безыскусственностью первого поэта на земле. Отсюда свойственные его лирике акценты и устремления: необычайность, фантастичность обыденных явлений, которые он предпочитает всем сказкам и вымыслам, утренняя свежесть взгляда (характерна поза только что проснувшегося человека — «Я просыпаюсь. Я объят открывшимся...»), ощущение первозданности, новизны всего, что происходит вокруг («Вся степь, как до грехопадения...»).

Примечательно, что в его поэзии не нашла места стилизация. Стиль Пастернака, его видение мира исключают всякое подражание, кроме подражания природе. Обращаясь к историческому лицу, например к Бальзаку, он создает образ по самобытности воплощения близкий разве что Бальзаку Родена:

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией — старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.

¹ Борис Пастернак. Шопен. — «Ленинград», 1945, № 15-16, стр. 22.

Стихотворение, посвященное Анне Ахматовой, начинается заявкой:

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.

В дальнейшем, раскрывая суть ахматовской лирики, Пастернак тем не менее остается самим собой и не пишет «под Ахматову». Не в силах расстаться со своей «ошибкой», он подбирает слова, похожие не на чужой стиль, а на первозданность мира. Поэтому, в частности, Пастернак не боится идти на самые тесные порой сближения с классиками и рискует, не впадая в банальность, избрать эпитафией такие хрестоматийные строки, как «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана», или начать стихотворение знаменитым «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Подобные встречи с классическими образцами для него безопасны: он застрахован от литературных реминисценций свежестью взгляда, новизною манеры и может позволить себе, как в «Темах и вариациях», положить в основу произведения заведомо традиционные образы, дав им глубоко оригинальную трактовку.

В своей поэтической деятельности Пастернак соприкасался с очень широким кругом художественных явлений прошлого и современности. При всем резко индивидуальном характере своего миропонимания и манеры он склонен не к разрывам, а к постоянным контактам с культурным наследием, к утверждению идеи связи, исторической преемственности в развитии искусства. Эти склонности опять-таки выделяли его из футуристической среды в 10-е и 20-е годы, проникнутой духом разрушения, ломки художественных традиций.

В анкете, выясняющей отношение современных авторов к классической литературе (1927 год), Пастернак писал: «Мне кажется, что в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удалиться от пушкинской эстетики. Под эстетикой же у художника я понимаю его представление о природе искусства, о роли искусства в истории и о его собственной ответственности перед нею». Здесь же он появлялся, в чем же конкретно заключалось влияние Пушкина на его творчество: «Пушкинская эстетика так широка и эластична, что допускает разные толкования в разные возрасты. Порывистая изобразительность Пушкина позволяет понимать его и импрессионистически, как я и понимал его лет 15 назад, в соответствии с собственными вкусами и царившими тогда течениями в литературе. Сейчас это

понимание у меня расширилось, и в него вошли элементы нравственного характера». ¹

По-своему показателен и такой факт литературной биографии Пастернака, как его пребывание в ранний, футуристический период в группе «Центрифуга», где, в отличие от крайне агрессивных тенденций кубофутуризма, господствовало более терпимое отношение и к стихотворной традиции XIX века, и к ближайшим учителям — символистам. ²

Что же касается «заветов» русского символизма, то здесь симпатии Пастернака были отданы И. Анненскому, А. Белому и — в особенности — Блоку, в творчестве которых он искал тогда в первую очередь все ту же, понятую в импрессионистическом духе, «порывистую изобразительность» поэтического рисунка, характеризующую его собственный почерк той поры, в котором преобладала «мгновенная, рисующая движение живописность». Много лет спустя, в биографическом очерке (1956 год), Пастернак признается, что из разнообразных качеств поэзии Блока именно «блоковская стремительность», «блуждающая пристальность» взгляда, «беглость» наблюдений и зарисовок были ему лично наиболее близки и наложили на его стиль наибольший отпечаток. «Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость, — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица. . . Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. . . В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такою нервной, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира». ³

Нетрудно заметить, что Блок здесь получает, так сказать, типично пастернаковскую оркестровку. Этот чрезвычайно отчетливо выраженный индивидуальный угол зрения на творчество предшественников и современников сказывается и в интерпретации Шекспира, Верлена, Рильке, Толстого, Чехова, Маяковского и других чем-либо

¹ «На литературном посту», 1927, № 5-6; стр. 62.

² Аттестуя поэтов этой группы, В. Брюсов, например, отмечал, что футуризм у них «сочетается со стремлением связать свою деятельность с художественным творчеством предшествующих поколений», что они «более тесно связаны с заветами прошлого» («Русская мысль», 1914, июнь).

³ Архив Б. Л. Пастернака.

близких поэту авторов. Пастернак всегда пристрастен, порой парадоксален в своих эстетических оценках и трактовках. В этом, в частности, проявляется глубокая оригинальность его художественной природы, сочетающей вкус к традициям мирового искусства с духом самого дерзкого новаторства. О своей поэтической юности и влиянии ближайших предшественников он рассказывает в «Охранной грамоте»: «Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немислимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца». ¹

В стремлении взглянуть на действительность и поэзию новыми глазами, освежить эстетическое восприятие мира и в соответствии с этим пересоздать художественную систему Пастернак перекликался с рядом поэтов, накануне и после революции борющихся за освобождение литературы от устаревших форм. В этом широком движении, охватившем в XX столетии все сферы искусства, было немало издержек, пустого оригинальничанья, но в нем заключалась и та здоровая, обновляющая сила, без которой немислимо развитие подлинно современного искусства, и звучало требование самой жизни, не поддающейся описанию на языке изжитых канонов и навязших в зубах штампов. Об этом говорил Маяковский:

И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.

Тот же крик слышался в стихах Пастернака:

Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

¹ Борис Пастернак. Охранная грамота, стр. 91—92.

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.

Как это вообще свойственно Пастернаку, обновление поэзии здесь предполагает освобождение вещей от словесного безличия, от маски литературных шаблонов.

В поисках новых слов, способных вернуть миру индивидуальное лицо, Пастернак обратился к живой разговорной речи и принял участие в той решительной демократизации поэтического языка, которая в 10-е и 20-е годы затронула многих поэтов и наиболее бурно протекала в творчестве Маяковского. Но если у Маяковского расширение словаря шло главным образом за счет языка заговорившей в полный голос улицы, где вульгаризмы перемешивались с лексикой политических выступлений, и диктовалось расширением темы, побравшей город, войну, революцию, то Пастернак долгое время оставался в кругу традиционных тем, заезженных поэтами прошлого и настоящего. Однако о традиционных веснах и закатах он заговорил по-новому и рассказал о красоте природы не языком привычных поэтических банальностей, а расхожими словами нашей повседневности, житейской прозы. Тем самым он возвратил ей утраченную свежесть, эстетическую значимость. Избитый сюжет в его обработке превратился в живое событие.

Смело вводя в высокую речь поэзии низкий язык жизни, городской современности, Пастернак не гнушается канцеляризмами, обиходным просторечием, разговорными идиомами. В новом применении эти формы, стершиеся в нашем быту, как разменная монета, звучат свежо, неожиданно. Поэтому общепотребительный штамп становится оружием в борьбе с литературным шаблоном. Пастернак склонен на самые возвышенные темы объясняться без обиняков, подомашнему, и взволнованное величие Кавказа передавать просто, в тоне фамильярной бытовой беседы — «не в своей тарелке», или — «Кавказ был весь, как на ладони, и весь, как смятая постель...» Его своеобразие в том и состоит, что он поэтизирует мир с помощью прозаизмов, которые вливают в стихи правду жизни и потому переводят их из сферы сочиненной выдумки в разряд подлинной поэзии.

В повести «Детство Люверс», прослеживая внутреннее формирование героини, столкнувшейся с реальной действительностью, Пастернак замечает: «Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой

и превратилась в факт».¹ Проза подлинного факта служит в его творчестве источником поэтического, ибо через нее образам сообщается достоверность реального хода вещей. В этой связи становится понятным парадоксальное заявление Пастернака: «Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки».² Позднее, касаясь «Ромео и Джульетты» Шекспира, он опять-таки объявляет прозу в поэзии проводником жизни: «Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда пропитывает простота и свежесть прозы».³

Прозаизмы, просторечная лексика придают образам Пастернака большую конкретность, овеществляют, приближают к нам отвлеченные понятия. Синтаксический и ритмический строй его стихов подчинен той же цели: создать такую гибкую поэтическую систему, которая по своей тональности напоминает (разумеется, лишь напоминает) разговорную речь и позволяет говорить на языке поэзии столь же непринужденно, как мы говорим в жизни. Он развертывает стихотворную фразу во всей сложности соподчинений, пребывает себя, опускает, как это случается в обиходе, некоторые связующие звенья, а главное — стремится к свободной, раскованной поэтической речи, обладающей широким дыханием и построенной на развитии больших и целостных интонационных периодов. Способность мыслить и говорить в стихах не отдельными строчками, а строфами, периодами, оборотами Пастернак особенно ценил в творчестве других поэтов, высоко отзываясь, в частности, о родственном ему в этом отношении словесном искусстве Цветаевой.

Однако эта проблема не сводилась для Пастернака к простому сближению стиха с разговорными формами. Естественность, непринужденность интонации соотнесена в его творческой практике с более общим эстетическим требованием, которое он себе предъявлял, — с требованием широты и целостности художественного восприятия, призванного воссоздать в стихе некую единую панораму или атмосферу жизни. Это явственно ощутимо, например, в стихотворении «Смерть поэта», посвященном Маяковскому: жизнь гения в веках, его внезапная гибель, толки и оторопь свидетелей катастрофы и крикливая весенняя улица, представленная одновременно как отрывок разразившейся драмы и ее убогое сопровождение, и все это собрано в ком и пущено в ход неудержимым напором голоса, который рвется

¹ Борис Пастернак. Воздушные пути, стр. 20.

² Борис Пастернак. Охранная грамота, стр. 22.

³ Борис Пастернак. Заметки к переводам шекспировских трагедий. — Сб. «Литературная Москва». М., 1956, стр. 798.

вслед за событием, охватывает, омывает его и укладывает в несколько катящихся друг за другом, мощных интонационных периодов:

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их,
Как, сплотив, выплеснул из стока б
Лещей и шуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых...

Пастернак прибегает охотно к кажущимся уклонениям в сторону (например, грачи на деревьях в начале стихотворения), которые на самом деле говорят о широком заходе, развороте интонации и во-влекают в действие всю окружающую обстановку, не оставляя в стихе нейтрального фона. Нередко он делает вид, что сбился с ноги и как бы возвращается к сказанному, начинается с начала, для того чтобы, потоптавшись «вокруг да около», двинуться дальше, вмещающую полноту картины в произвольное течение речи. Несмотря на огромную словесную работу и высокое мастерство, его стихи не производят впечатления изящно отделанных вещей. Напротив, это скорее неуклюжая, местами затрудненная до косноязычия речь, с неожиданными остановками, повторениями, речь «взахлеб» и «навзрыд», переполненная громоздящимися и лезущими друг на друга словами. Позднее она станет легкой, окрыленной, прозрачной, но сохранит ту же непосредственность. В этом наивном, безыскусственном словоизлиянии, которое, на первый взгляд, не управляется поэтом, а несет его за собой, Пастернак достиг желаемой естественности живого

русского языка. К нему во многом применима характеристика, данная им самим стиховой системе Поля Верлена:

«...Он давал языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, которая и была его открытием в лирике и которая встречается только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Парижская фраза во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья, как мелодический материал для всего последующего построения. В этой поступательной непринужденности — главная прелесть Верлена. Обороты французской речи были для него неделимы. Он писал целыми реченьями, а не словами, не дробил их и не переставлял.

По сравнению с естественностью Мюссе, Верлен естественен непревосхитимо, то есть он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него».¹

В произведениях Пастернака особое значение имеет звуковая организация стиха. Она не сводится к рифме, хотя эта сторона его поэтики также чрезвычайно нова и разнообразна (недаром Брюсов считал его в большей степени, чем Маяковского, создателем новой рифмы). В стихах Пастернака рифмуются не только окончания строк, но — по существу — любые слова внутри текста. Для него характерно своеобразное звуковое уподобление слов, лежащих рядом или поодаль друг от друга:

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных...

Это явление — шире звукописи и значительнее обычного в поэзии мелодического упорядочения речи. Фонетические связи возникают как выражение смысловых связей, сходство звуков скрепляет смежные образы, говорит, в конечном счете, о созвучии различных сторон бытия, взаимосвязанных, взаимопроникающих. Звуковая инструментовка помогает перенесению смысла с одного предмета на другой, которое осуществляется посредством метафоры и вызвано стремлением поэта показать и подчеркнуть внутреннее единство мира. Рифма, по образному определению Пастернака, — это «не вторенье строк», а неизмеримо большее: в ней слышится «гул корней и лон», через нее «правдой входит в наш мирок миров разноголосица».

¹ Борис Пастернак. Поль Мари Верлен. — «Литература и искусство», 1944, 1 апреля.

Столь обостренное внимание к «звуковому лицу» слов, их подбор по фонетико-смысловому подобию напоминают Хлебникова. Но тот логизировал фонетику, связав каждый звук с определенным абстрактным понятием, с точным «силовым прибором», высчитывающим законы для его поэтической космогонии. Эта априорность, обязательность значения звуков, языковый рационализм, так же как хлебниковский упор не на конкретный смысл слова, а на его скрытое отвлеченное содержание, — чужды Пастернаку. В его стихах между созвучными словами перебрасываются не абстрактно-логические, а метафорические и ассоциативные мостики, мотивированные смежностью близлежащих явлений или просто случайностью возникающего уподобления.

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Здесь «уключины» появляются рядом с «ключицами» потому же, почему ивы целуют, а лодка колотится в груди, то есть перед нами развернуто обычное для Пастернака взаимоуподобление природы, человека, вещей, подчеркнутое звуковой аналогией.

В движении его поэтической речи частые созвучия возникают непреднамеренно и как бы непроизвольно. Они не нарушают той повседневно-разговорной интонации, которая лежит в основе стиха. Так же как его метафоры, эти созвучия — необязательны, случайны, ибо — «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд».

В стихах Пастернака, отмечал Ю. Тынянов, «случайность оказывается более сильной связью, чем самая тесная логическая связь». «У вас нет связи вещей, которую он дает, она случайна, но когда он дал ее, она вам как-то припоминается, она где-то там была уже, — и образ становится обязательным». ¹

Объяснение этому факту следует искать в особенностях языка Пастернака. Мы верим в протянутые им связи (метафорические, звуковые и т. д.), несмотря на всю их неожиданность, именно потому, что выражены они обиходно, естественно, «без нажима», как нечто само собой разумеющееся. Случайное здесь лишь помогает естественности. А естественность интонации служит залогом правдивости того лирического рассказа, который ведется.

¹ Юрий Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 566, 567.

Поэтическая речь Пастернака 10-х и 20-х годов зачастую очень сложна и трудна для понимания. С одной стороны, препятствием была образная перенасыщенность, проистекавшая из стремления автора учесть и передать средствами языка все многообразие жизненных взаимосвязей. Пастернак слишком хорошо знал, что два предмета, расположенные рядом, в своем сочетании дают нечто третье. Он упорно не желал разделять мир на части и писал целое, где причудливо, хаотично перемешивалось все, где поэт ни на минуту не забывал о том, «каково становится видимому, когда его начинают видеть».¹ Сложность, таким образом, была следствием слишком многих слагаемых. Вместе с тем, погрузив природу в поток разговорной речи, Пастернак выбил многие понятия из русла привычных ассоциаций и снабдил их новыми, которые, хотя и заимствованы из близкого нам обихода, — непривычны, потому что раньше в таком сочетании не употреблялись. Наиболее простой и естественный способ выражения тут становился невнятным для уха, привыкшего к тому, что в поэзии говорят не так, как в жизни.

В одном из рассказов Эдгара По опытные сыщики сбиваются с ног, разыскивая украденный документ, между тем как похититель спрятал его, положив на самое видное место. Именно крайняя очевидность — поясняет автор — часто ускользает от нашего наблюдения. Нечто подобное происходит порой с образами Пастернака: они «непонятны», потому что слишком близки нам, слишком очевидны.

Когда, например, в стихотворении «Смерть поэта» об умершем говорится:

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых —

бессмертие Маяковского, о котором здесь идет речь, потому так реально, не фигурально шагает в будущее, что о нем сказано словами нашего быта, разговора, делового отчета («в разряд...»). В житейской практике эти слова примелькались, а встретить их в стихе — большая редкость, неожиданность, тем более в стихе торжественном, высоком, издавна склонном к словесному пиетету. Нарушение пиетета, неканоничность, свежесть, может статься, и вызовут у читателя обманчивое ощущение какой-то «сложности», хотя на самом деле приведенный пример в формальном отношении не сло-

¹ Борис Пастернак. Охранная грамота, стр. 85.

жен, и надобно лишь отказаться от литературных шор, от привычных условностей в восприятии поэтического текста, чтобы почувствовать его прямое, врезающееся содержание.

Языковое новаторство Пастернака в значительной мере было продиктовано поисками наибольшей раскованности, естественности словесного выражения. Это вполне обнаружилось и подтвердилось в его творчестве 30-х и в особенности 40-х и 50-х годов, на котором мы еще остановимся. Тогда эти тенденции, ранее скрытые под покровом неудержимой пастернаковской образности, стали явственными и резко усилились. Первоначально же они не были заметны и действовали, так сказать, подспудно, вполне осознанные автором, но далеко не всегда доступные читателю стихов Пастернака. По этому поводу поэт писал в начале 30-х годов в лирическом цикле «Волны»:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

«Сложное» здесь равнозначно банальному, стереотипному в поэзии. Простота же утверждается как внутренняя основа, стимул и конечная цель поэтических усилий и поисков, на том этапе еще не завершенных,

4

Живописанию природы в поэзии Пастернака принадлежит первое место (ведь душа человека, чувство любви и т. д. тоже зачастую у него раскрываются средствами пейзажа). Посмотрим теперь, как его художественная система смогла запечатлеть картины современной истории. Для воплощения этой темы имелись у поэта серьезные предпосылки: чуткое внимание к «голосу жизни» и свобода от псевдопоэтических канонов, запрещавших объясняться на низком языке действительности. Как известно, многие поэты в первые годы революции испытывали большие трудности именно с этой стороны, ограниченные в своем языке скудным набором общеупотребительных красот. ««Соловей» можно — «форсунка» нельзя», — изде-

вался над ними Маяковский. Речь шла о праве поэзии на лексику современности.

По этой части Пастернак был обеспечен: «соловей» для него не исключал «форсунки», и яды эстетизма не коснулись его зрелой поэтики, Препятствием могло быть и было другое — понимание роли, задач искусства, принадлежность к такому поэтическому типу, который по своей натуре, по художественному складу тяготеет к восприятию жизни, но не к ее решительному, революционному изменению. Отношение Пастернака к искусству как к органу восприятия, уподобление художника внимательному и чуткому зрителю (но не прямому участнику преобразований) сужали его возможности в работе над воплощением нашей эпохи в образах, передающих непосредственно, адекватно ее сокрушительную поступь. В этом смысле по своим взглядам и характеру он — полная противоположность Маяковскому, заметившему как-то, что они с Пастернаком живут в одном доме, но в разных комнатах. Само понимание поэзии как органа восприятия, стремление вбирать, впитывать краски живой природы — чужды Маяковскому. Целиком погруженный в события истории, утверждающий действенную поэзию борьбы, он и в природе видит прежде всего материал, нуждающийся в обработке («Если даже Казбек помешает, — скрыть!»); он относится к ней с презрительной снисходительностью и любое создание рук человеческих ставит превыше всяческих «муравьишек» и «травички». Определяя поэзию, Маяковский сравнивает ее с орудием, с оружием, с производством, начиная от бунтарского кастета и кончая штыком, заводом, добычей радия. Пастернак же дает ей по преимуществу «природные» определения: «Это — круто налившийся свист, это — щелканье сдвинутых льдинок...» и т. д. Маяковский ставит поэта в один ряд с рабочим, инженером, политическим деятелем, тогда как Пастернак обычно разграничивает, а иногда противопоставляет эти понятия.

Наиболее резко, прямолинейно это разграничение функций поэта и общественного деятеля было сформулировано в дореволюционной статье Пастернака «Черный бокал». Поэт и герой, лирика и история, вечность и время обозначены тут как категории разных, несовместимых планов. «Обе равно априорны и абсолютны», и, отдавая должное «солдатам абсолютной истории», автор оставляет за поэзией право не притрагиваться ко времени, не браться «за приготовление истории к завтрашнему дню». ¹

¹ Борис Пастернак. Черный бокал. — Второй сборник «Центрифуги». М., 1916, стр. 42.

От этих представлений, высказанных в ранний, еще достаточно незрелый период, Пастернак практически отошел, однако их отголоски, вариации в той или иной форме дают себя знать и позднее в его творчестве. Он способен передать все высокие титулы истории, деятелю, герою, но тем не менее отделит от них «вакансию поэта».

В отношении истории, как и в отношении всякой природы, поэт — воспринимающая губка, а не молот, дробящий камень. Эта губка впитывает окружающий мир, тяжелеет приметам времени, но не становится частью социально-исторического бытия в такой мере, в какой она составляет часть природы. В творчестве Пастернака в изображении истории чувствуется тот сторонний взгляд на вещи, который отсутствует в изображении природы. Этот взгляд бывает очень зорким, но он принадлежит наблюдателю, остро воспринимающему события, а не участнику, действующему в них.

Пастернак называл искусство «крайностью эпохи» (а не ее равнодействующей) и соотносил творения искусства с историческими событиями как конгенальные явления разных планов. Так, Лев Толстой, по его представлению, конгенален революции. Так, в своей собственной книге «Сестра моя — жизнь» он видел некий параллелизм революционной современности и даже считал ее книгой о революции, хотя речь в ней шла не о социальных, а о самых обычных грозах и рассветах и было бы грубой натяжкой трактовать ее в аллегорическом духе.

Тем не менее история вошла в творчество Пастернака, вошла еще в тот период, когда он демонстративно отказывался к ней притрагиваться и делал вид, что не помнит, «какое, милые, у нас тысячелетие на дворе». Отзвуки войны и революции прокатились эхом по ряду его пейзажей, и на картины природы легла печать истории. Уже тогда, в 1915—1917 годах, появились «бастующие небеса» и кавалерийские следы на льду — в память о пятом годе, дух «солдатских бунтов и зарниц» пронесся по воздуху, тучи уподобились рекрутам и военнопленным:

Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

Природа перенимает чужие признаки, черпая их из мира общественных бурь и классовых столкновений. Такое проникновение исторической действительности в природное царство было для поэта естественным явлением, ибо он давал пейзаж в восприятии современного горожанина, который тащит за собой на прогулку, наряды с житейской повседневностью, цепь социально-политических ассоциаций, вовлекая луга и рощи в круг событий, среди которых протекает его жизнь.

После революции в творчестве Пастернака получают особенное развитие эти историзованные пейзажи, вырастающие порой до символа всей революционной России, как, например в его стихотворении «Кремль в бурян конца 1918 года». Снежный бурян здесь совмещается с вихрем имматериальным, разгулявшимся на просторах новой эпохи и несущимся напролом в будущее. Это — стихия времени, погода революции, воспринятая с воодушевлением и запечатленная кистью заправского пейзажиста:

...Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

В главе, предназначавшейся для биографического очерка, Пастернак вспоминал о событиях семнадцатого года: «Прошло сорок лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещающихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но я и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания, как беззвучные зрелища или как замершие живые картины... Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование. Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух

из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным». ¹

Пастернаковские картины того бурного времени своими ошительными ливнями, вихрями, метелями и были призваны передать этот «всеобщий смысл» совершившегося переворота. Тема революции ошутима здесь как силовой напор, эмоциональная настроенность образов, объединяющих говор толпы с митингом дорог и деревьев. В применении к лирике Пастернака революционной поры эту тему трудно выделить в специальный параграф «стихов о революции»: она вездесуща и неуловима, как воздух, присутствие которого в стихе как присутствие высшего, одухотворяющего начала, как место встречи вечности и времени — всегда являлось главной заботой художника. Не будучи в полном смысле слова произведениями о революции, многие стихи Пастернака писались, можно сказать, в ее присутствии и потому были озвучены громкой музыкой той эпохи.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим
И — мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, — с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

В 20-е годы непосредственное обращение поэта к истории связано с неожиданным пробуждением в его творчестве эпических тенденций. В 1923 году в «Высокой болезни» он высылает «пикет в эпос», затем следуют поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» (1925—1927 годы), а в 1930 году Пастернак заканчивает «Спекторского». Эпос в тот период настолько привлек Пастернака, что он — еще недавно убежденнейший лирик — заявлял: «Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно». ²

¹ Архив Н. В. Банникова.

² «На литературном посту», 1927, № 4, стр. 74.

Тогда же им было высказано мнение, что «лирика почти перестала звучать в наше время...». ¹

Эта ориентировка на вкусы и требования современности весьма знаменательна, хотя, конечно, лирика не перестала звучать, о чем свидетельствовало творчество и самого Пастернака, и других авторов. Но помимо возросшего тогда повсеместно в нашей литературе интереса к эпике, следует в данном случае принять во внимание и ту особенность литературной деятельности Пастернака, что он всегда работал крайне сосредоточенно, целенаправленно и видел свое призвание в возрождении самого жанра поэтической книги как целостного компактного единства. Свой творческий путь он обычно мерил книгами (а не разбросанными стихотворениями), которые приобретали в его биографии значение основных вех, поворотных пунктов, зачастую резко менявших направление работы. В середине двадцатых годов все предпочтения Пастернака отданы эпике, которую он интенсивно разрабатывает, выпуская одну поэму за другой.

Все эти полотна посвящены революционной эпохе. Первоначально, в «Высокой болезни», Пастернак «дает эпос, вне сюжета, как медленное раскачивание, медленное нарастание темы — и осознание ее к концу». ² Речь поэта, намеренно затрудненная, замедленная, вбирает в себя «движущийся ребус» событий — картины революции, войны и разрухи, которые не развернуты в виде последовательного повествования, но словно растворены в непринужденном течении стиха. Эпос «наращивается» по мере того, как рассказчик ведет свою партню, «тянет и мямлит», передавая ход жизни разнообразными модуляциями речевого потока:

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что всё по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клетот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,

¹ «Молодая гвардия», 1928, № 2, стр. 199.

² Юрий Тынянов. Архансты и новаторы. Л., 1929, стр. 579.

Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

«Высокая болезнь» Пастернака — это попытка подойти к созданию эпоса собственно языковым путем. Здесь мы имеем дело, по существу, с формой затянувшегося лирического отступления, которое, отправляясь от каких-то данных эпохи, стремится охватить ее эпически широко и раскрыть образ времени внесюжетными средствами — с помощью метафорической образности, синтаксических построений, меняющегося голосового напора и т. д.

Написанная в 1923 году, поэма несколько лет спустя была продолжена и закончена строфами, посвященными Ленину. Эти строфы, воссоздающие неудержимую энергию ленинской мысли, принадлежат к числу лучших в советской литературе изображений вождя революции. Запутанная и замедленная вначале, речь поэта становится по-особому ударной к концу произведения, наполняется силой, волевым напряжением, как бы перенесенными в стих непосредственно с ленинской трибуны:

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, виджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.

В последовавших за «Высокой болезнью» поэмах Пастернак переходит к более отчетливым формам эпического повествования. Но и в них обрисовка отдельных человеческих судеб и характеров не занимает много места. Даже в «Лейтенанте Шмидте» главное внимание сосредоточено на воссоздании самого духа времени, на развертывании широкой исторической панорамы. Эскизная раскидность образов, красочный подмалевок, который все объединяет и вместе с тем размывает контуры отдельных характеров и который сам по себе существенен, содержателен, — отличительная черта поэзии и прозы Пастернака.

Неужто жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица? —

вопрошает автор читателя, постоянно напоминая в «Спекторском», что:

О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест, —

что даже персонаж, чьим именем названа поэма, нас, собственно говоря, мало интересует:

Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Пастернаку важны широта охвата, общая перспектива, не Спекторский, а спектр, в котором тот помещен, кусок истории, вырванный из прошлого лучом памяти. В строении поэмы особую роль играет ход воспоминаний, по логике которых связываются отдельные фигуры, эпизоды, части и постепенно восстанавливается огромная историческая картина.

Это развертывание темы вширь сказалось, в частности, на том, какой многозначительный смысл приобретает в поэмах мотив пространства. В нем — широта горизонтов, дальность времен и расстояний, стремление оглянуться кругом себя и охватить все, что видит глаз. «Пространство спит, влюбленное в пространство», — таков мир, открывшийся поэту, мир истории, повернутый в плоскость геометрических измерений. Пространство становится стимулом творчества («Одна оглядчивость пространства хотела от меня поэм...»), движущим началом сюжета («Виденьями влюбленного пространства мы повесть на год отведем назад...»), героем произведения и силой, созидающей героев — своих избранников. О том, «как влюбчиво бездомное пространство», узнал Шмидт, выдвинутый им в герои.

До предела раздвинув рамки повествования, Пастернак в образовавшееся пространство нагнетает образы самых разных планов. Здесь и люди, очерченные несколькими штрихами, и пейзажи, перенявшие людские страсти или черты времени, и целые классы, сословия, группы, и рассказ о конкретных исторических событиях. Так же как природа, история пишется целиком, разом, в калейдоскопическом взаимодействии мелькающих частей, и упор делается на

общую картину жизни. В поэме «Девятьсот пятый год» вереницами проходят отцы и дети, мужики и фабричные, моряки и студенты. Буря на море перекидывается в восстание на «Потемкине», а в дни декабрьских боев на Пресне «солнце смотрит в бинокль и прислушивается к орудьям». От частных эпизодов протягиваются нити к общему положению вещей, к судьбам государства:

С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкой
Падал престиж.

Под единый признак подводятся разнородные предметы и понятия:

Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Пастернак любит писать реестрами, наборами, перечислениями, в которых совмещаются предметы, выдернутые из разных сфер жизни и поставленные в один ряд. В нескольких строках возникает суммарная и вместе с тем с конкретными деталями картина, созданная как бы одним взмахом руки. Этим беглым наброском достигается мгновенная цельность впечатления. В такой манере у него подаются и широкие исторические характеристики, и отдельные эпизоды, как например сцена суда в «Лейтенанте Шмидте»:

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтение, чтение, чтение, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

В изображении и в самом восприятии истории Пастернак близок Блоку. Эта близость — в умении улавливать основной ритм эпохи не только в очевидном ходе событий, лежащих в одной плоскости, но во всех областях жизни; в стремлении поэта отыскать какой-то общий исторический эквивалент всему, что происходит вокруг, и показать мир в целостном единстве составляющих его частей, будь то революция, землетрясение или любовь. В предисловии к «Возмездию» Блок сопоставляет такие разнохарактерные явления, как процесс Бейлиса и расцвет французской борьбы в петербургских цирках, летнюю жару и забастовки в Лондоне, развитие авиации и убийство Столыпина. «Все эти факты, казалось бы столь различные, — заключает Блок, — для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор».¹ Как известно, именно на таком столкновении внешне разноречивых, а внутренние созвучных фактов строятся исторические панорамы Блока, в частности характеристика девятнадцатого и двадцатого столетий в поэме «Возмездие».

У Пастернака — сходная острота зрения к знакам времени, раскиданным повсюду и сообщающим каждому предмету особый, указующий смысл. В своих поэмах он тоже спешит вывести общий знаменатель человеческих поступков, солнечных закатов и городских улиц. И если, например, в «Лейтенанте Шмидте» речь идет о времени русско-японской войны, явившемся кануном революции, то об этом тревожном состоянии мира твердит все, вплоть до киевского ипподрома. История проникает во все поры жизни, превращая мельчайшие детали обстановки в свои подобия.

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом цеплялся
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

¹ Александр Блок. Полное собрание стихотворений в двух томах, т. 1. Л., 1946, стр. 530.

А позади размерно бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом и полз по переходам
И вмешивался в разговор и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Поворот к исторической теме, к изображению объективной действительности способствовал прояснению сложной поэтической образности, что особенно ощутимо в поэме «Девятьсот пятый год». По получении этой книги Горький, относившийся к лирике Пастернака довольно критически, писал ему: «Книга — отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком, чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня; мое *воображение* затруднялось вместить капризную сложность и часто — недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами, что богатство их часто заставляет вас говорить — рисовать — чересчур эскизно. В «905 г.» вы скупее и проще, вы — классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это — голос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия».¹

Как явствует из переписки Горького, между ним и Пастернаком не было полного взаимопонимания. «Поклонник стиха классического», Горький и в современной поэзии предпочитал более традиционные формы. «Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастернака, и я уверен, что талант последнего, в конце концов, поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина»,² — замечал он в 1922 году в письме к Е. К. Феррари. А несколько лет спустя, в дарственной надписи Пастернаку на книге «Жизнь Клима Самгина», Горький признавался, что ему чужд пастернаковский «хаос», и желал поэту «большой простоты». «У вас обо мне ложное представление, — отвечал Пастернак. — Я всегда стремился к простоте

¹ «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». Литературное наследство, т. 70. М., 1963, стр. 300.

² Там же, стр. 568.

и никогда к ней стремиться не перестану». ¹ Его позднейшая эволюция показывает, как реализовалось это стремление.

Переписка с Горьким свидетельствует о том, какое огромное впечатление произвела на Пастернака первая часть романа «Жизнь Клима Самгина», поразившая его прежде всего искусством воссоздания исторической атмосферы. В оценке романа и высказанных попутно суждениях, каким он мыслит себе произведение, посвященное недавнему прошлому, нельзя не почувствовать собственных интересов и вкусов Пастернака, работавшего в тот период над историко-революционной темой. Пространство, забросанное «движущейся краской», запруженное «толпящимися подробностями», «запись со многих концов разом», «существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига», схваченное и переданное «с насильственностью внушения», ² — в этих замечаниях Пастернака о характере и фактуре эпического полотна мы улавливаем свойственные ему самому особенности исторического изображения.

5

Насыщенность пастернаковских образов общей атмосферой действительности ведет к тому, что в его поэмах невозможно разграничить «главное» и «второстепенное», извлечь основную нить рассказа, отделив ее от «фона», на котором развернуто действие. Сам «фон» до предела активен и сплошь и рядом оказывается передним планом поэмы. Случайное в судьбах героев носит providенциальный характер, получает узловое значение в развитии повествования. Так, в «Спекторском» внезапные встречи и находки героев, обрывки и недомолвки, намеренно не мотивированные, схваченные «с разбегу», «врасплох», как бы по воле случая, играют важную роль в обрисовке интеллигенции, по-разному реагирующей на революционные события и раскиданной по свету, по путям и перепутьям истории. В движении сюжета все спутано, переплетено; непосредственное продолжение рассказа о явлениях большого исторического масштаба может осуществляться средствами интерьера, пейзажа или обнаружить себя в каком-то бытовом эпизоде, в неожиданном знакомстве с каким-то частным лицом.

Вот, например, как в «Спекторском» протягивается «по небу», «по воздуху» связь явлений, лежащих в разных плоскостях бытия,

¹ Там же, стр. 308, 307.

² Там же, стр. 304—305.

но объединенных, озвученных темой революции, которая то мелькает в пейзаже, то предстает в виде широкого символического обобщения, то, перебрасывая действие из Москвы на Урал, воплощается в конкретном образе женщины-революционерки. В целях сокращения мы опускаем некоторые строфы и обращаем внимание читателей на «воздушный путь» героини, олицетворяющей для Пастернака русскую революцию в ее нравственных истоках и всемирно-исторической значимости:

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре...

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней...

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака...

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирали.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал...

Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь, ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Кто она, эта «беглянка» — заря? Внезапный порыв времени и пространства? Народное восстание? Женщина, чье социальное и духовное раскрепощение трактовалось поэтом как ценнейшее завоевание, как нравственный императив революции? Очевидно, все это вместе: пастернаковская образность всегда стремится совместить разные планы действительности в едином, не дробимом на части поэтическом мировосприятии. Требование поэта, высказанное в том же «Спекторском» и легшее в основу его эпических построений: «Поэзия, не поступайся ширью».

Пастернак чаще рассказывает, какая была погода в тот или иной исторический момент, чем последовательно излагает весь ход и порядок совершившегося. Содержание события раскрывается через смежные с ним, пограничные области, атмосферу, его окутывающую, ему сопутствующую или предвещающую событие на манер прелюдии. В освещении самых разных процессов и явлений Пастернак склонен к околичностям и предисловиям (которые на поверку и оказываются для него рассказом о самом главном), и часто взгляд поэта «блуждает», прикованный не к самому предмету, о котором идет речь, а к его предыстории, возникновению или широкому окружению. Он любит определять вещь через ее границы с соседними вещами, в стихах о городе рисовать пригород и стихи о Первомае помечать 30-м апреля.

Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!

В лирике 30-х — 50-х годов (когда эпические устремления исчезли в его поэзии, получив развитие в прозе) эта черта художественного видения Пастернака стала особенно заметна. Так, лирический цикл «Волны», открывающий книгу «Второе рождение» (1932), целиком построен как вступление к теме, которое разворачивается до тех пор, пока не выясняется, что оно-то, вступление, и есть настоящая тема. В нем поэт говорит о том, что он хочет написать, и само это намерение, обещание превращается в рассказ о нашем мире, уходящем волнами в будущее, недоволощенном, таящем в себе какие-то новые возможности и намерения, подобные тем замыслам, которые воодушевляют поэта и которые тоже вы-

сказаны лишь наполовину и катятся в будущее. Сама форма вступления здесь оказалась, таким образом, чрезвычайно емкой, содержательной и гармонирует с идеей жизненно-исторического и поэтического развития, лежащей в ее основе.

В последующих книгах Пастернака — «На ранних поездах» (1943), «Земной простор» (1945), «Когда разгуляется» (1957) — мы опять-таки наблюдаем весьма своеобразный характер подключения его поэзии к исторической действительности. Прямых откликов на события здесь не так много. А главное — произведения Пастернака, появившиеся в форме прямых громких откликов на современность, как например некоторые стихотворения об Отечественной войне («Страшная сказка», «Победитель»), заметно уступают по своему художественному качеству стихам на ту же тему, написанным не в пафосно-публицистической манере, а в свойственном ему издавна пейзажном или интимно-лирическом ключе («Заставы», «Зима приближается» и др.). И примечательно, что лучшие стихи, проникнутые чувством истории и современности, часто звучат как вступление или предисловие к будущему и в большинстве своем передают состояние эпохи через незаметные движения природы и души поэта, через бытовые подробности и приметы текущей повседневности. Так, в стихотворении «Весна» (1944) окончание войны носится в воздухе, и поэт стремится уловить голос времени как дыхание обыденной жизни, по-особому значительной, многообещающей:

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Если в творчестве Пастернака периода революции и 20-х годов пейзаж схватывал признаки исторического бытия и наполнялся кремлевскими вихрями, шумом и говором митингующих деревьев, то в его позднейшей лирике скорее сама история уподобляется природе, и в ней преобладают процессы роста и созревания, разительные в своих результатах и вместе с тем скрытые, неуследимые, подобные тому, как трава растет или происходит смена времен года («Трава и камни», «После грозы»). Это связано, конечно, не

только с эволюцией стиля, но и с изменением творческих интересов поэта, а также с переменами в окружающем мире, который перед ним открывается новыми сторонами. Пастернака занимают явления нравственного порядка, сосредоточенные не на авансцене жизни, а в ее глубине и выраженные незаметно, негромко, в обычаях повседневности, в простых событиях народного и личного бытия, которые, с его точки зрения, и составляют зерно исторического существования.

Его всегда привлекала «жизнь без помпы и парада». Начиная же с 30-х годов Пастернак все более определенно отдает предпочтение темам, лежащим как бы на периферии общественной жизни, но исполненным скрытой исторической значительности (см., например, стихотворение «На ранних поездах»). Как заявлял он в одном из выступлений, ему «все трескуче-приподнятое и риторическое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и морально подозрительным».¹ Поэту теперь особенно близки проселки, домишки, пристани и паромы русской провинции, бесхитростные чувства, скромные люди простого труда, и сама природа ищет себе соответствий в этой среде: благоухающий табак сравнивается с кочегаром на отдыхе, весна надевает телогрейку и находит себе подружку на скотном дворе. Прозанизмы, разговорное просторечие, и ранее служившие ему источником поэзии, получают дополнительную, этическую мотивировку, подчеркивая демократические симпатии автора, его нелюбовь к пышной, хвастливой фразе.

Попутно оформляются и находят воплощение в лирике взгляды Пастернака на судьбу, призвание отдельного человека и его место в истории. Человеческая личность выступает носителем высоких нравственных ценностей, притом личность внешне неприметная (рядовое и гениальное для Пастернака тесно связаны, и каждый человек в потенции гениален, а гений прост, ненавязчив), живущая не напоказ, углубленной внутренней жизнью и совершающая подвиг добровольной жертвы, самоотдачи во имя торжества жизни, в более полном, универсальном смысле — истории, мирового бытия. Между «микрокосмом» и «макркосмом», в представлении Пастернака, существует глубокая связь, и потому отдельная личность обладает абсолютной значимостью, но — не во вражде и разделенности с жизнью, а в их единстве, гармонии. В письме поэту Кайсыну Кулневу (25 ноября 1948 года) он следующим образом излагает свой взгляд на судьбу человека, на призвание таланта:

¹ О скромности и смелости. Речь тов. Бориса Пастернака. «Литературная газета», 1936, 16 февраля.

«Поразительно то, что прирожденный талант есть детская модель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно».

Идея высокого исторического предназначения индивидуальной человеческой личности получила развитие в поэзии Пастернака. От «Лейтенанта Шмидта», где нравственный идеал человека конкретизирован в характере главного героя поэмы (Шмидт жертвует собою, совершая подвиг исторического обновления и принимая как должное свою трагическую судьбу), через лирику 30-х годов и военной поры протягиваются нити к произведениям Пастернака, завершающим его творческий путь. Философское их содержание помогают раскрыть замечания, высказанные Пастернаком по поводу шекспировского «Гамлета», над переводом которого он работал: «...Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения».¹

Лирика позднего Пастернака открывает перед нами позицию поэта — в отношении к миру и времени — в несколько ином ракурсе сравнительно с его творчеством прежних лет. Идея нравственного служения здесь преобладает надо всем прочим, хотя Пастернак не перестает утверждать воспринимающую силу поэзии, ее способность схватывать живую картину действительности (а нравственный элемент в художественном восприятии мира и раньше был для него существенен). Если некогда в его эстетических представлениях центральное место занимал образ «поэзия-губка», то теперь, не отменяя

¹ Борис Пастернак. Заметки к переводам шекспировских трагедий. — «Литературная Москва». М., 1956, стр. 797.

первого, господствует другой мотив: «цель творчества — самоотдача...». Одновременно, к концу жизни поэта, в его творчестве проясняется и звучит в полную силу сознание своего выполненного исторического предназначения. Отсюда, в частности, необычайно светлая тональность его поздней лирики, несмотря на трагические ноты отдельных стихотворений, и преобладающее чувство доверия к будущему.

И в нравственно-исторической концепции, и в понимании задач искусства сказываются черты, взгляды, навыки, сближающие поэта с современной эпохой и вместе с тем оспаривающие некоторые ее посылки и требования. «Ты — пригород, а не припев», — сказал Пастернак о поэзии. Она охватывает действительность и тесно прилегает к ней, наподобие пригорода, но — по мнению Пастернака — не перепевает дословно, не повторяет общепризнанных истин. Подобная аналогия, отвечающая самой структуре пастернаковских образов, до некоторой степени передает и характер его связей и расхождений с временем.

Своеобразное понимание проблемы искусства (в его отношении к природе, к действительности, к оригиналу) настолько органично для видения Пастернака, что аналогичные навыки и представления мы обнаруживаем даже в его переводческой работе. Она составляет особую главу его литературной биографии. Но черты, присущие творчеству поэта, проявились и в этой побочной области, занявшей, начиная с 30-х годов, огромное место в его жизни и деятельности. Пастернак-переводчик стремится прежде всего воссоздать самый дух подлинника, пренебрегая частностями, буквальностью передачи. Подобно живой действительности, гениальное произведение нуждается не в буквальном, а в конгениальном переложении, которое — в принципе, в идеале, — вдохновляясь подлинником и отправляясь от него, созвучно с ним и действительно «своей собственной неповторимостью». Переводчик, по убеждению Пастернака, не должен снимать слепок с предмета, который он копирует, но обязан передать его жизненную и поэтическую силу, превратив тем самым копию в оригинальное творение, живущее наравне с подлинником в иной речевой системе.

Нетрудно заметить, что его размышления об искусстве перевода весьма сходны с мыслями об искусстве как таковом. Он добивается «больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает приближения к большим вещам». ¹ Сравнивая свою работу с деятель-

¹ Борис Пастернак. От переводчика. [Предисловие к переводу «Гамлета» Шекспира.] — «Молодая гвардия», 1940, № 5-6, стр. 16.

ностью других переводчиков, Пастернак замечает: «Мы ни с кем не соперничаем отдельными строчками, а спорим целыми построениями, и в их выполнении, наряду с верностью великому подлиннику, входим во все большее подчинение своей собственной системе речи...»¹ «Отношение между подлинником и переводом должно быть отношением основания и производного, ствола и отводка. Перевод должен исходить от автора, испытавшего воздействие подлинника задолго до своего труда. Он должен быть плодом подлинника и его историческим следствием».²

Свои лучшие переводы Пастернак вынашивал годами, подготавливая к ним самим ходом внутреннего развития. В известном смысле они даже автобиографичны. Так, пастернаковские переводы грузинской лирики подкреплены его поездками в Грузию в 1931 и 1936 годах, многолетней дружбой с рядом грузинских поэтов, наконец той признательной любовью к этому краю, народу и культуре, которой проникнуты многие его оригинальные стихотворения. Их можно назвать «отводком» Грузии в жизни и творчестве Пастернака.

«Гамлет» в его переводе появился отдельным изданием в 1941 году, положив начало серии переводов шекспировских трагедий. Но уже в одном из стихотворений Пастернака 1923 года мы встречаемся с идеей, получившей развитие в его переводческой деятельности: «О! весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет». «Болтать запросто», т. е. на самые возвышенные темы говорить непринужденно, обиходно, это, как мы знаем, в правилах Пастернака, обладавшего и другими чертами, по-своему роднившими его с шекспировским реализмом, свободой, живописностью и т. д. «Воздействие подлинника» (разумеется, не всегда прямое, а часто осложненное, преломленное в разнообразных явлениях мировой культуры) здесь началось задолго до его непосредственной работы над шекспировскими трагедиями и в какой-то мере совпало с собственными интересами и намерениями художника. Вот почему Шекспир так прижился на его поэтической почве и переводческая работа, испытав влияние индивидуальных вкусов, пристрастий и манеры Пастернака-поэта, в свою очередь оказала влияние на его оригинальное творчество. В этом тесном и вместе с тем чрезвычайно вольном общении с Шекспиром, чье величие и силу Пастернак стре-

¹ Борис Пастернак. Новый перевод «Отелло» Шекспира. — «Литературная газета», 1944, 9 декабря.

² Борис Пастернак. Заметки переводчика. — «Знамя», 1944, № 1-2, стр. 165.

мился передать «собственной неповторимостью», он реализовал практически свое принципиальное утверждение, что «переводы — не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общения культур и народов». ¹

6

Смысл бытия, назначение человека, сущность мира — вот вопросы, волновавшие Пастернака на протяжении многих лет, в особенности в конце жизненного пути, когда он, можно сказать, полностью отдает свою лирику поискам основ, разгадыванию конечных целей и первопричин.

Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Склонность к философскому осмыслению жизни характеризует все творчество Пастернака — поэта-мыслителя, тяготеющего к искусству широких обобщений, большой духовной насыщенности. Ему издавна была близка «та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно неразъясненное». ² Во многих произведениях Пастернака, относящихся по времени к самым разным периодам, ошутимо настойчивое желание «докопаться до сути» и, рассказывая о каких-либо вещах, не только представить нам, каковы они из себя, но выявить их изначальную природу.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

¹ Там же.

² Борис Пастернак. Охранная грамота, стр. 100.

Не «лето было жарким», а «в природе лета было жечь» — вот типичный поэтический ход Пастернака.

Эта забота о сущностях, о природе вещей ставит поэта в очень интересную и двойственную позицию в отношении импрессионизма, следы которого заметны в его творчестве (в особенности раннего периода) и по ведомству которого часто относил Пастернака критика. Чистота непосредственных ощущений, пафос впечатляемости и восприимчивости роднят его с импрессионистами. Пастернаковские образы напоминают порой полотна Моне и Ренуара, Писсарро и Вьюара. Как и эти художники, он нередко стремится писать мгновенными впечатлениями от предметов и, пряча подальше свое предварительное знание о мире, изображать его таким, каким он ему видится в данный момент. Вот, например, зарисовка, выполненная в духе импрессионизма:

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Огни на берегу, их отражение в воде, лакей на пароходе — все это схвачено одним взглядом, который занят лишь тем, чтобы вобрать внезапно открывшуюся картину и зафиксировать ее в этом, однажды увиденном, «на высоте подсвечника», положении.

Но импрессионизм, как правило, имеет дело с чувственно ощутимой поверхностью предмета, а не с его сущностью. Утопая в море красок и запахов, он сторонится предвзятого, априорного знания, понятия, идеи, способных замутить чистоту восприятия. Импрессионизму, в принципе, чужд интерес к вечным ценностям и безусловным основам, он всецело погружен в поток свежих впечатлений, идущих от *этой* и только *этой* природы. Потому он обогатил реалистическое искусство в основном в плане конкретно-чувственной изобразительности, в передаче зримой, но не умопостигаемой природы.

И любопытно, что молодой Пастернак, явно выходя за пределы импрессионистических представлений о художественном творчестве, изобретает для себя такую формулу искусства, как «импрессионизм

вечного». ¹ В ней совмещается вкус поэта к непосредственному восприятию жизни, к чистому цветовому мазку, к пленеру — с его страстием к философическим поискам абсолютных категорий. Также и в поэтических образах он старается объединить ощущение и сущность, мгновение и вечность и пишет «грозу, *моментальную навек*», придавая мгновенно схваченной картине непреложный, безусловный смысл. Излюбленный импрессионистами «миг» наполняется у Пастернака столь значительным содержанием, что повествует уже не о мимолетном и единичном, а о постоянном и всеобщем.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

Если художник-импрессионист намеренно ограничивает себя вопросом — какой в данный момент воспринимается эта вещь? — то Пастернак идет дальше и хочет знать, что она такое. Он вглядывается в нее, проникает вглубь, в сердцевину и зачастую строит образ как определение ее свойств и сущности, давая не только первое впечатление от предмета, но его понятие, идею. Недаром отдельные стихи Пастернака так и называются — «Определение» («Определение поэзии», «Определение души» и т. д.), да и ряд других стихотворений своей внешностью воспроизводит ту же схему, восходящую чуть ли не к параграфам учебного пособия или толковому словарю:

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Пастернак не боится таких — сухих по виду — умозаключений. Он охотно выводит формулы изображаемого, занимается его вычислением, исследует свойства и состав.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

¹ Борис Пастернак. Черный бокал. — «Второй сборник Центрифуги», стр. 41.

И мы пойдем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Но доискиваясь до сути и углубляясь порой в самые отвлеченные сферы, Пастернак всегда образен, то есть целостен и конкретен. Все его «определения» лишь чисто внешне напоминают логическую конструкцию, а в действительности они аргументированы картиной жизни, лежащей в основе всего построения.

В цитированном выше стихотворении «Во всем мне хочется дойти...», которое носит характер творческой программы, Пастернак высказывает желание написать стихи «о свойствах страсти», вывести ее «закон» и «начало». Каким же он мыслит себе это заветное произведение, исследующее сущность предмета?

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд —
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Стихи Пастернака — это поэзия близлежащего и конкретного. Он изображает только то, что сам видит. Но увиденное им обычно имеет расширительное значение, и какие-то частности постоянно переводятся в более общий план. Обыкновенные, окружающие нас предметы становятся воплощением добра, любви, красоты и других вечных категорий. Объединяя конкретное и отвлеченное, единичное и всеобщее, временное и вечное, поэт создает как бы идеальное изображение реального факта или лица. Так, в стихотворении, посвященном памяти Ларисы Рейснер, ее образ расширен до обобщенности отвлеченного понятия и личность героини выступает олицетворением красоты жизни, несколько напоминая фигуры олицетворенных добродетелей и богинь искусства Ренессанса:

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Когда в годы Отечественной войны Пастернак заговорил высоким слогом и в его стихах появились «ожившие фрески», где герои смотрели «векам в глаза», бились насмерть с «голою силой зла», уносились «в обитель громовержцев и орлов», — это было неожиданным, хотя тут же проглядывала пастернаковская «проза» (топящий корвет «тлеет, как окурок») и слышались знакомые просторечные интонации:

Валили наземь басурмане,
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.

Рядом с палисадником архаические «басурмане» выглядят слишком отвлеченно, абстрактно, несмотря на их живые лица, увиденные снизу, из положения поваленного на спину человека.

Время войны, разумеется, наложило отпечаток на поэзию Пастернака и способствовало, в частности, появлению архаических абстракций, широко вошедших тогда в литературный обиход. Но в принципе подобного рода сочетания возвышенно-отвлеченного с прозаически-конкретным не были настолько уж новыми для поэта, как это могло показаться с первого взгляда. Он не внес этим радикальных перемен в свою стилевую систему, а усилил и сгустил на время то, что в ней раньше существовало. Идеальное в реальном всегда более или менее отчетливо просвечивало в его образах. Стоит обратиться хотя бы к любовной лирике Пастернака начала 30-х годов, чтобы убедиться в этом.

«Красавица моя, вся статья, вся суть твоя мне по сердцу», — обращается поэт к любимой и через ее «статью» открывает «суть» — законы красоты:

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.

Твои законы в даях лет.
Ты мне знакома издавна.

Он сравнивает ее с будущим («Тишину шагами меря, ты, как будущность, войдешь»), видит в ней воплощение «основ» жизни:

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильен.

Жизнь, как это характерно для миропонимания Пастернака, вносит «вкус больших начал» в каждое из своих проявлений. И самые незначительные предметы в ее присутствии становятся идеальнее, озаряются этим светом, бьющим изнутри. Обычный отдых в сосновом лесу дает повод для обобщения:

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

Когда-то бессмертными называли богов. Здесь же обычные люди, соприкасаясь с вечной природой, становятся вечными, ибо бессмертнее, по утверждению поэта, разлито повсюду («вседневное наше бессмертье») и есть лишь синоним, другое наименование жизни.

Эта интенсивность поэтической мысли особенно заметна в творчестве Пастернака начиная с 30-х годов, и, чем дальше, тем она становится очевиднее. Что касается более ранних произведений, то ее тогда обнаружить было труднее, и содержательность образов часто принимали за претензии формы. С годами Пастернак делается понятнее, и потому, естественно, эта сторона его поэзии выступает более явственно. Но возрастающая понятность Пастернака сама в значительной мере обязана ускоренному ходу его мысли, которая приобретает большую стройность и все более осознает свою организирующую, главенствующую роль в стихе.

В раннем творчестве поэта философская идея не показывается наружу, целиком скрытая картиной, через которую она подается. Мы почти не встретим здесь открытых размышлений и рассуждений, идущих от имени автора, и ход мысли передан самой себя познаю-

щей природе. Вдобавок авторская концепция затемнена обилием впечатлений и как бы случайно возникающих ассоциаций, усложнена настойчивым желанием поэта учитывать все взаимодействующие факторы жизни и связывать их частой сеткой метафор. Ранний Пастернак чересчур последователен в своей восприимчивости, чтобы быть ясным, и хотя, как уже отмечалось, его речь в основе своей естественна, непринужденна, это — естественность хаоса, рвущегося напролом и нуждающегося в распутывании, чтобы стать до конца понятным.

Но глубокое содержание поэзии Пастернака и естественность его языка не могли навсегда остаться за закрытой дверью «непонятности». Поэт издавна тяготел к тому, чтобы быть доходчивым, чтобы «бездонная одухотворенность» образов и «неслыханная простота» их речевого выражения слились так полно, что усваивались бы читателем без усилий, сами собой, как не требующая никаких разъяснений истина. Это чувствовалось уже в отдельных произведениях 20-х годов и в особенности в книге «Второе рождение», начиная с которой, через лирику 30-х и 40-х годов, поэт идет к простоте и ясности стиха.

Герой одного из стихотворений Пастернака, участник Отечественной войны, мечтает о пьесе, которую он напишет по выходе из госпиталя:

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

«Язык провинциала» — это обиходная, живая, свободная от литературщины речь, которая была старым идеалом Пастернака. Но вот забота о «строе и ясности» — это нечто новое в его понимании задач искусства, и она появилась у него не сразу.

Гармонический строй и ясность достигаются Пастернаком в большой мере благодаря тому, что поэт перестает играть подчиненную роль в отношении собственного восприятия и отходит от той крайней степени метафорической концентрации, которая была свойственна его лирике в прошлом. Он более строго отбирает впечатления и, ограничивая своеволие природы, нередко выступает с «чистыми», не переведенными на метафорический язык чувствами и размышлениями. Если раньше процесс осмысления жизни протекал в творчестве Пастернака, так сказать, слитно и первый взгляд на мир нельзя было отделить от конечных выводов, то теперь мы яв-

ственно различаем ход познания, которое, постигая вещи, не растворяется в них полностью, а сохраняет самостоятельность и вносит порядок в движение образов.

Доступность, «общепонятность» поэтической речи нелегко давались художнику с уже сложившимися, чрезвычайно индивидуальными взглядом на мир, манерой изображения. Иной раз требование простоты влекло за собой опасность образного оскудения, слишком прямого, декларативного решения задачи. Иной раз Пастернак в процессе перестройки писал стихи заведомо слабее своих возможностей. Так, в середине 30-х годов, когда поэт особенно решительно стремится к обновлению своей системы, появилось несколько стихотворений, о которых он заявил тогда же (не без самоумаления, конечно), что вынужден, пока не привыкнет, «писать плохо», «писать как сапожник». Положение в данном случае осложнилось новизной и отвлеченностью темы, взятой несколько абстрактно, на публицистический лад. Как говорил тогда Пастернак, ему приходилось совершать «перелет с позиции на позицию... в пространстве, разреженном публицистикой и отвлеченностями, мало образным и конкретным».¹

Все это позволяет понять, почему решающим условием творческой победы для позднего Пастернака становятся большая конкретность и вместе с тем одухотворенность образного рисунка. Дышащая мыслью картина заполняет стихотворение, свободное от метафорических сгустков, но по изобразительной силе не уступающее его старым вещам, а в своей откровенной, бьющей в глаза содержательности их превосходящее. Именно в философской лирике добивается теперь Пастернак наивысших успехов, тогда как декларации публицистического характера или же бытовые и пейзажные зарисовки, не подкрепленные философской идеей, ему мало удаются. Художественное совершенство измеряется для него наглядной, очевидной значительностью сказанного.

Достигнув желаемой простоты, Пастернак сберег и ценнейшее из своих пружин завоеваний — целостное восприятие и изображение мира. Но в прошлом перегородки между явлениями, между человеком и природой, временным и вечным преодолевались главным образом с помощью метафоры, переносившей предметы и признаки с места на место и вносившей одновременно сумятицу, столпотворение образов. Теперь же метафора, продолжая играть важную связующую роль, перестает быть единственным посредником

¹ О скрепности и смелости. Речь тов. Бориса Пастернака. «Литературная газета», 1936, 16 февраля.

между вещами. Их единство достигается благодаря уже той широте и ясности поэтического взгляда на мир, той духовной окрыленности чувства и мысли, перед которыми падают все барьеры, и жизнь предстает как великое целое, где «ничего не может пропасть», где человек живет и умирает в объятиях всеобщего, а ветер —

Раскачивает лес и дачу,
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всюю далью беспредельной...

В творчестве позднего Пастернака не только связь вещей и единение поэта с миром осуществляются в более простых и прямых формах, чем раньше, но и сама «вселенная проще, чем иной полагает хитрец», и строится на главенстве немногих простых, односоставных истин, внятных каждому человеку, — земля, любовь, хлеб, небо. Подчас стихотворение целиком покоится на утверждении одного такого краеугольного камня человеческого существования. Вместе с тем в лирику Пастернака еще шире входит быт, и опять-таки — без обязательной для ранних стихов усложняющей иносказательности, а в прямом для каждого человека значении повседневных вещей, привычек и занятий. Поэзия жизненной прозы, всегда его воодушевлявшая, получает теперь особенное развитие.

За полвека литературной работы в творчестве Пастернака многое менялось, перестраивалось. Но ряду идей, принципов и пристрастий он оставался верен до конца и руководствовался ими в разные периоды своей творческой биографии. Одно из таких глубоких убеждений Пастернака заключалось в том, что истинное искусство всегда больше себя самого, ибо свидетельствует о значительности бытия, о величии жизни, о неизмеримой ценности человеческого существования. Это свидетельство способно обходиться без деклараций, без глубокомысленных символов и возвышенных аллегорий: присутствие великого проявится в неподдельной живности рассказа, в обострившейся восприимчивости и поэтическом вдохновении художника, одержимого и пораженного чудом реальной действительности и рассказывающего неизменно об одном — об ее знаменательном присутствии, о жизни как таковой, хотя бы речь шла только о том, как идет снег или шумит лес.

Такая оценка и трактовка произведений искусства применима в первую очередь, конечно, к поэзии самого Пастернака. Для него обыденные проявления и приметы существования ознаменованы сказочным присутствием жизни как таковой и потому значительны

не менее, чем, например, древний, предвечный хаос у Тютчева или мировая музыка у Блока.

Самое возвышенное, как всегда у Пастернака, оказывается в конечном счете самым простым — жизнью, все наполняющей и все исчерпывающей. «Поэзия, — говорил Пастернак, — останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли...»¹

А. Синявский

¹ Борис Пастернак. Выступление на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в Париже. Июнь 1935. «Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже (Стенограмма выступлений)». М., 1936, стр. 375.

**СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ**

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА

1912—1914

* * *

Февраль. Достать чернил и плакаты!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

* * *

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную между,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

* * *

Сегодня мы исполним грусть его: —
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.

Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне.
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.

И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.

* * *

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.

А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
Взывает свой ствольный строй.

Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

СОН

Мне снилась осень в полусвете стекло,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло, и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущим бегущих по небу берез.

1913, 1928

* * *

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

* * *

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастями запил.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто;
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,

Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток.
Пример преподан, — ваш черед.

Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глухнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

ВЕНЕЦИЯ

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Всё было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенку во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет — к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыкает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913, 1928

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадя мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей — тех здравец виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть — застольцы наших
трапез.

И тихую зарей — верхи деревьев горят —
В сахарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, — и на своих двоих.

* * *

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.

Он весь во мгле и весь — подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать уснул ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филлин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913, 1928

ДВОР

Мелко исписанный инеем двор!
Ты — точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валятся, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назад,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный — как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету

Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие¹ тьме полыханьем огней!
Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах — студеной моей,
Их откровений — темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на вощеных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба — свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».

ДУРНОЙ СОН

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,
Прислушайся к голой побежке бесснежья,
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзовах ветра,

Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Полями, по воздуху, сквозь окоlesiцу,
Приснившуюся небесному постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти,
И шамкают замки, поместия с пришептом,

¹ Крепкий кому — подвластный, обязанный данью или податью.

Всё вышиблено, ни единого в целости,
И постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назем огородника,
Всю землю сравнивали с землей на Стоходе.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, — месяц небесный,
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной напроць отстреленной.
Его ожгло, как отёкшую тыкву.
Он прыгнул с гряды за ограду. Он в рытвине,
Он сорван был битвой и, битвой подхлеснутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя,
Слова гололедицы, мглы и лафетов?
И сказка ползет, и клочки окоlesiцы,
Мелькая бинтами в желтке ксероформа,
Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.

Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится небесному постнику. . .

1914

ВОЗМОЖНОСТЬ

В девять, по левой, как выйти со Страстного,
На сырых фасадах — ни единой вывески.
Солидные предприятия, но улица — из снов веды!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.

Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, Тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.

К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,
И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!

ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЭСНИ

(Отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.

Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящею паклею
Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму —
Видимо-невидимо.

Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы... И с них,
С их глухоты — с их захолустья,
Завязывалась ночь портних
(Иных и настоящих), прачек,
И спертых воплей караул,
Когда — с Канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Середь двора; когда посул
Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лисиц
На лед оконных переплетов
И часто на плечи жилиц.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, — счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас всё вокруг,
Что всё — таинственность, испуг,
И сокровенье, — и что там,
На старом месте старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.

Стояли тучи под ружьем
И как в казармах батальоны,

Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость — неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем
И вечной памятью героям.
Стоял декабрь. Ряды окон,
Неосвященных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.

1915

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенья владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус

Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пищалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника — ветер.
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелём
Наносит трамвай.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план; как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом.
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не удержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, неменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

* * *

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

1915, 1928

ЗИМНЕЕ НЕБО

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там — всё равно,
Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к скобе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, — лавой
Дух захватившего льда налиты.

ДУША

О, вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему — тень без особых примет.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал ты есть земную соль?!

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалящую полночью площадь,
В сплославшую белую бездну
Незримому ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев — «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютеи,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути...

МЕТЕЛЬ

1

В посадке, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожен
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор,
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено велятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес! —
Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
Уюта! — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели — сполáгоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланый наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

ЛЕДОХОД

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916, 1928

* * *

Я понял жизни цель и что
Ту цель, как цель, и эта цель —
Признать, что мне не вмоготу
Мириться с тем, что есть апрель,

Что дни — кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капли, от слезы
И от поста болят виски,

ВЕСНА

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель, Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2.

Весна! Не отлучайтесь
К реке на прорубь. В городе
Обломки льда, как чайки,
Плывут, крича с три короба.

Земля, земля волнуется,
И под мостов пролеты
Затопленные улицы
Сливают нечистоты.

По ним плывут, как спички,
Сквозь холод ледохода
Сады и электрички
И не находят броду.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, —
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

ИВАКА

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня — парось.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых,

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

СТРИЖИ

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о, торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, —
Смотрите, смотрите — нет места земле
От края небес до оврага.

СЧАСТЬЕ

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанию, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смывти ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Канн,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клёст
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.

1915

ЭХО

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли в песню ли льется.

Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.

И если березовых куп
Безвозгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью.

И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.

ТРИ ВАРИАНТА

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное шелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится и каплями
Роняет струящийся пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури — походь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водопоя.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дуряя,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатаься с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клетот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. — И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

БАЛЛАДА

Бывает, курьером на бóрзом
Расскачется сердце, и точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей — топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо
И штемпеля вклепал,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи
Движенья: лакей со свечой в колпаке.
Мельчая, коптят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Щепродвижений на рози

И кавашиет сина кор мид - рурен
Пот клопане рурел, паса и зороб.
Казалос, - ве даво, казгалос, - ве кону
Кривави криво себерет внаки.

И што тешко, и што вад пруд
И болни; и пши и сина кор дубо,
Казалос, скорд уперуват, год уперу
Кривки во зротавање перелов.

И ве, што в пруду уривки небосвод
Ковиоки ка пачиби на воду вонка,
Казалос, до тешкивала до внаки
Од бесте клопане вад и зротава.

И што вад пруд, и што тешко,
И што одагено вон те сина
Кривого серен, как нево и зно,
Омохши от леберного гана.

1915 - 1916.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Мокает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятеричной оправой
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крюками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы
Отвечу: путь мой был тернист.

Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.

А зимы другую основу
Сновали, и вот в этом крошечье
Я — черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.

Я — пар отстучавшего града; прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я —
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счета по службе, всю сладость и яды,
Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я — мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.

Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.
Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,
Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унести.

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,
Пускались снова без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,
И музыкой — зеркалом исчезновенья
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль, и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был, как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти била вода.

Потом начиналась работа граверов,
И черви, разделав сырье под орех,
Вгрызались в сознание гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею машиной
На август напарывались дерева,

И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.
Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшнейшей из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронести мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
Я трачу в глупых разговорах
Всё, что дорогой приберег.

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшей из взрослых
И сверстник сердца моего.

1916, 1928

МЕЛЬНИЦЫ

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волю,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек шевеленье.

Как губы, — шепчут; как руки, — вяжут;
Как вздох, — невнятны, как кисти, — дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам — свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях, степей паруса.
И сохнут на срубках, висят на горбах
Рубахи из луба, порты — короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегаёт и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охалками падают в их постава.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокощущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтобы бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой

Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани
И городские фонари.

ИЗ ПОЭМЫ

Два отрывка

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться

Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и как по заказу
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статься. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чашей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилища.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, — полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь — бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женевскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин — арак, а горожанок —
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, бога ради,
О, бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчуждением облита,

То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

1916

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И всё это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребьячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спёкалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
'(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей,
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1915

СЕСТРА МОЯ—ЖИЗНЬ

Лето 1917 года

Посвящается Лермонтову

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerflüge,
Da mahl' ich in die Wetter hin,
O, Mädchen, deine Züge.

*Nic. Lenau*¹

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

¹ Бушует лес, по небу пролетают грозные тучи, тогда в движении бури мне видятся твои девичьи черты. *Ленау* (нем.). — *Ред.*

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подружка, — лавиной вернуся.

НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам,

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прынет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот,

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы, в вермут окунал.

ТОСКА

Для этой книги на эпитаф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, ляская и глядась
Иззябшей шерстью.

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодную ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

* * *

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно омешон твой резон,
Что в грёзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.





Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнова всё перечти,

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезняет мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь,
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель,

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверюсь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.

ЗЕРКАЛО

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!
Казалось бы, всё коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

Зеркальная всё б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчи́л и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чиркнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормозится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет — и не бьет стекла!

ДЕВОЧКА

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад заслан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, гадает, глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

* * *

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

ДОЖДЬ

Надпись на «Книге степи»

Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Тоги, теки эпиграфом
К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!

— Ночь в полдень, ливень, — гребень ей!
На щелбе, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, — ниц!

И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглою липовой
Садовый Сен-Готард.

КНИГА СТЕПИ

Est-il possible, — le fût-il?

*Verlaine*¹

ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег всё гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

¹ Возможно ли, — было ли это? *Верлен* (франц.) — *Ред.*

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И — пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: здравствуй!

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

НЕ ТРОГАТЬ

«Не трогать, свежевыкрашен», —
 Душа не береглась,
И память — в пятнах икр и щек,
 И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
 За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
 С тобой — белей белил.

И мгла моя, мой друг, божусь,
 Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
 Чем белый бинт на лбу!

* * *

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам — суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошениных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз — кормой!

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

БАЛАШОВ

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем — масла подливал
В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь,
И песнь небес: «Твоя, твоя!»
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокоан,
А впрочем — ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльскойю облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

ПОДРАЗЖАТЕЛИ

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею — в песок,
Гремучей ржавчиной — в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

ОБРАЗЕЦ

О, бедный Homo sapiens,¹
Существованье — гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех роц ракитовых,
Куда я письма слал.

¹ Мыслящий человек (лат.). — *Ред.*

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,

А уж гудели кобзами
Колодцы, и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБИМОЙ

* * *

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться слятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

СЛОЖА ВЕСЛА

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на шелканье славок проматывать!

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.

Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — прибор
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.

СВИСТКИ МИЛИЦИОНЕРОВ

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.

Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев,
Вскакивают: за оградю
Север злодейств сереет.

И вдруг — из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, — плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.

Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами,
И горлом, и глазом, назад,
По-рыбы, наискось задранным!

Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.

И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяетсядохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ

Рассказали страшное,
Дали точный адрес:
Отпирают, спрашивают,
Двигутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она, —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии, —
А горечь слез осточертела, —
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили с сердца замираньем
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это — круто налившийся свист,
Это — шелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,¹
Это — с пультов и флейт — Фигаро
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

¹ В данном случае слово «лопатки» означает стручки гороха.

Площе досок в воде — духота,
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУШИ

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком —
Сумасброд — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, — «Меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась — в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛИ

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так — шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.

Тени стянет трепетом tetanus,¹
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как щашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь,²
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

¹ Столбняк (лат.). — *Ред.*

² Дóведь — шашка, проведенная в край поля, в дамы.

НАША ГРОЗА

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер шиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу.
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?!

О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И иглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И объявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез — до слез!

ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресекались рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просеявая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чашей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

MEIN LIEBCHEN, WAS WILLST DU NOCH MEHR?¹

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Всё еще нам лес — передней.
Лунный жар за елью — печью,
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

¹ Любимая, что тебе ещё угодно? (нем.) — *Ред.*

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут — солнца — в пыль и ливень?

РАСПАД

Вдруг стало видимо далеко
во все концы света.

Гоголь

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, Распад?
Поволжьем мира чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционную копной.

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где Хопер?
И воздух степи всполошен:

Он чует, он вливает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится — слышит: обернись!

Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

РОМАНОВБА

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колелет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колелет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. — Он.
— Нашли! Он самый и есть. — Омет.
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль, как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: — В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волццы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь — как до грехопаденья:
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыбашееся виденье!

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, — но негнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленье,
И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен,

Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось — перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас

Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ

МУЧКАП

Душа — душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц — вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Крылатою стоянкой парусной
Застыли мельницы в селеньи,
И все полно тоскою яростной
Отчаянья и нетерпенья.

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

МУХИ МУЧКАПСКОЙ ЧАЙНОЙ

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,
Смыл — и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пашенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой божьей гуще.

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тьякanye овчарок,

Дуб и вывески финифть,
Не стерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.

Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,
С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца,

Будто это бред с пера,
Не владеячи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.

Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, — знаю.

* * *

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволол.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твой упрусь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,

Он улетуцивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

* * *

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размозжить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В Апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и — опять,
Не устанут повторять.

Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар...

Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.

И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый — инженер
И студент (интеллигенты).

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Под Киевом — пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипятки,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек...
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжижать.
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?

Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.

Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, —
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб шелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По зову квизисан
Столы в пустых присутствиях,

И на лоб по жаре
Сочились сквозь малинник,
Где — блеск оранжерей,
Где — белый корпус клиники.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,

Не сир, не бос, не голоден,
Блаженствует, соперник?

Вот этот душный, лишний,
Вокзальный вор, валандала,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?

Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает, горсть за горстью
Измученной сорочке?

Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонят с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?

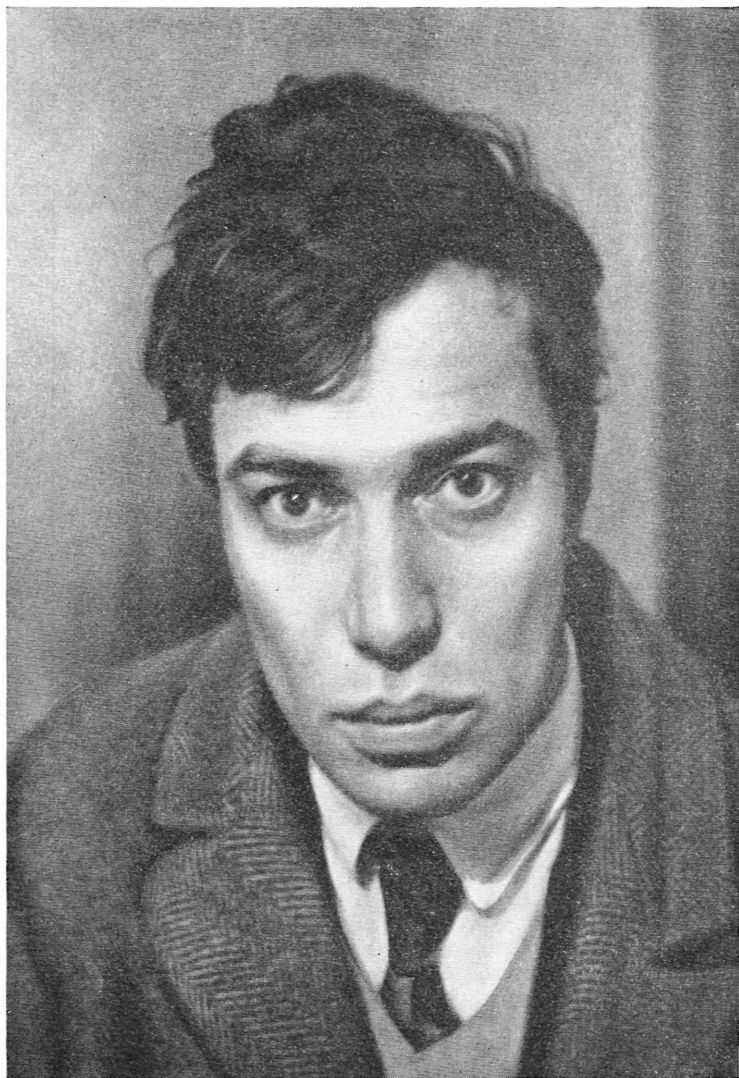
Перенесутся за ночь,
С крыльца вздохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?

Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?

Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.

У СЕБЯ ДОМА

Жар на семи холмах,
Голуби в тледом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце



(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.

В городе — говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.

Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

Е Л Е Н Е

ЕЛЕНЕ

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гниlostными.

Будешь — думал, чаял —
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор;
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, — Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится — управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

КАК У НИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом —
Оглушены. Не слышат. Далекн.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угошен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнут плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

ЛЕТО

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Воцзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало — нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислоте блестя,
И винной пробкой пахли.

ГРОЗА МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Мерзла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознания:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

* * *

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он заслан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена — и безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, паусной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою,
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов воьет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка
И хаосом зарослей брызнется.

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебаstra?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

ИМЕЛОСЬ

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчиьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste,¹ — но верь мне,
Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.

Казалось, не люблю, — молюсь
И не целую, — мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прерываясь в ах! —
Коралловая мякоть.

* * *

Любить — идти, — не смолкнул гром,
Топтать тоску, не звать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосую:
«Так это эхо?» — и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.

¹ Вино веселья, вино грусти (франц.). — *Ред.*

Как с маршем, бресть с репьем на всём.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.

Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьями
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; ябло; рыбу ели.

И, раз сваясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеен,
Наверное и он — старик
И тоже следом околет».

Так пел я, пел и умирал.
И умирал и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И — сколько помнится — прощался.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пылью.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя, по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса,

КОНЕЦ

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова — улица. Снова — полог тюлевый,
Снова, что ни ночь — степь, стог, стон
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет — улягутся. Вдруг — гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истяжал тобой.

Осень. Изжелта-сизый бисер нижится.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть,
Как приелось жить!

О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов; в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.

Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ

ВДОХНОВЕНЬЕ

По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фурой
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.

Как в росистую хвойную скорбкость
Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:
Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете
Под стихом и при нем часовой.

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!

1921

ВСТРЕЧА

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где с предвкушеньем водостоков
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка

В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

1922

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

МЕФИСТОФЕЛЬ

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь — велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав как лямки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.

ШЕКСПИР

Извозничий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.

Спиралями, мешкотно падает снег.
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
А впрочем. . . А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Остриль пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?»

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэръ, но милорд, мы — в трактире.

Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу —
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

1919

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

..Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.

Ап. Григорьев

ТЕМА

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы втупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье

Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос,
Светло, как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах — соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд?

Скала и шторм и — скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

ВАРИАЦИИ

1. оригинальная

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но — тошно
И страшно, и — рвется фосфат,

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеванный бетель,
Песок осушает взасос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

2. ПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.

В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара
Воображалась в мыслях кафру,
Еще невыпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной
Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайный вид. Где огибал

Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,
В последний миг еще качаясь,
Трубя и в отклике отчаясь,
Борясь, чтоб захлебнуться в миг
И сгнуть все с глаза. Был дик
Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнувших снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,
На милость черных вечеров. . .
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край
Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырьась,
Заколыхал камыш и ирис,
И набежала рябь с концов.
Но неподернут и свинцов
Посередине мрак лиловый.
А рябь! Как будто рыболова
Свинцовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолет
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся пойма.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
С каким он погрузился в чтенье
Евангеля морского дна.
Последней раковине дóрог
Сердечный шелест, капля сна,
Которой мука солона,

Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллам губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4

Облако. Звезды. И сбоку —
Шлях и — Алеко. Глубок
Месяц Земфирина ока:
Жаркий бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!

Стоя! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень, как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, — заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5

Цыганских красок достигал,
Болея цынгой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал,
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнувшая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с очаковскою чайкой.

В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

1918

БОЛЕЗНЬ

1

Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.

Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает. «Не его ль?»
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)

Вдали, в Кремле гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, — тихой называется.

2

С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракитовый,
Дыбятся клочья и пряди.

Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой туговой
Церковь свернуться успеет.

Что это? Лавры ли Киева
Спят купола, или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?

Так это было. Тогда-то я,
Дикий, скользящий, растуший,
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.

Был он, как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Видалась взору оленьему
На́ полночь легшая четверть.

Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу, как сноп, оно
Белой плескало копною.

До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.

Может статься так, может иначе,
 Но в несчастный некий час
 Духовенств душней, черней иночеств
 Постигает безумье нас.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
 Соблюдает холод льда.
 В шубе, в креслах Дух, и мурлычет — и
 Всё одно, одно всегда.

И чекан сука, и щека его,
 И паркет, и тень кочерги
 Отливают сном и раскаяньем
 Сутки сплошь грешившей пурги.

Ночь тиха. Ясна и морозна ночь,
 Как слепой щенок — молоко,
 Всею тьмю пихт неосознанной
 Пьет сиянье звезд частокол.

Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
 Будто воском ночь заплыла.
 Лапой ели на ели слепнет снег,
 На дупле — силуэт дупла.

Будто эта тишь, будто эта высь,
 Элегизм телеграфной волны —
 Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»
 Или эхо другой тишины.

Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей,
 А другой, в высотах, — тугоух,
 И сверканье пути на раскатах — ответ
 На зыванье чьего-то ау.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
 Соблюдает холод льда.
 В шубе, в креслах Дух, и мурлычет — и
 Всё одно, одно всегда.

Губы, губы! Он стиснул их до крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

4. ФУФАЙКА БОЛЬНОГО

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведет, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного — фланель:
То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило! Казалось — сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем, и ковры, и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

5. КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упадке сил
С тоски вызывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою всё застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящий кисти башлыка,
Здороваящуюся в наручных.

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Бойтся, видно, — год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнова воспитывать.

6. ЯНВАРЬ 1919 ГОДА

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его
Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и — делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

7

Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твоё замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!

Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, — помнишь, помнишь
Колоколов предпраздничных гуденье? давешних

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!

1918—1919

РАЗРЫВ

1

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!

О ангел залгавшийся, — нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, — я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слышать? Какие сплетни в городе?»

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая».
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в течение дня
На ходу на сходствах ловит улица!»

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть
в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
 И как лилий, атласных и властных бессильем ладоней!
 Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, — ведь в бешеной
 этой лапте —
 Голошеньке лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне,
 Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне
 Актей,
 Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах
 лошадей,
 Целовались залиvistым лаем погони
 И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт
 и когтей.
 — О, на волю! На волю — как те!

6

Разочаровалась? Ты думала — в мире нам
 Расстаться за реквиемом лебединым?
 В расчете на горе, зрачками расширенными,
 В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
 Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
 Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
 Растянутасть видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
 Раздумья, решила, что всё перепашет.
 Что — время. Что самоубийство ей не для чего.
 Что даже и это есть шаг черепаший.

7

Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью,
 в перелете с Бергена на полюс,
 Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
 Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
 Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг.

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца,
В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутивным — спи,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. утешься,

Когда совсем как север вне последних поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
Полночным куполом полощущий глаза слепых
Я говорю — не три их, спи, забудь: всё вздор один. тюленей,

8

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, за этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого прости.

(Сейчас там ночь.) За душный свой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ облизжет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

1918

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ

1. КЛЕВЕТНИКАМ

О детство! Ковш душевной глубин!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клеветет,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клеветет,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клеветет,
Манишек аромат,
Изыщество дареной вещи,
Клеветет хиромант.

Ничтожность возрастов клеветет.
О юные, — а нас?
О левые, — а нас, левейших, —
Румянись и юнись?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырождение,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

1917

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств — в западню?
С ураганом — к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного, каре.
Так не мстят каторжанам. — Рубцуй!
О, не вы, это я — пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

1921 --

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

4

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.

Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружмся вихрем вороньим

И — мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, — с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

1921

5

Косых картин, летящих ливня
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срывать к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петъ причина,
Когда для ливня повод есть.

1922

НЕСКУЧНЫЙ САД

1. НЕСКУЧНЫЙ

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.

Он тоже — сад. В нем тоже — скучен
Набор уставших цвeсть пород.
Он тоже, как и сад, — Нескучен
От набережной до ворот.

И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

1917.

2

Достатком, а там и пирами
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.

Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.

В осанке твоей: «С кой стати?»,
Любовь, а в губах у тебя
Насмешливое: «Оставьте,
Вы хуже малых ребят».

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный, божий пустяк!

1917

3. ОРЕШНИК

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимою чащей сроднишься с отвычки, —
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редее, и птичка — как гичка,
И песня — как пена, и — наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И — мимо. . . И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шляпкой.

О место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одурая наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

1917

4. В ЛЕСУ

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, — не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палят ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

1917.

5. СПАССКОЕ

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

Этой ночью за парком знобило трясины.
Только солнце взошло, и опять — наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок.
На березах несмытый лиловый отек.

Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.

Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот — ропщет еще, и опять вам — пятнадцать
И опять, — о дитя, о, куда нам их деть?

Их так много уже, что не всё ж — куролесить.
Их — что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.

В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги брезенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.

1918

6. ДА БУДЕТ

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи — ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел, — вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка — пока ты госпожа,
Пока — покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

1919

7. ЗИМНЕЕ УТРО

(ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ)

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки — называлось, шепотом и патокою
День позападал за колыбельку.

Выйдешь — и мурашки разбегаются, и ежится
Кожица, бывало, — сумки, дети, —
Улица в бесшумные складки ложится
Серой рыболовной сети.

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом поздней, под чижиком, пред цветиками
Не сложеньем, что ли, с воли
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, —
В докторском глазу ж — безумье
Сумок и снежков, линованное, клетчатое,
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,
За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,
Зимний изумленный воздух.

1918

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.

Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допиться.

Раскидывая хлопко
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какую пробкой
Такую рожу выжег?

И день вставал, оплеснясь,
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.

1919

Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Всё в снегу и всё в минувшем.

Пэнтюх и головотяп,
Там, меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.

Треск ветвей — ни дать, ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь — связать,
Упадут, стуча, похоже.

Упадут в морозный прах,
Ах, похоже, спозаранок
Вихрь берется трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

1919

Ну, и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.

И поднять содом со шпилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпу шпилькой заколов,

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

1919

Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать —
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет
Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, — словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс,

1919

8. ВЕСНА

(ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ)

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоумению тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья,

1918

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и — жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?
Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? — Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

1919

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется
И — начнется. И гул пойдет.

Как всегда, расстегнув нараспашку
Пальтецо и кашне на груди,
Пред собой он погонит неславших,
Очумелых птиц впереди.

Он зайдет и к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать,

И зевнет, и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.

И шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей,
Глупой сказкой своей про меня.

1918

Закрой глаза. В наиглушайшем органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, — не привык.
Сейчас по чашам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облачении хвой,
Мирянин-март украдкой пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.

1921

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались — гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и шелканье шпуплек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

9. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ. (ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ)

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! —
Сбитая прическа, туча препирательств,
И сплошной поток шопеновских этюдов.
Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.

1913

Всё утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе — сон, кругом — безлюдье.
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий,

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешею Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Всё лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?

Прикосновение руки —
И полвселенной — в изоляции,
И там плантации пылятся
И душно дышат табаки.

1918

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обвалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.

По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу на вешалку на лето в шкаф.

И тянется, как за походною флягой,
Военную карту грозы расстелив,
К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц.

Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.

1921

Я вишу на пере у творца
Крупной каплей лилового лоска.

Под домами — загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.

И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.

Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.

Я креплюсь на пере у творца
Терпкой каплей густого свинца.

1922

Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкой пива, тобою пригубленной.

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником — тише, не гамьте!
Шепчут и шепчут пивца загогулины.

Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступление к портерной!

Век мой безумный, когда образую
Темп потемнелый былого бездонного!
Глуби Мазурских озер не разуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

1922

10. ПОЭЗИЯ

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Ты — душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И в рельсовом витье двояся, —
Предместье, а не перепев —
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, — струись!

1922

11. ДВА ПИСЬМА

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

И если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей, —
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.

Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выпросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался,
И это — под его диктовку.

Наверно, бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак,

Я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя, как прадед,
И знаменьем сложась пророчащим —
Тот дом по голой кровле гладит.

1921

На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию
Мне свел с каких-то незнакомцев.

Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светло-фиолетов.

Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдецек и физиономий,
Но, сделав их на миг мулатскими,
Не сделал ни на миг знакомей.

В ту ночь я жил в Москве и в частности
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснущих
Прибил к стене мне эту сцену.

1921

12. ОСЕНЬ (пять стихотворений)

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт — и дворы озирали.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынута
Пруды, и, казалось, с последних погод
Не движутся дни, и, казалось, вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно-зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навывказ, —

Смеркалась даль, — спокойная на вид, —
И дуло в щели, — праведница ликом, —
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916

Но и им суждено было выцвести,
И на лете — налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого, —
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники, как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На доньшке склянки — козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918

С Т И Х И Р А З Н Ы Х Л Е Т

1918—1931

С М Е Ш А Н Н Ы Е С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ДРУГУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходив из ваших первых книг,
Где крепи прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

1928

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Ты вправо, вывернув карман;
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне всё равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невозмогу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне всё равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне всё равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

1928

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаясь и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок,
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тёр.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928

ПРОСТРАНСТВО

Н. Н. Вильям-Вильмонт

К ногам прилипает наждак.
Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отлиывает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, —
И дождь, затажной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колеи непроезжих
Пятнистые пятаки
Лиловых, как лес, сыроежек!

И заступ скрежешет в песке,
И не попадает зуб на зуб.
И знаясь не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске о стекле и цементе.

Во вторник молебн и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, — и где перечесть
Московского съезда соблазны,
Ненастей горящую шерсть,
Заманчивость мглы непролазной?

Там город, — и ты посмотри,
Как ночью горит он багрово.
Он былью одной изнутри,
Как плоскою, иллюминирован.

Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок.
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

1927.

БАЛЬЗАК

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.

Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.

Беспечно мчатся тильбюри.
Своя довлеет злоба дневи.

До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.

А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.

Почти как тополь, лопоух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Зауспокойную обедню.

Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.

Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгнуться задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией — старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?

1927

БАБОЧКА — БУРЯ

Бывалый гул былой Мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,
И, как вы на него ни цыцкай,
Он пальцем вам — и ни гугу.

Он снится мне за массой действий,
В рядах до крыш горящих сумм,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.

Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтамт.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам ткет кокон.

Тогда-то, сбившись с перспективы,
Мрачатся улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.

1923

ОТШЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва,
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, береста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, — но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

1922
Финский залив

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, всё кончено! Бей меня в лет.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928

ПЕТУХИ

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим — все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликаая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви — всему, всему.

1923

ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак роци сообща
Их разбирает на перчатки.

1927

СИРЕНЬ

Положим, — гудение улья,
И сад утопает в тряпье,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!

Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, —
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

· 1927

ЛЮБКА

В. В. Гольцеву

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелел блесной,
Вода забила в уши царских свечек.

Взледеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет всё:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

1927.

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрит в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться; мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет? ..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

ПАМЯТИ РЕЙСНЕР

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе всё упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы,

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

1926

ПРИБЛИЖЕНЬЕ ГРОЗЫ

Я. З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города, и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всею купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты — до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,

И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

1927

ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Жене

ГОРОД

Уже за версту,
В капиллярах ненастья и вереска
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, — каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

Навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелетном клину пустырей.
Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И — за поезд
Во весь карьер:

Это вещие ветки,
Божась чердаками,
Вылетают на тучу.
Это черной божбою
Бьется пригород Тьмутараканью в падучей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дверей, и рам

О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.

Это смена бригад по утрам. Это спор
Забытья с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль —
От расспросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду скорбь.
Это — наш городской гороскоп,

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенною свист замутив,
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расстроив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Гролом дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных рош,
Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь.

Фонарями, — и сказ свой ширишь
О страданице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Я опасуюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены — с тенью Мопассана.

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal у pense: ¹
Нас только ангел мог измучить.

¹ Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (старо-франц.). — *Ред.*

В углах улыбки, на щеке,
На прядях — алая прохлада.
Пушаты уши и жакет.
Перчатки — пара шоколадок.

В коленях — шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

Где горизонт, как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь бегут бегом
Свистки и тучи, и вагоны.

1916

ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ

(Зачаток романа «Спекторский»)

Графленая в линейку десть!
Вглядишь в ту сторону, откуда
Нахлынуло всё то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.

Отрапортуй на том смотрю,
Ударь хлопушкой округи.
Будь точно роща на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.

Как разом выросшая рысь,
Всмотришь во всё, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотришь.

Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.

Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.

По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов?

Я жил в те дни, когда на плоской
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам
И вечер к славе подстрекал.

Когда, нацелившись на взрослых,
Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль,
Уже рябили ружья в козлах
И пухла крупповская сталь.

По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы.
Нежданно ветер ставит воротник,
И улица запахивает шубу.
Представьте дом, где пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.
А рядом, в шапке крапчатой, декабрь
Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата.
В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как салоп на вате.
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате.
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь.
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись.

Профессор старше галок и дерев.
Он пепельницу порет папирсой.

Что в том ему, что этот гость здоров? —
Не суйся в дом без вызова и спросу.
На нем манишка и сюртук до пят,
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно невпопад:
«Не нервничать и избегать излишеств».
А после — в вопль: «Я, право, утомлен!
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души».

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданных бессонницей брандспойтов.
Туман на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чашам самовар
Лучинами зари и каланчами.
Вся в копоти, с чугунной гирей мги
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища.

• • • • •

1925

УРАЛЬСКИЕ СТИХИ

1. ставция

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилаась
Сладость радуги нагорной.

Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,

Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.

В час его прохода столь
На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,
Как на блеск глазури блюдной.

Ад крошечный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темячек в дыму
Кружев, гребней и булавок.

Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача.
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.

А меж тем наперекор
Черным каплям пота в скопе,
Этой станции средь гор
Не к лицу название «Копи».

Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Инородцы),
Но и в жар она — свежа,
Будто только от колодца.

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.

Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек? —
Мысль, что кажутся Хребту
Горкой крашенных яичек.

Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то.

Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?

Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам.
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.

Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурею лица,
Клиньями столетних елей.

1919

2. РУДНИК

Косую тень зари роднит
С косою тенью спин Продольный
Великокняжеский Рудник
И лес теней у входа в штольню.

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,
Он обдает тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, снуя,
Как знаки заклинанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяет шаг
От царства угля — царства трупа.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
Пахнет руда, дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неописуем!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.

Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.

Огарки, — а светлей костров
Вблизи, — а чудится, верст за́ пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.

Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышит ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.

Ведь так легко пропасть, застряв,
Когда, лизнув пистон патрона,
Прольется, грянувши, затрав
По недрам гулко, похоронно.

А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый, — слова нет, —
Расплавленные капли, хлопья.

В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль! — Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.

Как будто ты воскрес, как те —
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.

1919

МАТРОС В МОСКВЕ

Я увидел его, лишь только
С прудов зиме
Мигнул каток шестом флагштока
И сник во тьме.

Был чист каток, и шест был шаток,
И у перил,
У растарашенных рогаток,
Он закурил.

Был юн матрос, а ветер — юрок:
Напал и сгрёб,
И вырвал, и задул окурок,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нем сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух.

Как право дуть из всех отверстий,
Сквозь всё — колоть,
Как ночь, сидел костюм из шерсти
Мешком, не вплоть.

И эта шерсть, и шаг неверный,
И брюк покрой
Трактиром пахли на Галерной,
Песком, икрой.

Москва казалась сортом щебня,
Который шел
В размол, на слом, в пучину гребней,
На новый мол.

Был ветер пьян, — и обдал дрожью:
С вина — буян.
Взглянул матрос (матрос был тоже,
Как ветер, пьян).

Угольный дом напомнил чем-то:
Плавающий дом:
За шапкой, вея, дыбил ленты
Морской фантом.

За ним шаталось, якорь с цепью
Ища в дыре,
Соленое великолепье
Бортов и рей.

Огромный бриг, громадой торса
Здрав бока,
Всползая и сползая, терся
Об облака.

Москва в огнях играла, мерзла,
Роился шум,
А бриг вздыхал, и штевень ерзал,
И ахал трюм.

Матрос взлетал и ник, колышим,
Смешав в одно
Морскую низость с самым высшим,
С звездами — дно.

Как зверски рывкать надо клетке
Такой грудной!
Но недоразуменья редки
У них с волной.

Со стеньг, с гирлянды поднебесий,
Почти с планет
Горланит пене, перевесясь:
«Сегодня нет!»

В разгоне свищущих трансмиссий,
Едва упав
За мыс, кипит опять на мысе
Седой рукав.

На этом воющем заводе
Сирен, валов,
Огней и поршней полноводья
Не тратят слов.

Но в адском лязге передачи
Тоски морской
Стоят, в карманы руки пряча,
Как в мастерской.

Чтоб фразе рук не оторвало
И первых слов
Ремнями хлещущего шквала
Не унесло.

1919

9-е ЯНВАРЯ

(Первоначальный вариант)

Какая дальность расстоянья!
В одной из городских квартир
В столовой — речь о Ляояне,
А в детской — тушь и транспортир.

Январь, и это год Цусимы,
И, верно, я латынь зубрю,
И время в хлопьях мчится мимо
По старому календарю.

Густеют хлопья, тают слухи,
Густеют слухи, тает снег.
Выходят книжки в новом духе,
А в старом возбуждают смех.

И вот, уроков не доделав,
Я сплю, и где-то в тот же час
Толпой стоят в дверях отделов,
И время старит, мимо мчась.

И так велик наплыв рабочих,
Что в зал впускают в два ряда.
Их предостерегают с бочек. —
Нет, им не причинят вреда.

Толпящиеся ждут Гапона.
Весь день он нынче сам не свой:
Их челобитная законна, —
Он им клянется головой.

Неужто ж он их тащит в омут?
В ту ночь, как голос их забот,
Он слышен из соседних комнат
До отдаленнейших слобод.

Крепчает ветер, крепнет стужа,
Пар так и валит изо рта.
Дух вырывается наружу
В столетье, в ночь, за ворота.

Когда рассвет столичный хаос
Окинул взглядом торжества,
Уже, мотая что-то на ус,
Похаживали пристава.

Невыспавшееся событие,
Как провод, в воздухе вися,
Обледенелой красной нитью
Опутывало всех и вся.

Оно рвалось от ружей в козлах,
От войск и воинских затей
В объятья любящих и взрослых
И пестовало их детей.

Еще пороли дичь проспекты,
И только-только рассвело,
Как уж оно в живую секту
Толпу с окраиной слило.

Еще голов не обнажили,
Когда предместье лесом труб
Сошлось, звеня, как сухожилье,
За головами этих групп.

Был день для них благоприятен,
И снег кругом горел и мерз
Артериями сонных пятен
И солнечным сплетеньем верст.

Когда же тронулись с заставы,
Достигши тысяч десяти,
Скрещенья улиц, как суставы,
Зашевелились по пути.

Их пенье оставляло пену
В ложбине каждого двора,
Сдвигало вывески и стены,
Перемещало номера.

И гимн гремел всего хвалебней,
И пели даже старики,
Когда передовому гребню
Открылась ширь другой реки.

Когда: «Да что там?» — рывкнул голос,
И что-то отрубил другой,
И звук упал в пустую полость,
И выси выгнулись дугой.

Когда в тиши речной таможни,
В морозной тишине земли —
Сухой, опешившей, порожней —
Лишь слышалось, как сзади шли.

Ро-та! — взвилось мечом Дамокла,
И стекла уши обрели:
Рвануло, отдало и смолкло,
И миг спустя упало: пли!

И вновь на набережной стекла,
Глотая воздух, напряглись.

Рвануло, отдало и смолкло,
И вновь насторожилась близь.

Толпу порол ружейный ужас,
Как свежесвыбеленный холст.
И выводок кровавых лужиц
У ног, не обнаружась, полз.

Рвало и множилось и молкло,
И камни — их и впрямь рвало
Горячими комками свеклы —
Хлестали холодом стекло.

И в третий раз притихли выси,
И в этот раз над спячкой барж
Взвилось мечом Дамокла: рысью!
И лишь спустя мгновенье: марш!

1925

К ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черёд.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.

Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.

Бессрочно и тысячеверстно
Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.

Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
Обширней еще, чем допрежь.

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв новобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могло ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2

Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня —
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов.
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии, — плеск
Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит

Во всё запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целеют под кипой
Событий и прахом попыток
Уйти из киргизской степи.

Но тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи, —
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем саумуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень, как шерсть, —
На лестницах министерств.
Одинокий как перст, —
Таков Петроград,
Еще с Государственной думы
Ночами и днями кочующий в чумах
И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.

Он всё еще не искупил
Провинностей скипетра и ошибок
Противного стереотипа,
И сослан на взморье, топить, как Сизиф,
Утопии по затонам,
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.

И осень подходит с обычной рутинной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настигает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Наталкивает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам на кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протаскив по всей квартире,
Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев —
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег, и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду — жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой

Горящих глаз Петросовета,
Вперённых в небывалый строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках — метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли.

1927

БЕЛЫЕ СТИХИ

И в этот миг прошли в мозгу все мысли
Единственные, нужные. Прошли
И умерли. . .

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал, —
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. — Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел всё то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно».

— Блистали бляхи спавших сторожей,
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драло
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было богу доказать,
Что Ганская — одна, как он задумал. . .» —
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. — «Что Ганская — одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть». — Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как празден дух проведенного без сна
Такую ночь! Как голубó пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!

Он вспомнил всех. — Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре
Он заключил, что ветка — над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще. — Он вспомнил всех. —
О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Прилично не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,

Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. — Вошли
и вышли,

По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощажённых тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает,
Что это не названия картин,
Не сцены, но — разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик
И иногда рисует *l'âne de miel*¹
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья — бешеный кошмар,
Обломком бреда — светлое блаженство.
В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, — кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
О зелени. Но март их понимал
И всем трубил про молодость и свежесть.

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.

¹ Медовый месяц (франц.). — *Ред.*

Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, млечный путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. — Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Неслись стога и со стогами — ночь.

На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листе. — Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах —
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это — то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
Зачем же так печально-опаданье:
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы. . .

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, — идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, — всё — в тени.
Рождается троянский эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, — идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи, —
Простятся все грехи.

Всё это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны,
А как натянут этот слух, —
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками металась мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
Уж ты и спишь, и смерти ждешь,
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь
Глокает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат.

Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что всё по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клетот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

И полз голодную глистой
С второго этажа на третий,
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,

Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкой сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул,
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду,
Я говорю про всю среду,

С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово «враг».
Гощу. — Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Мы были музыкою чашек
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, — и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.

Но я видал Девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств,
Пошел взволнованный донельзя
К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский

Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,
Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цементу крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнувших глазах творца
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.
Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, — вне ее разбора.

Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псари.
Бряцанье шпор ходило горбась,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа,

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исшипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загрибок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб

Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923. 1928

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе.

ОТЦЫ

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И однако,
За быстрою сменой лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.

Еще ночь под ружьем
И заря не взялась за винтовку.
И однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.

Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,

Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугулки.
Гром позорных телег —
Гроыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россию после реформ.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи. ,
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,

Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.

Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.

Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,

И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожак эшафот.
Шепот жертв и депеш,
Участья,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда всё оживет.

Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя,
И светя, точно блудному сыну,

Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстояньи версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит
И на плитах грязца.

Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое здание почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.

В классах яблоку негде упасть
И жара, как в теплице.
Звон у Флора и Лавра
Сливается
С шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней,
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.

В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья,

Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют,
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,
На простор,
Подоженный зимой.

Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя.
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,
Впереди —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Стеченье народа повсюду.
Подземелья, панели.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый,

Усталый, как слава.
Это —
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это —
(Дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валящихся с неба
Единиц
И снежинок
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега —
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами,
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,

Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузии.

Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища...
Насмерть...
Сергей Александрыч...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

МУЖИКИ И ФАБРИЧНЫЕ

Еще в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Но не радуется даль.
Как раздолье собой ни любуйся, —
Верст на тысячу вширь,
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства.
Ошибает

На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,
И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части,
И бушует:
Вставай,
Подымайся,
Рабочий народ.

И бегут, и бегут,
На санях,
Через глушь перелесиц,
В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Еще есть поезда.
Еще толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

Лето.
Май иль июнь.

Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.
Отеки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:
Это сыплются стекла
И струнья
Расстрелянных гильз.

Началось, как всегда.
Столкновение с войсками
В предместьи
Послужило толчком.
Были жертвы с обеих сторон.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторенное в день похорон.

И тогда-то
Загрохали ставни,
И город,
Артачась,
Оголенный,
Без качеств,
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движение.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдивший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкой
Падал престиж.

МОРСКОЙ МЯТЕЖ

Придается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибор

Сатанеет
От прорвы работ.
Всё расходится врозь
И по-своему воеет и гибнет,
И, свинья от тины,
По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов
Оттесняет назад.
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И всё ниже спускается небо
И падает накошь,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Всё сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».

Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душиком. . .
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезжившим утром потух.

Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
— Все на ют!
По местам!
На две вахты!
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
— Смирно! —
С буксирного кнехта
Грозя семистам.

— Недовольство?!
Кто кушать — к котлу,
Кто не хочет — на рею.
Выходи!
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,
Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.

— Стой!
Довольно! —
Вскричал
Озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
— Снова шашни?! —
Он скомандовал:
— Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить! —
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля:
— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
— Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! —

Трах-тах-тах. . .
Вынос кисти по цели
И залп на бегу.

Трах-тах-тах. . .
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах. . .
По воде,
По пловцам.
— Он еще на борту?! —
Залпы в воду и в воздух.
— Ага!
Ты звереешь от жалоб?! —
Залпы, залпы,
И за ноги за борт
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
— Степа!
Наша взяла!

Машинист поднялся.
Обнялись.
— Попытаем без нянек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, —
Каков у нас младший механик?
— Есть один.

— Ну и ладно.
Ты мне его на́верх отправь.

День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
— Выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

СТУДЕНТЫ

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смолкло всё.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни,
Вихри сахарной пыли,

Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подвсротни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К Моховой от Охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы — в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.

Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами —
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:
«Засада!
Назад!»
Беготня.

Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»
Ниши, лестницы, хоры,
Шинели, пробирки, кислоты.
«Тише, тише,
Кладите.
Без пульса. Готов отойти».
Двери врозь.
Вздых в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
«Третий курс!
В реактивную, на перевязку!»
«Снегом, снегом, коллега».
— Ну, как?
«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.
Заваянный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курающийся кровью мороз.
Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.

Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.

Где-то сходка идет,
И в молчанье палатных беспамятств
Проникают
Сквозь стекла дверей
Отголоски ее.
«Протестую. Долой».
Двери вздрагивают, упрямясь,
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забывье.

МОСКВА В ДЕКАБРЕ

Снится городу:
Всё,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,
Из окрестностей Пресни
Летит
На Трехгорное солнце,
И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль.
И прислушивается
К орудьям,
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше грудей
Баррикадные ramпы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.
Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского Граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
Аквариум.
Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет
Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду, за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся седел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Куртки драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральною дверью,

Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Бабах. . .
И — как лошади прерий —
Табуном,
Врассыпную —
И сразу легчает ему.

Шашки.
Бабы платки.
Бакенбарды и морды вогулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухаает в фидлерцев
Пушкой
Машков переулок.
Полтора ста борцов
Против тьмы без числа и мерил.

После этого
Город
Пустеет дней на десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.
Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток
Только с год
Протянул провода.
Но и этот, поныне
Судящийся с далью сутяга,
Для борьбы

Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.

Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
Кверху,
Как к куполу цирка:
Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их — что туч.
Всё черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
«Мин и Риман», —
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И Семеновский полк
Переводят на Брестскую ветвь.

Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,
С винчестерами, вшестером? ..
Перед ними бежал
И подошвы лизал
Переулок.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и собираться.
Смеркается.

Крепнет осада.
В обручах канонады
Сараи, как кольца, горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
Добро, коли баня цела.
Сунься за дверь — содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороды бреют.
Но делу бритьем не помочь.
Точно мыло под кистью,
Пожар
Наплывает и пухнет.
Как от искры,
Пылает
От имени Минова ночь.

Всё забилося в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому, — коноводам!
Топот, взвизги кабаньи, —
На улице верная смерть.

Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казачи верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.

Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.

Июль 1925 — февраль 1926

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутятся в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади размерно бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Всё кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И как во дни Батыевы,
Ушедший день стал странно стародавен.

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидел вас. . . Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! — Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!»

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как, что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины, —

Откуда этот гром,
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство?
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по извечной странности
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек.

Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев.
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К незнающему сна?
За неимением лучшего
Он ей в герои прочитя.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояниям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости,
Вздремнет — и скок с дивана.
Бежит в воде похлопаться
И снова на диван.

Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества —
Он сызнава под кран.

«Давайте, посчитаемся,
Едва сюда я прибыл,
Я всё со дня приезда
Вношу для вас в реестр,
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.

Опасность увеличится
С течением дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастет.
Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость?
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

.
Вы скажете — ребячество.
Но близятся события.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз?
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затей
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

Октябрь. Кольцо забастовок.
 О ветер! О ада исчадьё!
 И моря, и грузов, и кладки
 Летящие пряди.
 О буря брошюр и листовок!
 О слякоть! О темень! О зовы
 Сирен, и замки и засовы
 В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
 О ночи! О вольные речи!
 И залпам навстречу — увечья
 Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
 И в лад лейтенантовой клятве
 Заплаканных взглядов и платьев
 Кивки и объятья!
 О лестницы в крепе! О пеньё!
 И хором в ответ незнакомцу
 Стотысячной бронзой о бронзу:
 Клянитесь! Клянемся!

О вихрь, обрывающий фразы,
 Как клены и вязы! О ветер,
 Щадящий из связей на свете
 Одни междометья!
 Ты носишь бушующей гладью:
 «Потомства и памяти ради
 Ни пяди обратно! Клянитесь!»
 «Клянемся. Ни пяди!»

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
 Всё сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
 Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
 Парит растрепой по ветру, как бог пошлет, крыля.
 Еще вчерашней ночью гуляющих заботил

Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И воронье редутов из вереницы метел
В полете превращалось в стаю песчих голов.

Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
Подклеysterенным пластырем следы недавних язв.
Даровать населенью незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить, чтоб никакой...
И, зыбким киселем заслякотив засовы,
На подлинном собственной его величества рукой.

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
Саперы месят слякоть, и гуляют егеря.
Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

6

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во сто голов
Сечет крупой подошвы стволов,
И лоском олова берясь
На градоносном бризе,
Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.

И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.

Айва, антоновка, кизил,
И море Черное вблизи:
Ращенье гор, и переворот,
И в уши и за уши, изо рта в рот.

Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослепленно скотской
В волненьи глотающей волны, как клецки,
Сквозной, ристалищной тоски.

Агónia осени. Антагонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша-девица
С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
(Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоа,
Родящую мятеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою,
И — случая слепой каприз.

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски,
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на изм,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни
(А разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свои?!)

И упоенье героини,
Летающей из времен над синей
Толпою, — головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По коллизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,

И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.
Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссеый
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И — дело в шляпе, капитан».
«Parlez plus bas,¹ — заметил сухо
Другой. — Притом я не оглох.
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».

Шагах в восьми от адмирала,
Щетинясь гранями штыков,
Молодцевато замирала
Шеренга рослых моряков.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два длинных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонилося передрягой.
Изгладилось, как, побелев,
«Ты прав!» — вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, —

¹ Говорите потише (франц.). — *Ред.*

Шварк об землю ружье, и вмиг
Привстал, и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал — другого наповал,
И рвал гайтан, и тискал тельник,
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты — не разобрав, без злобы? ;
Ты стой на том и будешь цел».
— «Нет, вашество, белить не пробуй,
Я вздраве наводил прицел».
«Тогда», — и вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз:
«Ты сам пропал и арестован»,
Восстанья присказка вилась.

8

«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «Трех Святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и — неробкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься — картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и ее ответ серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вздохнувши мерзости бессилей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.

Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, среди мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перечитанного к личному, —
Еще мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход ... на фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбывшихся иллюзий
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе».

Окрестности и крепость,
 Затянутые репсом,
 Терялись в ливне обложном,
 Как под дорожным кожаном.
 Отеки водянки
 Грязнили горизонт,
 Суда на стоянке
 И гарнизон.
 С утра тянулись семьями
 Мещане по шоссе
 Различных ориентаций,
 Со странностями всеми,
 В ландо, на тарантасе,
 В повальном бегстве все.

У города со вторника
 Утроилось лицо:
 Он стал гнездом затворников,
 Вояк и беглецов.
 Пред этим, в понедельник,
 В обеденный гудок
 Обезголосел эллинг
 И обезлюдел док.
 Развертывались порознь,
 Сошлись невпроворот
 За слесарно-сборочной,
 У выходных ворот.
 Солдатки и служанки
 Исчезли с мостовых
 В вихрях «Варшавянки»
 И мастеровых.
 Влились в тупик казармы
 И — вон из тупика,
 Клубясь от солидарности
 Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
 Чем шире рос поток,
 Встревоженные жители
 Пустились наутек.

Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис расцвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:

Дует дальше с той же прямоюй.
Вон он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, — и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объяснение исполинов.

Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.
Всё же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб братья, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя» твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь — кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу... —
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настезь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
— «Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?»

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
— «Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

Подросток реалист,
 Разняв драпри, исчез
 С запиской в глубине
 Отцова кабинета.
 Пройдя в столовую
 И уши наострив,
 Матрос подумал:
 «Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
 Часу в четвертом.
 Смеркалось.
 Скромность комнат
 Спорила с комфортом.
 Минуты три извне
 Не слышалось ни звука.
 В уютной, как каюта,
 Конуре.

Лишь по кутерьме
 Пылинок в пятерне портьеры,
 Несмело шмыгавших
 По книгам, по кошме
 И окнам запотелым,
 Видно было:
 Дело —
 К зиме.
 Минуты три извне
 Не слышалось ни звука
 В глухой тиши, как вдруг
 За плотными драпри
 Проклятья раздались
 Так явственно,
 Как будто тут внутри:
 — Чухнин! Чухнин?!
 Погромщик бесноватый!
 Виновник всей брехни!
 Разоружать суда?
 Нет, клеветник,
 Палач,

Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я Черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клепку, в глотку. —
И мигом ока двери комнаты врзлет.
Буфет, стаканы, скатерть. . .

— Катер?

— Лодка!

В ответ на брошенный вопрос — матрос,
И оба — вон, очаковец за Шмидтом,
Невпопад, не в ногу, из дневного понемного

В НОЧЬ,

Наугад куда-то, вперехват закату,
По размытым рытвинам садовых гряд.
В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот, — поворот — другой —
И вдруг как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух
И кубарем с последней кручи — бух
В сырую грудю рухнувшего бута.

В зимней призрачной красе
 Дремлет рейд в рассветной мгле,
 Сонно кутаясь в туман
 Путаницей мачт
 И купаясь, как в росе,
 Оторопью рей
 В серебре и перламутре
 Полумертвых фонарей,
 Еле-еле лебезит
 Утренняя зыбь.
 Каждый еле слышный шелест,
 Чем он мельче и дряблей,
 Отдается дрожью в теле
 Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
 Могильным сном, вогнав почти
 Трехверстную округу в ужас.
 Он спит, наружно вызвав штиль.
 Он скрылся, как от колотушек,
 В молочно-белой мгле. Он спит
 За пеленою малодушья.
 Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
 В тумане тащатся войска.
 Всего заметней их роенье
 Толпе у Павлова мыска.
 Пехотный полк из Павлограда
 С тринадцатою полевой
 Артиллерийскою бригадой
 И — проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
 Зарядных ящиков разбег,
 И — грохот, грохот до ломоты
 Во весь Нахимовский проспект,
 На Историческом бульваре,
 Куда на этих днях свезен

Военный лом былых аварий, —
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепак,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

Он вырвался как вздох
Со дна души рядна,

И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.

Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух — на трех — на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок.

6

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первей?
Объехать эскадру,

Усовестить ядра,
Растрогать стальные созданыя верфей.

И на миноносце ушел он туда,
Где, небо и гавань лоя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далее дымилась суда.
Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
Под лад броненосцам
Качался и неся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

7

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь ямой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

Снова, на миг повернувшись круто,
 Город от криков задрожал:
 На миноносец брали с «Прута»
 Освобожденных каторжан.
 Снова, приветствуем экипажем,
 На броненосцы всходил и глос
 И офицеров брал под стражу
 И вводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
 Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
 Всюду суда тасовали флаги.
 Стяг государства за красным полз.
 По возвращеньи же на «Очаков»,
 Искрой надежды еще согрет,
 За волоса схватясь, заплакал,
 Как на ладони увидев рейд.

«Эх, — простонал, — без ножа доконали!»
 Натиском зарев рдела вода.
 Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
 Тучи, косматясь, как в холода.
 С суши, в порыве низкопоклонства,
 Шибче, чем надо, как никогда,
 Падали крыши складов и консульств,
 Камни и тени, скалы и солнце
 В воду и вечность, как невода.
 Всё закружилось так, что в финале
 Обморок сшиб его без труда.

Был выпретен, как сердце,
 И тих закат, как вдруг
 Метнула пушка с «Терца»
 Икру.

Мгновенный взрыв котельной,
 Далекий крик с байдар,
 И — под воду. Смертельный
 Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась, в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Всё отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Всё позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее получения был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутатий,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, всё. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет севастопольской бойни,
В старых газетах — полный отчет».

2

Послепогромной областью почтовый поезд в Рбмны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает, и — к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас,
не шумите...
Нельзя же до полуночи!» И разом в лягз и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит по лесу, по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотась к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок платка.
Вы догадались, кто она. — Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепление.
Он весь из камня острого, и — чайки на часах,
И неизвестно едущей, что эта крепость-тезка
(Очаков — крестный дедушка повстанца корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибором отдела.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой
неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет ни малейших
средств.

До Ромен не доехать ей. Не скрыться от мороки.
Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешкою к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистей объятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск пятерни.
И будет день посредственный, и разговор в передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг последний,
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3

Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какую неохотой пароход
Стал поднимать в ту непогоду сходи!
И утренней картины не забыть.
В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина,

Потом вдали из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт», —
И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевок,
Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже
И вдруг, застав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако, как свежо Очаков дан у Данта!
 Амбары, каланча, тачанки, облака...
 Всё это так, но он дорогой к коменданту,
 В отличие от нее, имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
 «Я — confidentка Шмидта? Я — его дневник?
 Я — крик его души из номеров Ткаченки,
 Вот для него цветы и связка старых книг?

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
 Не значась в их глазах ни в браке, ни в родстве?» —
 Так думала она, и ветер рвал косынку
 С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.

Но это всё затмил прием у генерала.
 Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
 Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
 И снег махоркой жег больные глотки луж.

5

Уездная глушь захолустья.
 Распев петухов по утрам,
 И холостящий устье
 Весенний флюс Днепра.
 Таким дрянным городишкой
 Очаков во плоти
 Встает, как смерть, притихши
 У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
 Сошедши без следа,
 Он стал землей в отместку
 И местом для суда.
 Две крепости, два погоста
 Да горсточка халуп,

Свиней и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
С пригретых солнцем крыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их — соли подмесь.
Вся отмель — точно в сельдях,

О, суши воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
«Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!»
И, вбок косясь на приезжих,
Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма,
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли, — и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина...
Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подьесаул.

Над Очаковым пронес
 Ветер тучу слез и хмари
 И свалился на базаре
 Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
 Дождик, первенец творенья,
 Горсть за горстью, к горсти горсть,
 Хлынул шумным увереньем
 В снег и грязь, в снег и грязь,
 На зиму остервенясь.

А немного погода,
 С треском расшатавши крючья,
 Шлепнулся и всею тучей
 Водяной бурдюк дождя.

Этот странный талисман,
 С неба сорванный истомой,
 Весь — туманного письма,
 Рухнул вниз не по-пустому.
 Каждым всхлипом он прилип
 К разрывным побегам лип
 Накладным листом пистона.
 Хлопнуть вплоть, пропороть,
 Выстрел, цвет, тепло и плоть.

Но зима не верит в близость,
 В даль и смерть верит снег.
 И седое небо, низясь,
 Сыплет пригоршнями известь.
 Это зимний катехизис
 Шепчут хлопья в полусне.

И, шипя, кружит крупа
 По небу и мертвой глине,
 Но мгновенный вздох теплыни
 Одевает черепа.

Пусть тоща, как щепя,
 Вязь цветочного шипя,

Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шалопая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

И, долбя и колукая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья
Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Всё живое беззаконье,
Вся душевная бурда
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собранье?
Казнь звали в те года
Переправу к Березани.
Современность просит дани:
Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7

Скамьи, шашки, выпускка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,

Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтение, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтение,
Чтение, чтение без конца и пауз.

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!
Утки — крикать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спяхтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.

Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса,
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,

Стал слышен частый стук
Полтораэта штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

Двум из осужденных, а всех их было четверо, —
 Думалось еще — из четырех двоим.
 Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
 Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
 Удаляясь к людям в спящий городок.
 Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
 Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
 Быть в тот миг могло примерно два часа.
 Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
 Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
 Люки были настезь, и точно у миног,
 Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
 Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
 «Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
 Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
 Заскрипели пегли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
 Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
 Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
 Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
 Бросились к решетке, колясь о сноп лучей
 И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
 Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!» —
 Породил содом. Прожектор побежал,
 Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
 И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

Март 1926 — март 1927

ВСТУПЛЕНИЕ

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Былавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотечаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно, всё, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.

Все как один, всяк за десятерых
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.

На рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцаньи плоски погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папилютки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчуждением обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1

Весь день я спал, и, рушась от загона,
На всем ходу гая в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.

Сегодня ж ночью, теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром паялит
Глаза в окно и рвется со стола.

Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег как нáзло рыж.
И любо ж, верно, крикать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!

Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едетя в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?

Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.

Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четырем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!

Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушину трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде, и ветру, и огню.

Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь суতোлку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.

Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.

И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.

Пространство спит, влюбленное
в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.

Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморочный разговор с собой.

В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.

«Ну и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.

Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика — дойду».

В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.

Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду,

Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит,

Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки
И плыл в ветвях, от дола отрешен.

Посеребрённых ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей.

И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.

Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

Был день, Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь, и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток — она сама.

И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней,
Тем ближе срок, и это дело дней.

Поселок дачный, срубленный в дубrove,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полужанесенный дом.

И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.

Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.

А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила
И жили люди, не снимая шуб.

Забытый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на рождестве.

В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседилось извне.
Решили новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.

Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.

Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.

Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими спрыснуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.

Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.

Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.

Не торговались — спяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.

Был снег волнист, окольный путь — извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.

«Не слышу. — Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок,
Другой и третий, — и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.

«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. — «Ну, как?» — А мы на парных.
«А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.

Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеваньё.
Был третий день их пребывания здесь.

Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка,

И обступила тьма. А ну, как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.

В ту ночь еще ребенок годовалый
За полную неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отщучусь?»

Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Всё порывалось за его предел.

Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,

Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.

Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат пересолив.

Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, — шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:

Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться об земь головой.

Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немы,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С Новым годом!»
И гранных дюжин громовой салют.

«О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнюю ночью утоплю.

Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворяю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.

Шепчу? — Нет, нет. — С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, — вишневки чернота.
Карениной, — так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибор, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.

И год не нов. Другой новой обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.

Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,

И всё стихает. Точно топот, рухнув
За кухню, попал в провал, в Мальстрем,
В века... — Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.

С утра назавтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен,
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.

По талой каше шлепают калошки.
У поля всё смещалось в голове.
И облака, как крашенные ложки,
Крутясь, плывут в вареной синеве.

На пятый день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогоднею попойкой
И оттого-то пляшет барометр.

И так как шутка не совсем понятна
И вокруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.

3

«Для бодрости ты б малость подхлестнул.
Похоже, жаркий будет день, разведрясь».
Чихает цинк, ручьи сочат весну,
Шуруя снег, бушует левый подрез.

Струится грязь, ручьи на все лады,
Хваля весну, разворковались в голос,
И, выдирая полость из воды,
Стучит, скача по камню, правый полоз.

При въезде в переулок он на миг
Припомнит утро въезда к генеральше,
Приятно будет, показав язык
Своей норе, проехать фертом дальше.

Но что за притча! Пред его дверьми
Слезает с санок дама с чемоданом.
И эта дама — «Стой же, черт возьми!
Наташа, ты?.. Негаданно, неожиданно?..

Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго?

Оставь, пустое, взволоку и сам.
Толкай смелей, она у нас заволгла.

Да, резонанс ужасный. Это в сад.
А хоть и спят? Ну что ж, давай потише.
Как не писать, писал дня три назад.
Признаться, и они не чаще пишут.

Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
Чего ты смотришь?» — «Боже, сколько пыли!
Разгром! Что где! На всех вещах вуаль.
Скажи, тут, верно, год полов не мыли?»

Когда он в сумерки открыл глаза,
Не сразу он узнал свою берлогу.
Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.

Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.

Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сенник,
Внизу на кухне громыкнули блоком.

Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.

Несдобровать забывшемуся сном
При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день — хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.

Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.

Но это перемирие прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.

Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час неоцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.

Вам дико всё. Призвание, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда б оно на нас не обижалось.

4

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головомойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.

Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки просыхали, как дерюга.
Клубясь бульварным рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.

И той же ночью с часа за второй,
Вооружась «Громокипящим кубком»,
Последний сон проспори́л брат с сестрой,
Теперь они носились по покупкам.

Хвосты у касс, расчеты и чай
Влияли мало на Наташин норев,
И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.

Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.

От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты Мерилиза.

«Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, дай и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты — молод, это плюс,
А твой отрыв от поколения — минус.

Ты вне исканий, к моему стыду.
В каком ты стане? Кстати, как неловко,
Что за отъездом я не попаду
С товарищами Паши на маевку.

Ты возразишь, что я неглубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка,
И только всех обманывает внешность?»

«Оставим спор, Наташа. Я неправ?
Ты праведница? Ну и на здоровье.
Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровой».

Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.

На Земляном Валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из Фета.
Что и земля, как клумба, и кругла, —
Поют судки вокзального буфета.

Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.

И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.

Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытие огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.

Потом перрон и град шагов и фраз,
И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?»
И у окна: «Итак, в последний раз.
Ступай. Мы больше ничего не выжмем».

И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Язу
И осыпает просеки золой
И пилит лес сипеньем вестингауза.

И дочищает вырубку сплеча,
И, разлетаясь всё неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначения.

С вокзала возвращаются с трудом,
Брезгливую улыбку пересилия.
О город, город, жалкий скопидом,
Что ты собрал на льне и керосине?

Что перенял ты от былых господ?
Большой ли капитал тобою нажит?
Бегущий к паровозу небосвод
Содержит всё, что сказано и скажут.

Ты каторгой купил себе уют
И путаешься в собственных расчетах,
А по предместьям это сознают
И в пригородах вечно ждут чего-то.

Догадки эти вовсе не кивок
В твой огород, ревнивый теоретик.
Предвестий политических тревог
Довольно мало в ожиданиях этих.

Но эти вещи в нравах слобожан,
Где кругозор свободнее гораздо,
И, городской рубеж перебежав,
Гуляет рощ зеленая зараза.

Природа ж — ненадежный элемент.
Ее вовек оседло не поселишь.
Она всем телом алчет перемен
И вся цветет из дружной жажды зрелищ.

Всё это постигаешь у застав,
Где с фонарями в выкаченном чреве
За зданья задевают поезда
И рельсами беременны деревья;

Где нет мотивов и перипетий,
Но, аппетитно выпятив цилиндры,
Паровичок на стрелке кипит
Туман лугов, как молоко с селитрой.

Всё это постигаешь у застав,
Где вещи рыщут в растворенном виде.
В таком флюиде встретил их состав
И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя.

Заря вела его на поводу
И, жаркой лайкой стягивая тело,
На деле подтверждала правоту
Его судьбы, сложенья и удела.

Он жмурился и чувствовал на лбу
Игру той самой замши и шагрени,
Которой небо кутало толпу
И сутолоку мостовой игреней.

Затянутый всё в тот же желтый жар
Горячей кожи, надушенной амброй,
Пылил и плыл заштатный тротуар,
Раздувши ставни, парные, как жабры.

Но по садам тягучий матерьял
Преображался, породнясь с листвою,

И одухотворялся и терял
Всё, что на гулкой мостовой усвоил.

Где средь травы, тайком, наедине,
Дорожку к дому огненно наохрив,
Вечерний сплав смертельно леденел,
Как будто солнце ставили на погреб.

И мрак бросался в головы колонн,
Но крупнолистый, жесткий и тверезый,
Пивным стеклом играл зеленый клен,
И ветер пену сбрасывал с березы.

5

Едва вагона выгнутая дверь
Захлопнулась за сестриной персоной,
Действительность, как выпавшийся зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок.

Она не выносила пустомель,
И только ей вернули старый навыв, —
Вздохнула вслух, как дышит карамель
В крахмальной тьме колониальных лавок.

Учуяв нюхом эту москатель,
Голодный город вышел из берлоги,
Мотнул хвостом, зевнул и раскатил
Тележный гул семи холмов отлогих.

Тоска убийств, насилий и бессудств
Ударила песком по рту фортуны
И сжала крик, теснившийся из уст
Красноречивой некогда вертуньи.

И так как ей ничто не шло в башку,
То не судьба, а первое пустое
Несчастье приготовилось к прыжку,
Запасшись склянкой с серной кислотой.

Вот тут с разбега он и налетел
На Сашку Бальца. Всей сквозной округой.
Всей тьмой. На полусон. На полутень,
На что-то вроде рока. Вроде друга.

Всей световой натугой — на портал,
Всей лайкою упругой — на деревья,
Где Бальц как перст перчаточный торчал.
А говорили, — болен и в Женеве.

И точно нáзло он его стерег
Намеренно под тем дверным навесом,
Куда Сережу ждали на урок
К отчаянному одному балбесу.

Но выяснилось — им в один подъезд,
Где наверху в придачу к прошлым тещам
У Бальца оказался новый тесть,
Одной из жен пресимпатичный отчим.

Там помещался новый Бальцев штаб.
Но у порога кончилась морока,
И, пятясь из приятелевых лап,
Сергей поклялся забежать с урока.

Смешная частность. Сашка был мастак
По части записного словоблудья.
Он ждал гостей и о своих гостях
Таинственно заметил: «Будут люди».

Услыша сей внушительный посул,
Сергей представил некоторой Меккой
Эффектный дом, где каждый венский стул
Готов к пришествию сверхчеловека.

Смеясь в душе, «Приступим, — возгласил,
Входя, Сережа. — Как делишки, Миша?»
И, сдерживаясь из последних сил,
Уселся в кресло у оконной ниши.

«Не странно ли, что всё еще висит,
И дуется, и сесть не может солнце?»

Обдумывая будущий визит,
Не вслушивался он в слова питомца.

Из окон открывался чудный вид,
Обитый темно-золотистой кожей.
Диван был тоже кожей обит.
«Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Он не любил семьи ученика.
Их здравый смысл был тяжелей увечья,
А путь прямой и проще тупика.
Читали «Кнут», выписывали «Вече».

Кобылкины старались корчить злюк,
Но даже голосов свирепый холод
Всегда сбивался на плаксивый звук,
Как если кто задёт или уколот.

Особенно заметно у самой
Страдальчества растравленная рана
Изобличалась музыкой прямой
Богатого гаремного сопрано.

Не меньшею загадкой был и он,
Невежда с правоведческим дипломом,
Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок.

В чаду мытарств угасшая душа,
Соединял он в духе дел тогдашних
Образованье с маской ингуша
И умудрялся рассуждать, как стражник.

Но в целом мире не было людей
Забитее при всей наружной спеси
И участи забытей и лютей,
Чем в этой цитадели мракобесья.

Урчали краны порчею аорт,
Ругалась, фартук подвернув, кухарка,
И весь в рассрочку созданный комфорт
Грозил сумой и кровью сердца харкал.

По вечерам висят часы
Анализом докучных тем касались,
И, как с цепей сорвавшиеся псы,
Клопы со стен на встречного бросались.

Урок кончался. Дом, как корифей,
Топтал деревьев ветхий муравейник
И кровли, к ночи ставшие кривей
И точно потерявшие равненье.

Сергей прощался. Что-то в нем росло,
Как у детей среди суесловья взрослых,
Как будто что-то плавно и без слов
Навстречу дому близилось на веслах.

Как будто это приближался вскрик,
С которым, позабыв о личной шкуре,
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.

В таких мечтах: «Ты видишь, — возгласил,
Входя, Сергей, — я не обманщик, Сашка», —
И, сдерживаясь из последних сил,
Присел к столу и пододвинул чашку.

И осмотрелся. Симпатичный тесть
Отсутствовал, но жил нельзя шикарней.
Картины, бронзу — всё хотелось съесть,
Всё как бы в рот просилось, как в пекарне.

И вдруг в мозгу мелькнуло: «И съедят.
Не только дом, но раньше или позже
И эту ночь, и тех, что тут сидят.
Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Но мысль осталась, завязав дуэт
С тоской, что гложет поедом поэтов,
И неизвестность, точно людоед,
Окинула глазами сцену эту.

И увидала: полукруглый стол,
Цветы и фрукты, и мужчин и женщин,
И обреченья общий ореол,
И девушку с прической à la Ченчи.

И абажур, что как бы клал запрет
Вовне, откуда робкий гимназистик
Смотрел, как прочь отставленный портрет,
На дружный круг живых характеристик.

На Сашку, на Сережу, — иногда
На старшего уверенного брата,
Который сдуру взял его сюда,
Но, вероятно, уведет обратно.

Их называли, но как-то невдомек.
Запало что-то вроде «мох» иль «лёмех».
Переспросить Сережа их не мог,
Затем что тон был взят, как в близких семьях.

Он наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста.
Во младшем крылся будущий герой.
А старший был мятежник, то есть деспот.

6

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленой,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала
По внешности — насмешница, как он.

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст.
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг,

И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок и свирепел и креп,
Отец ее, — узнал он, — был профессор,
Весной она по нем надела креп,

И множество чего, — и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.

Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшись впервые к ней, он шел
Рассеяней, чем за город, свободней,
Чем с выпуска, за школьный частокол.

Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы шурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.

В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупно пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.

Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.

Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И, всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.

Многолошадный, буйный, голоштаный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.

Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауэр
И каменщиков гнал за флигеля.

У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось — рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.

Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в пеньи птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», —
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал в тупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.

«Ну, как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быть.

Ну, здравствуйте. Я думала — подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел — двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры — и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматии,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их когда-нибудь сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложаются, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.

Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.

Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.

Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.

Тут целовались, наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мга и гам,
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.

Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.

И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.

Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью выростал рассвет.

И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.

Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,

И оба уносились в эмпирен,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.

Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Маринин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном клякс избороздила лист. —

«Окно в лесах, и — две карикатуры,
Чтобы избежать даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем от показных витрин.

Мы рано, может статья, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но суть не в том. У жизни есть любимцы,
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволье
Под кладбища, овраги и поля.

Р. С. Всё это требует проверки.
Не верю мыслям, — семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я, вероятно, их переменю».

Конец пришел нечаянней и раньше,
 Чем думалось. Что этот человек
 Никак не Дон Жуан и не обманщик,
 Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
 Чем от предполаганья наугад,
 Несчастия, участки, протоколы?
 Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
 Ей неизвестен. Оставалось жить,
 Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
 Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
 Она спешила утопить их груз
 В оледенелом вопле самолюбья
 И яростью перешибала грусть.

Три дня тоска, как призрак криволицый,
 Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
 Сергей Спекторский точно провалился.
 Пошел в читальню, да и был таков.



А дело в том, что из библиотеки
 На радостях он забежал к себе.
 День был на редкость, шел он для потехи,
 И что ж нашел он на дверной скобе?

Игра теней прохладной филигранью
 Качала пачку писем. Адресат
 Растерянно метнулся к телеграмме,
 Врученной десять дней тому назад.

Он вытер пот. По смыслу этих литер,
 Он — сирота, быть может. Он связал
 Текущее и этот вызов в Питер
 И вне себя помчался на вокзал.

Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.

Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смел, на месте ж — потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.

Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листе,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

Многолошадный, буйный, голоштаный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется — да, да! Она в окне!

Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг? .. О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
По лестнице без видимых перил.

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, всё ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ!

8

Прошли года. Прошли дожди событий,
Прошли, мрача Юпитера чело.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, —
Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцирь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижимых верениц
Москва с размаху кувырнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чаши
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых вростяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем что воздух родины заклят,
И половина края — люди кадра,
А погибать без торгу — их уклад.

Затем что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,

И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на аэростате,
Косое солнце смотрит натошак.

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пункте
И зерен в мере хлеба не считай!

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д'икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,

И всё б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре.

И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде непрямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событье исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь — старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене средь мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледенелых недр.

Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги
И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.

Как кратеры, дымилась кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.

Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

9

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.

То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Общественной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссариат.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мерилом римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант — казне.

В те дни у сыромятничьих окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И, раменье убрав огнем осенним
И пламенем — брусы оконных рам,
Закат бросался к полкам и храненьям
И как бы убывал по номерам.

В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,
И люди были тверды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

И лысы голоса. И близко-близко
Над ухом, а казалось — вдалеке,
Все спорили, как быть со штукой плиса,
И серебро ли ковш иль аплике.

Срезали пломбы на ушках шпагата,
И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату,
Кладовщика зовя издадека.

Отрыжкой отдуваясь от отмычек,
Под крышками вздувался старый хлам,
И давность потревоженных привычек
Морозом пробегала по телам.

Но даты на квитанциях стояли,
И лиц, из странствий не подавших весть,
От срока сдачи скарба отделяли
Год-два и редко-редко пять и шесть.

Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.

Дрожала кофт заржавленная саржа,
И гнулся лифов колкий коленкор.

Амбар, где шла разборка гардеробов,
Плыл наугад, куда глаза глядят.
Как волны в море, тропы и сугробы
Тянули к рвоте, притупляя взгляд.

Но было что-то в свойствах околотка,
Что обращалось к мысли, и хотя
Держало к ней, как высланная лодка,
Но гибло, до нее не доходя.

Недоставало, может быть, секунды,
Чтоб вытянуться и поймать буюк,
Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой,
Душа тонула в темноте таёг.

Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В глазах, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт,
Он увидал Мариин лабиринт.

«А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть,
Он снежным вихрем бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплоснут,
Был небосвод лиловый низколоб.

Был воздух тих, как в лодке китолова,
Затерянной в тисках плавучих гор.
Но если б хрустнуть веткою еловой,
Всё б сдвинулось и понеслось в опор.

Он думал: «Где она — сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн»,
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
Под опись. В фонд. Под опись. В фонд.
В подвал».

И монотонный голос, как гадалщик,
Всё что-то клал и что-то называл.

Настала ночь. Сверхштатные ликурги
Закрыли склад. Гаданья голос стих.
Поднялся вихрь. Серезины окурки
Пошли кружиться на манер шутих.

Ему какие-то совали снимки.
Событья дня не шли из головы.
Он что-то отвечал и слышал в дымке:
«Да вы взгляните только. Это вы?»

Нескромность? Обронили из альбома.
Опомнитесь: кому из нас на дню
Не строил рок подобного ж: любому
Подсунул не знакомых, так родню».

Мело, мело. Метель костры лизала,
Пигмеев сбив гигантски у огня.
Я жил тогда у Курского вокзала
И тут-то наконец его нагнал.

Я соблазнил его коробкой «Иры»
И затащил к себе, причем — курьез:
Он знал не хуже моего квартиру,
Где кто-то под его присмотром рос.

Он тут же мне назвал былых хозяев,
Которых я тогда же и забыл.
У нас был чад отчаянный. Оттаяв,
Всё морщилось, размокши до стропил.

При самом входе, порох зря потратив,
Он сразу облегчил свой патронташ
И рассказал про двух каких-то братьев,
Припутав к братьям наш шестой этаж.

То были дни как раз таких коллизий.
Один был учредиловец, другой —
Красногвардеец первых тех дивизий,
Что бились под Сарептой и Уфой.

Он был погублен чьею-то услугой.
Тут чей-то замешался произвол,
И кто-то вроде рока, вроде друга
Его под пулю чешскую подвел. . .

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певвица и смирившийся эсер.

Я знал, что эта женщина к партийцу.
Партиец приходился ей родней.
Узнав, что он не скоро возвратится,
Она уселась с книжкой в проходной.

Она читала, заслонив коптилку,
Ложась на нас наплывом круглых плеч.
Полпотолка срезала тень затылка.
Нам надо было залу пересечь.

Мы шли, как вдруг: «Спекторский,
мы знакомы» —
Высокомерно раздалось нам вслед,
И, не готовый ни к чему такому,
Я затесался третьим в tête-à-tête.¹

Бухтеева мой шеф по всей проформе,
О чем тогда я не мечтал ничуть.
Перескажу, что помню, попроворней,
Тем более, что понял только суть.

Я помню ночь, и помню друга в краске,
И помню плоски утлый фитилек.
Он изгибался, точно ход развязки
Его по глади масла ветром влек.

¹ Разговор с глазу на глаз (франц.). — *Ред.*

Мне бросилось в глаза, с какой фриволью.
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер
И в этом жесте выразилась вся.

Как явственной, чем полный вздох двурядки,
Вздохнул у локтя кожаный рукав,
А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки,
Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!»

Присутствие мое их не смутило.
Я заперся, но мой дверной засов
Лишь удесятерил слепую силу
Друг друга обгонявших голосов.

Был разговор о свинстве мнимых сфинксов,
О принципах и принцах, но весóm
Был только темный призыв материнства
В презреньи, в ласке, в жалости, во всем.

«Вы вспомнили рождественских застольцев?.. —
Исламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. — Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?»

Он отвечал... «Но чтоб не быть уродкой, —
Рвалось в ответ, — ведь надо ж чем-то быть?»
И вслед за тем: «Я родом — патриотка.
Каким другим оружием вас добить?..»

Уже мне начинало что-то сниться
(Я, видно, спал), как зазвенел звонок.
Я выбежал, дрожа, открыть партийцу
И бросился назад что было ног.

Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил.
И тут лишь вспомнил я о происшедшем.
Пока я спал, обоих след простыл.

В Т О Р О Е Р О Ж Д Е Н И Е

1930—1931

I

ВОЛНЫ

Здесь будет всё: пережитое,
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немислим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум, —
Одним концом — ночное Поти,
Другим — светающий Батум.

Умеющий, — так он всевидящ, —
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь:
Огромный восьмиверстный пляж.

Огромный пляж из голых галек —
На всё глядящий без пелен —
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь.
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быть, запомнишь наизусть.

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья, гул во рву;
Их тишь; стесненное, крутое
Волненье первых рандеву.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст за шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, — черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитие,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал, —
Он сам пленял, как описание,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных, — имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге,
И злясь, — как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впав в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла...
Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор.
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по́ дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едим натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганый заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы пойдем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздыхал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дроби
К беде родившихся ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу всё, что знаю я.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодела,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела,
Которому не век судья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслышанную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Октябрь, а солнце, что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы, —
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромных Кобулет.

И всё ж, то знак: зима при двéрях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пóйдем на берег
И ноги окунем в белок.

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят линию прибора,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

1931

II

БАЛЛАДА

Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду — табак, на тротуаре —
Толпа, в толпе — гуденье пчел.
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

«Пришел», — летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах матиол.
«Пришел», — летит от пары к паре,
«Пришел», — стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Удар, другой, пассаж, — и сразу
В шаров молочный ореол
Шэпена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним — угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,

Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Полет орла, как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет — сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Вам в дар баллада эта, Гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел всё, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных матиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной Подол.

1930

ВТОРАЯ БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где всё в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, — кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас раз пять подряд.)

Спи, былё. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

1930

ЛЕТО

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы

Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явление
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землю — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панев.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мэри арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в стрóку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьях трусов и трусих.

1930

III

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют, — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И вдруг, как в открывшемся в сказке Сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь, я.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

* * *

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших, и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, —
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его вширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на всё по-другому.

1931

* * *

Окно, юпитр и, как овраги эхом, —
Полны ковры всем игранным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполнение авторство процвести.

Окно не на две створки *alla breve*,¹
Но шире, — на три: в ритме трех вторых.
Окно, и двор, и белые деревья,
И снег, и ветки, — свечи пятерик.

Окно, и ночь, и пульсом бьющий иней
В ветвях, — в узлах височных жил. Окно,
И синий лес висячих нотных линий,
И двор. Здесь жил мой друг. Давно-давно

Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск, — был кругом войн и перемирий
И кругом свойств, занятий и знакомств.

И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.

И мерил я полуторною мерой
Судьбы и жизни нашей недомер,
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример.

1931

* * *

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

¹ Кратко (итал.), укороченный счет $2/2$ (муз). — *Ред.*

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

* * *

Всё снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы, — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за громом, за четверкой
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931

* * *

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах — тела
Утопленниц-кровель.

Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи — рекою.

И в них извозцы,
И дрожek разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

И капли в кустах,
И улица в тучах,
И щебеты птах,
И почки на сучьях.

И все они, все
Выходят со мною
Пустынным шоссе
На поле Ямское.

Где спят фонари
И даль, как чужая:
Ее снегири
Зарей оглушают.

Опять на гроши
Грунтами несмело
Творится в тиши
Великое дело.

1931

* * *

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников — не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выровнен по ватерпасу.

Но слякоть месит из лучей
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнет ручей,
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки — благодать!
Проталин черная лакрица...
Сторицей дай тебе воздать
И, как реке, вздохнуть и вскрыться.

Дай мне, превысив нивелир,
Благодарить тебя до сипу
И сверху окуни свой мир,
Как в зеркало, в мое спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь,
И желоба в слюне и пене,
И неба роговую синь,
И облаков пустые тени.

Слепое полдня желатин,
И желтые очки промоин,
И тонкие слюдинки льдин,
И кочки с черной бахромою.

1931

* * *

Любимая, — молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,

Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

* * *

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкаю статья,
И вся на рифму просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносится,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и — нравится.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в даях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931

IV

* * *

Кругом семящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

А в комнате пахнет, как ночью
Болотной фиалкой. Бока
Опущенной шторы морочат
Доверье ночного цветка.

В квартире прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В разлуке с тобой и писать бы,
Внося пополнения в бюджет.

Но грусть одиноких мелодий
Как участь бульварных семян,
Как спущенной шторы бесплодь,
Вводящей фиалку в обман.

Ты стала настолько мне жизнью,
Что всё, что не к делу, — долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.

И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней,
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.

1931

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,

И опять кольнут донныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но неожиданно по портъере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

* * *

Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твое присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обернут,

Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучевый ворот,

В котором, пропотев листвою
От взятых только что препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.

Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже ров и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

1931

* * *

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из веритья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом —
Соседней Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим, —
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколовродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,
И снов без смерти, и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, — опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей?

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соццветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар. ✓

1931

У

* * *

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролеса,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелкоколесье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,

И всё тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, — грозней,
Чем былые набеги ногайцев,
Стлались цепи китайских теней.

То был ряд усыпальниц, в завесе
Заметенных снегами путей
За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и всё естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

1931

Пока мы по Кавказу лазаем,
 И в задыхающей раме
 Кура ползет атакой газовой
 К Арагве, сдавленной горами,
 И в августовский свод из мрамора,
 Как обезглавленных гортани,
 Заносят яблоки адамовы
 Казненных замков очертанья.

Пока я голову заламываю,
 Следя, как шеи укреплений
 Плывут по синеве сиреневой
 И тонут в бездне поколений,
 Пока, сменяя рощи вязовые,
 Курчавится лесная мелочь,
 Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
 Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Обьятье в тысячу охватов,
 Чем обеспечен твой успех?
 Здоровый глаз за веко спрятав,
 Над чем смеешься ты, Казбек?
 Когда от высей сердце ёкает
 И гор колышутся кадила,
 Ты думаешь, моя далекая,
 Что чем-то мне не угодила.
 И там, у Альп в дали Германии,
 Где так же чокаются скалы,
 Но отклики еще туманнее,
 Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
 Катящую потоки рода,
 И мне кроить свою трудней,
 Чем резать ножницами воду.
 Не бойся снов, не мучься, брось.
 Люблю и думаю и знаю.
 Смотри: и рек не мыслит врозь
 Существованья ткань сквозная.

1931

VI

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

* * *

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.

Незванная, она внесла, во-первых,
Во всё, что случилось, вкус больших начал.
Я их не выбирал, и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.

И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год.

Две женщины, как отблеск ламп Светлана,
Горят и светят средь его тягот.

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То всё равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

1931

* * *

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы — радугой по хрусталою,
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О садины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей!

Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех —
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

1931

* * *

Еще не умолкнул упрек
И слезы звенели в укре,
С рассветом к тебе на порог
Нагрянуло новое горе.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Стояли, от слез охмелев
И астр тяжеля переливы,

Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.

Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов, и шаги,
И приторный привкус эфира.

Твой обморок мира не внес
В качанье венков в одноколке,
И пар обмороженных слез
Пронзил нашатырной иглой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскою плыл панихидой.

Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.

Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.

Покоилась люстр тишина,
И в зареве их бездыханном
Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.

Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

Томившийся в ней поделом,
Но пущенный из заточенья,
Он песнею несся в пролом
О нашем с тобой обрученьи.

Как сборы на общий венок,
Плетни у заставы чернели.
Короткий морозный денек
Вечерней звенел ригурнелю.

Воспользовавшись темнотою,
Нас кто-то догнал на моторе.
Дорога со всей прямоюю
Направилась на крематорий.

С заставы дул ветер, и снег,
Как на рубежах у Варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.

Озябнувшие москвичи
Шли полем, и вьюжная нежить
Уже выносила ключи
К затворам последних убежищ.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене —
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.

Ты дома подынешь пюпитр,
И, только коснешься до клавиш,
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдет незаметно.

А то, удивившись на миг,
Спохватишься ты на концерте,
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

1931

VII

* * *

Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе.
Захваченный примеркой ожерелья,
Он еле управляется к заре.

Как горы мятой ягоды под марлей,
Всплывает город из-под кисей.
По улицам шеренгой куцых карлиц
Бульвары тянут сумерки свои.

Вечерний мир всегда бутон кануна.
У этого ж — особенный почин.
Он расцветет когда-нибудь коммуной
В скрещеньи многих майских годовщин.

Он долго будет днем переустройства,
Предпраздничных уборок и затей,
Как были до него березы Троицы
И, как до них, огни панатеней.

Всё так же будут бить песок размякший
И на иллюминированный карниз
Подтаскивать кумач и тес. Всё так же
По сборным пунктам развозить актрис.

И будут бодро по трое матросы
Гулять по скверам, огибая дерн.
И к ночи месяц в улицы вотрется,
Как мертвый город и остывший горн.

Но с каждой годовщиной всё махровой
Тугой задаток розы будет цвель,
Всё явственнее прибывать здорове,
И всё заметней искренность и честь.

Всё встрепаннее, всё многолепестней
Ложиться будут первого числа

Живые нравы, навыки и песни
В луга и пашни и на промысла.

Пока, как запах мокрых центифолий,
Не вывется, не выразится вслух,
Не сможет не сказаться поневоле
Созревших лет перебродивший дух.

1931

* * *

Стодетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

1931

Весеннею порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве — конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды — желто-лимонны,
И проводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье —
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадью на броне
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал — и заводи
Машину половодья.

Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.

Струитесь, черные ручьи.
Родимые, струитесь.
Примите в заводи свои
Околицы строительств.

Их марева — как облака
Зарей неторопливой.
Как август, жаркие века
Стопили их наплывы.

В краях заката стоял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весной.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желто-лимонной —
Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать не осмотрясь
Ее живую завязь.
А в жизни красоты как раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Венец творенья не потряс
Участвующих и погряз
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

1931

ХУДОЖНИК

1

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для прятков прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

2

Как-то в сумерки Тифлиса
Я зимой занес стопу.
Пресловутую теплицу
Лихорадило в гриппу.

Рысью разбегались листья.
По пятам, как сенбернар,
Прыгал ветер в желтом плисе
Оголившихся чинар.

Постепенно всё грубело.
Север, черный лежебок,
Вешал ветку изабеллы
Перед входом в погребок.

Быстро таял день короткий,
Кротко шел в щепотку снег.
От его сырой щекотки
Разбирал не к месту смех.

Я люблю их, грешным делом,
Стаи хлопьев, холод губ,
Небо в черном, землю в белом,
Шапки, шубы, дым из труб.

Я люблю перед бураном
Присмирившие дворы,
Будто прятки по чуланам
Нашалившей детворы,

И летящих туч обрывки,
И снежинок канитель,
И щипцами для завивки
Их крутящую метель.

Но впервые здесь на юге
Средь порхания пурги
Я увидел в кольцах вьюги
Угли вольтовой дуги.

Ах, с какой тоской звериной,
Трепеща, как стеарин,
Озаряли мандарины
Красным воском лед витрин!

Как на родине Миньоны
С гетевским: «Dahin!», «Dahin!»,¹
Полыхали лампионы
Субтропических долин.

И тогда с коробкой шляпной,
Как модистка синема,
Настигала нас внезапно
Настоящая зима.

Нас отбрасывала в детство
Белокурая копна
В черном котике кокетства
И почти из полусна.

3

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха — слюда.

¹ «Туда!», «Туда!» (нем.). — Ред.

Голос, властный, как полюдые,
Плавит всё наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что́ ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадалый,
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыханье в спальной
Паром их благословит.

4

Он встает. Века, Гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провел за ним в палату
Острроверхих шапок ряд?

И еще века. Другие.
Те, что после будут. Те,
В уши чьи, пока тугие,
Шепчет он в своей мечте.

— Жизнь моя средь вас — не очерк.
Этого хоть захлебнись.
Время пощадит мой почерк
От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт?
Пусть он крепость, пусть и храм,

Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дверям.

Не гусяр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что еще во тьме лежат.

Как гроза, в пути объемля
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.

Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.

Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.

1936

БЕЗВРЕМЕННО УМЕРШЕМУ

Немые индивиды,
И небо, как в степи.
Не кайся, не завидуй, —
Покойся с миром, спи.

Как прусской пушке Берте
Не по зубам Париж,

Ты не узнаешь смерти,
Хоть через час сгоришь.

Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся,
В громах других отчизн.

Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Простой уставный шрифт.

Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданием,
Душой и телом в ней.

Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Так вот — в самоубийстве ль
Спасенье и исход?

Деревьев первый иней
Убористым сучьем
Вчерне твоей кончине
Достойно посвящен.

Кривые ветки ольшин —
Как реквием в стихах.
И это всё; и больше
Не скажешь впопыхах.

Теперь темнеет рано,
Но конный небосвод

С пяти несет охрану
Окраин, рощ и вод.

Из комнаты с венками
Вечерний виден двор
И выезд звезд верхами
В сторожевой дозор.

Прощай. Нас всех рассудит
Невинность новичка.
Покойся. Спи. Да будет
Земля тебе легка.

1936

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

1

Не чувствую красот
В Крыму и на Ривьере,
Люблю речной осот,
Чертополоху верю.

Бесславить бедный Юг
Считает пошлость долгом,
Он ей, как роем мух,
Засижен и оболган.

А между тем и тут
Сырую прелесть мира
Не вынесли на суд
Для нашего блезира.

2

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает, —
Так по ночам табак
В грядках благоухает.

С земли гелиотроп
Передаёт свой запах
Рассолу флотских роб,
Развешанных на трапах.

В совхозе садовод
Ворочается чаще,
Глаза на небосвод
Из шалаша тараща.

Ночь в звездах, стих норд-ост,
И жерди палисадин
Моргают сквозь нарост
Зрачками виноградин.

Левкой и Млечный Путь
Одною лейкой полит,
И близостью чуть-чуть
Ему глаза мозолит.

3

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством — с бедняком,
Всей кровью — в народе.

Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса
С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся.

Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну,
Что небу дела нет —
Была ль любовь взаимна.

Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух, нескончаем.

Он — чаши глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.

Ты без него ничто.
Он, как свое изделие,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

4

Дымились, встав от сна,
Пространства за Навтлугом,
Познания новизна
Была к моим услугам.

Откинув лучший план,
Я ехал с волокитой,
Дорога на Беслан
Была грозой размыта.

Откос пути размяк,
И вспухшая Арагва
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся дратвой.

Я видел поутру
С моста за старой мытней
Взбешенную Куру
С машиной стенобитной.

5

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!

Ни разу властью схем
Я близких не обидел,

В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
Оружья, кож и сёдел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших стрóf,
Но полюбив источник,
Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

6

Я видел, чем Тифлис
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.

По склонам цвел анис,
И, высясь пирамидой,
Смотрели сверху вниз
Сады горы Давида.

Я видел блеск светца
Меж кадок с олеандром,
И видел ночь: чтеца
За старым фолиантом.

Я помню грязный двор.
Внизу был винный погреб,
А из чердачных створ
Виднелся гор апокриф.

Собьются тучи в ком —
Глазами не осилишь, —
А через них гуськом
Бредет толпа страшилищ.

В колодках облаков,
Протягивая шляпы,
Обозы ледников
Тащились по этапу.

Однако иногда
Пред комнатами дома
Кавказская гряда
Вставала по-иному.

На окна и балкон,
Где жарились оладьи,
Смотрел весь южный склон
В серебряном окладе.

Перила галерей
Прохватывало как бы
Морозом алтарей,
Пылавших за Арагвой.

Там реял дух земли,
Остановивший время,
Которым мы, вдали,
Так грезили в богеме.

Объятыя протянув
Из вьюги многогодней.
Стучался в вечность туф
Руками преисподней.

Меня б не тронул рай
 На вольном ветерочке.
 Иным мне дорог край
 Родившихся в сорочке.

Живут и у озер
 Слепые и глухие,
 У этих — фантазер
 Стал пятою стихией.

Убогие арбы
 И хижины без прясел
 Он меткостью стрельбы
 И шуткою украсил.

Когда во весь свой рост
 Встает хребта громада,
 Его застольный тост —
 Венец ее наряда.

Чернее вечера,
 Заливистее ливни,
 И песни овчара
 С ночами заунывной.

В горах, средь табуна,
 Холодной ночью лунной
 Встречаешь чабана.
 Он — как дольмен валунный.

Он — повесть ближних сел.
 Поди, что хочешь, вызнай.
 Он кнут ременный сплел
 Из лиц, имен и жизней.

Он знает: нет того,
Что б в единеньи силы
Народа торжество
В пути остановило.

10

Немолчный плеск солей.
Скалистое ущелье.
Стволы густых елей.
Садовый стол под елью.

На свежем шашлыке
Дыханье водопада,
Он тут невдалеке
На оглушенье саду.

На хлебе и жарком
Угар его обвала,
Как пламя кувырком
Упавшего шандала.

От говора ключей,
Сочащихся из скважин,
Тускнеет блеск свечей, —
Так этот воздух влажен.

Они висят во мгле
Сученой ниткой книзу,
Их шум прибит к скале,
Как канделябр к карнизу.

11

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи:

Как пылкий дифирамб,
Всё затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тишьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью — на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Всё явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепла,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.

12

На Грузии не счесть
Одеж и оболочек.
На свете розы есть.
Я лепесткам не счетчик.

О роза, с синевой
Из радуг и алмазин,
Тягучий роспуск твой,
Как сна течение, связан.

На трубочке чуть свет
Следы ночной примерки.
Ты ярче всех ракет
В садовом фейерверке.

Чуть зной коснется губ,
Ты вся уже в эфире,
Зачатья пышный клуб,
Как пава, расфуфыря.

Но лето на кону,
И ты, не медля часу,
Роняешь всю копну
Обмякшего атласа.

13

Дивясь, как высь жутка,
А Терек дик и мутен,
За пазуху цветка
И я вползал, как трутень.

Лето 1936

ПЕРЕДЕЛКИНО

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

У нас весною до зари
Костры на огороде, —
Языческие алтари
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану — где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.

А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

1941

СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся — и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева

Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

1941

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера,

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.

А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.

Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

1941

ЗАВИМКИ

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима — и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводья.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решетке
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

1944

ИИЕЙ

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину заняньчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомарой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаша видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

1941



ГОРОД

Зима, на кухне пенье петьки,
Метели, вымерзшая клеть
Нам могут хуже горькой редьки
В конце концов осточертеть.

Из чаши к дому нет прохода,
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времен.

Со скользких лестниц лед не сколот,
Колодец кольцами свело.
Каким магнитом в этот холод
Нас тянет в город и тепло!

Меж тем как, не преувелича,
Зимой в деревне нет житья,
Исполнен город безразличья
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всей тьмой перебивавших душ.

Во всяком случае поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем
В ночном горящем далеке.

Я тоже чтил его подростком.
Его надменность льстила мне.
Он жизнь веков считал наброском,
Лежавшим до него вчерне.

Он звезды переобезьянил
Вечерней выставкою благ
И даже место неба занял
В моих ребяческих мечтах.

1941

ВАЛЬС С ЧЕРТОВЩИНОЙ

Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили, —
Масок и ряженных движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей.
Финики; книги; игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.

Всё разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.

Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занестишь.
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настезь.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме

Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.

1944

ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю ее в первые дни —
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни,
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите ее, осчастливьте —
И не смигнет. Но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звезды и флаги,
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни.

Яблоне — яблоки, елочке — шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это — отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.
Этой нисколько не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:

В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.

Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!

1941

НА РАНИХ ПОВЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною тьмю
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941

ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда?
Бестолочь, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрине,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

1941

ПРИСЯГА

Толпой облеплены ограды,
В ушах печатный шаг с утра,
Трещат пропеллеры парада,
Орут упорно рупора.

Три дня проходят как в угаре,
В гостях, в театре, у витрин,
На выставке, на тротуаре,
Три дня сливаются в один.

Всё умолкает на четвертый.
Никто не открывает рта.
В окрестностях аэропорта
Усталость, отдых, глухота.

Наутро отпускным курсантом
Полкомнаты заслонено.
В рубашке с первомайским бантом
Он свешивается в окно.

Всё существо его во власти
Надвинувшейся новизны,
Коротким сном огня и счастья
Все чувства преобразены.

С души дремавшей снят наглазник.
Он за ночь вырос раза в два.
К его годам прибавлен праздник.
Он отстоит свои права.

На дне дворового колодца
Оттаивает снега пласт.
Сейчас он в комнату вернется
К той, за кого он жизнь отдаст.

Он смотрит вниз на эти комья.
Светает. Тушат фонари.
Всё ежится, как он, в истоме,
Просвечивая изнутри.

1941

ДРОЗДЫ

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайный, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор.
Лиловый лес на заднем плане,
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий.
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделывают глоткой,
Луженной лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок,
Подглядыванье из-за штор,
Шушуканье в углах светелок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

1941

СТИХИ О ВОЙНЕ

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Всё переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

1941

БОБЫЛЬ

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.

И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждет вестей о победе.

А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направлении к Смоленску.

Там в вечерней красе.
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.

Он еще не старик
И укор молодежи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

1941

ЗАСТАВА

Садясь, как куры на насест,
Зарей заглядывают тени
Под вечереющий подъезд,
На кухню, в коридор и сени.

Приезжий видит у крыльца
Велосипед и две винтовки
И поправляет деревца
В пучке воздушной маскировки.

Он знает: этот мирный вид —
В обман вводящий пережиток.
Его попутчиц ослепит
Огонь восьми ночных зениток.

Деревья окружают блиндаж.
Войдут две женщины, робея,
И спросят, наш или не наш,
Ловя ворчанье из траншеи.

Украдкой, ежась, как в мороз,
Вернутся горожанки к дому
И позабудут бомбовоз
При зареве с аэродрома.

Они увидят, как патруль,
Меж тем как пламя кровель светит,
Крестом трассирующих пуль
Ночную нечисть в небе метит.

И вдруг взорвется небосвод,
И, догорая над поселком,
Чадающей плашкой упадет
Налетчик, сшибленный осколком.

1941

СМЕЛОСТЬ

Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти пережат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колени
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой —
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела —
За ружейные стволы.

И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заморожен.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.

Вам казалось — всё пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

1941

СТАРЫЙ ПАРК

Мальчик маленький в кроватке,
Бури озверелый рев.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерев.

Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.

Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилося
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновенную войной, —
Под немолчный ропот леса,
Лежа, думает больной.

Там он жизни небывалой.
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

1941

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обитатели севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимую книгою
Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

СМЕРТЬ САПЕРА

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она —
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаше
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к Сарапулю, —
И вновь и вновь терял сознание.

Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, —
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стопами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерю,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесижи.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сражение хлынуло в пробойну
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.

Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не сэкономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Мы настигали неприятеля.
Он отходил. И в те же числа,
Что мы бегущих колошматили,
Шли ливни и земля раскисла.

Когда неожиданно в коноплянике
Показывались мы ватагой,
Их танки скатывались в панике
На дно размокшего оврага.

Везде встречали нас известия,
Как, всё растапывая в мире,
Командовали эти бестии,
Насилуя и дебоширя.

От боли каждый, как ужаленный,
За ними устремлялся в гнев
Через горящие развалины
И падающие деревья.

Деревья падали, и в хворосте
Лесное пламя бесновалось.
От этой сумасшедшей скорости
Всё в памяти перемешалось.

Своих грехов им прятать не во что.
И мы всегда припоминали
Подобранную в поле девочку,
Которой тешились каналы.

За след руки на мертвом личике
С кольцом на пальце безымянном
Должны нам заплатить обидчики
Сторицею и чистоганом.

В неистовстве как бы молитвенном
От трупа бедного ребенка
Летели мы по рвам и рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками,
И сами, грозные, как туча,
Мы с чертовней и прибаутками
Давили гнезда их гадючьи.

1944

РАЗВЕДЧИКИ

Синело небо. Было тихо.
Трещали на лугу кузнечики.
Нагнувшись, низкою гречихой
К деревне двигались разведчики.

Их было трое, откровенно
Отчаянных до молодечества,
Избавленных от пуль и плена
Молитвами в глуби отечества.

Деревня вражеским вертепом,
Царила надо всей равниною.
Луга желтели курослепом,
Ромашками и пастью львиною.

Вдали был сад, деревьев купы,
Толпились немцы белобрысые,
И под окном стояли группой
Вкруг стойки с канцелярской крысою.

Всмотрясь и головы попрятав,
Разведчики, недолго думая,
Пошли садить из автоматов,
Уверенные и угрюмые.

Деревню пересуматошить
Трудов не стоило особенных.
Взвилась подстреленная лошадь,
Мелькнули мертвые в колдобинах.

И как взлетают арсеналы
По мановенью рук подрывника,
Огню разведки отвечала
Вся огневая мощь противника.

Огонь дал пищу для засечек
На наших пунктах за равниною.
За этой пищею разведчик
И полз сюда, в гнездо осиное.

.

Давно шел бой. Он был так долог,
Что пропадало чувство времени.
Разрывы мин из шестистволок
Забрасывали небо теменью.

Наверно, вечер. Скоро ужин.
В окопах дома щи с бараниной.
А их короткий век отслужен:
Они контужены и ранены.

.

Валили наземь басурмане,
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.

Фуражки, морды, папиросы
И роем мухи, как к покойнику.
Вдруг первый вызванный к допросу
Шагнул к ближайшему разбойнику.

Он дал ногой в подвздошь вору
И, выхвативши автомат его,
Очистил залпами контору
От этого жулья проклятого.

Как вдруг его сразила пуля.
Их снова окружили кучею.
Два остальных рукой махнули.
Теперь им гибель неминучая.

Вверху задвигались стропила,
Как бы в ответ их маловерию,
Над домом крышу расщепило
Снарядом нашей артиллерии.

Дом загорелся. В суматохе
Метнулись к выходу два пленника,
И вот они в чертополохе
Бегут задами по гуменнику.

По ним стреляют из-за клетки.
Момент — и не было товарища.
И в поле выбегает третий
И трет глаза рукою шарящей.

Всё день еще, и даль объята
Пожаром солнца сумасшедшего.
Но он дивится не закату,
Закату удивляться нечего.

Садится солнце в курслепе,
И вот что, вот что не безделица:

В деревню входят наши цепи,
И пыль от перебежек стелется.

Без памяти, забыв раненья,
Руками на бегу работая,
Бежит он на соединенье
С победоносною пехотою.

1944

НЕОГЛЯДНОСТЬ

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся — исполать!
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При небывалой новизне.

И на одноименной грани
Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле
И в медальоне — Ушаков.

Вся жизнь их — подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Они живут свежо и пылко,
Распорядительны без слов,
И чувствуют родную жилку
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене
Они из дымовых завес
Стрелой бросаются в сраженье
Противнику наперерез.

Бегут в расстройстве стаи турок.
За ночью следует рассвет.
На рейде тлеет, как окурок,
Турецкий тонущий корвет.

И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев
Уже не ведая преград.

1944

В НИЗОВЬЯХ

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.
В этих низовьях ночи — восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.
Птица в болотах, по рекам — налим,
Уймища раков.
В том направлении берегом — Крым,
В этом — Очаков.
За Николаевом книзу — лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад — зыбь и туман.

Это к Одессе.
Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?
Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня — по плугу,
Море — по Бугу, по северу — юг,
Все — друг по другу!
Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Дали предчувствуют. В этом году —
Слово за флотом.

1944

ОЖИВШАЯ ФРЕСКА

Как прежде, падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проведывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?

Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней,
И от копья архистратига ли
По темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облакался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатю.

А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пуши,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

1944

ПОБЕДИТЕЛЬ

Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Всё воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.

И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдалении,
В восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.

1944

ВЕСНА

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги

Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Всё дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвeсть столетье.

1944

**ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ ИЗ РОМАНА»**

1946—1953

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.

Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.

Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулк худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!

Настежь всё — конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Ты — мила, у тебя есть поклонники.
Этой белой ночью мы оба,
Прямостясь на твоём подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже!

Мы охвачены тою же самою
Оробелюю верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамую
Петербург за Невую бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,
Этой ночью весеннею белой
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое шелканье катится.
Голос маленькой птички лядашей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чаши.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тёсом,
Ветви яблонь и вишневые
Одеваются цветом белёсым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, выдавшей так много.

ВЕСЕННЯЯ РАСПУТИЦА

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,
Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.

Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?

Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.

Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.

Те же люди, и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.

Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинаят чердаки.

Вот одна походною усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.

Я опять готовлю отговорки,
И опять всё безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.



Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной — великий шаг,
Сводить с ума — геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой.
Кверху собраны волосы.
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

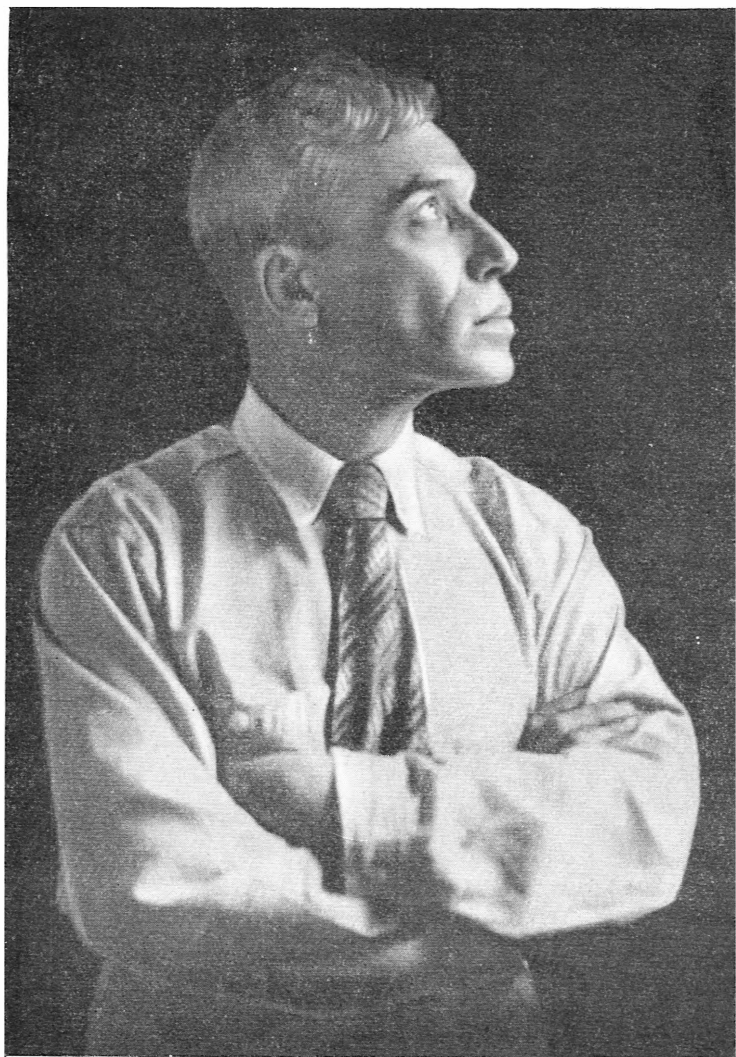
Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие
Неотцветшие липы.

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все деревья
Со всю далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.

ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.



Я ошибся. Кусты этих чаш
Не плющом перебиты, а хмелем.
Ну, так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелим.

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.

Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Всё сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда всё пред тобой сожжено
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.

СВАДЬБА

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.

В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен
Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно всё в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассемя в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

СКАЗКА

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину,
И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попить к ручью.

У ручья пещера.
Пред пещерой — брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.

И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.

И тогда оврагом,
Вздвогнув, напрямик
Тронул конный шагом
На призывный крик.

И увидел конный,
И приник к копыю,
Голову дракона,
Хвост и чешую.

Пламенем из зева
Рассеивал он свет,
В три кольца вокруг девы
Обмотав хребет.

Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У ее плеча.

Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.

Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.

Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.

Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копьё для боя
Взял наперевес.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона —
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,
Синева нежна.

Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То, в избытке счастья,
Слезы в три ручья,
То душа во власти
Сна и забвения.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Сияются очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

РАЗЛУКА

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был — как побег.
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Всё мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любовью,
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волнение после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мятарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Всё выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

СВИДАНИЕ

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги, —
За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волнением
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.

И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.

Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик сложен
Из одного куска.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.

И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.

И оттого двойтся
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

РАССВЕТ

Ты значил всё в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.

Я всё готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки

С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и заката
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори
И тянут эту канитель.

И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.

Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городской гранью
Земле не тосковать одной.

Для этого весной ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера — прощанья,
Пирушки наши — завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

1956—1959

Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.

*Marcel Proust*¹

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

¹ Книга — это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена. *Марсель Пруст* (франц.). — *Ред.*

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, роц, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

ЕВА

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волнение сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятий,
Сама — смятение и испуг
И сердца мужеского сжатые.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожей абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно; на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права.
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

ВЕСНА В ЛЕСУ

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.

С утра амуруется петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.

Хотя и парит и печет,
Еще недели целые
Дороги сковывает лед
Корою почернелюю.

В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом всё завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.

И небо в тучах как в пуху
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.

ИЮЛЬ

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате кра́дется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегаёт в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник отпускиник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в оде́же
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

ПО ГРИБЫ

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.

С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.

По щиколку в росе
Плугаем врассыпную.

А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Через дебри темноты
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень,
На пень садится птица.
Нам вехой — наша тень,
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре
Отмерено так куцо:
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.

Уходим. За спиной —
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

ТИШИНА

Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.

В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине

Не солнцем заворожена,
А по совсем другой причине.

Действительно, недалеко
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.

Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя обглаживает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.

Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожкой,
Глазеют, обступив кустарник.

Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.

Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.

СТОГА

Снуют пунцовые стрекозы,
Летят шмели во все концы,
Колхозницы смеются с возу,
Проходят с косами косцы.

Пока хорошая погода,
Гребут и ворошат корма
И складывают до захода
В стога, величиной с дома.

Стог принимает на закате
Вид постоянного двора,
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже,
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий,
Зарывшись, переночевал.

Чем свет телега за телегой
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночега
С трухой и сеном в волосах.

А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога, как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ

Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде — мрак и холод парка,
И дом невиданной красы.

Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллея,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды.
Внизу — лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекают напрямик.

Под липами, как в подземельи,
Ни светлой точки на песке,

И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах
Вдыхают, кто бы ни прошел,
Непостижимый этот запах,
Доступный пониманью пчел.

Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет,
Предмет и содержание книги,
А парк и клумбы — переплет.

На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

ХЛЕБ

Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,
И если ты сам не калека,
То должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность — проклятье
И счастья без подвига нет.

Что ждет алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Могучее царство зверей.

Что первым таким откровеньем
Остался в сепленьи судеб

Прапращуром в дар поколениям
Взращенный столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотье,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь круговращенья земного,
Рождений, скорбей и кончин.

ОСЕННИЙ ЛЕС

Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.

И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.

В нем топи, кочки и осины,
И мхи и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селенье петухи.

Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.

Он отзовется словно эхо,
И вот, за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.

По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля и даль и синь небес.

ЗАМОРОЗКИ

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Прохожий узнается позже,
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей,
И воздух лжив, как слой румян.

Идешь по инею дорожки,
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки
И стынуть больше невтерпеж.

НОЧНОЙ ВЕТЕР

Стихли песни и пьяный галдеж.
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.

Только ветер бредет наугад
Всё по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.

Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними — заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов
На дороге деревья толпятся.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах,

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,

И закат на их коре
Оставляет след янтарный,

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный,

Где звучит в конце аллеи
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

НЕНАСТЬЕ

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь
В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно всё стыдом покрыто,
Точно в осени — позор.

Точно срам и поруганье
В стаях листьев и ворон,
И дожде и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

ТРАВА И КАМНИ

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей — в каждой каменной трещине,
Травой — из-под каждой стены.

И те обещанья подхвачены
Природой, трудами их рук,
Искусствами, всякою всячиной,
Развитьем ремесл и наук.

Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине,
Травой из-под каждой стены.

Следами усердья и праздности,
Беседою, бьющей ключом,
Речами про разные разности,
Пустой болтовней ни о чем.

Пшеницей в полях выше сажени,
Сходящейся над головой,
Землей — в каждой каменной скважине,
Травой — в половине кривой.

Душистой густой повиликою,
Столетиями, вверх по кусту,
Обвиншей былое великое
И будущего красоту.

Сиренью, двойными оттенками
Лиловых и белых кистей,
Пестреющей между простенками
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,
Стихии в соседстве с людьми,
Земля — в каждом каменном выеме,
Трава — перед всеми дверьми.

Где с гордою лирой Мицкевича
Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей
Из девичьих и базилик.

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.

Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела,

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

ВЕТЕР

(ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА О БЛОКЕ)

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, —
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спустился с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

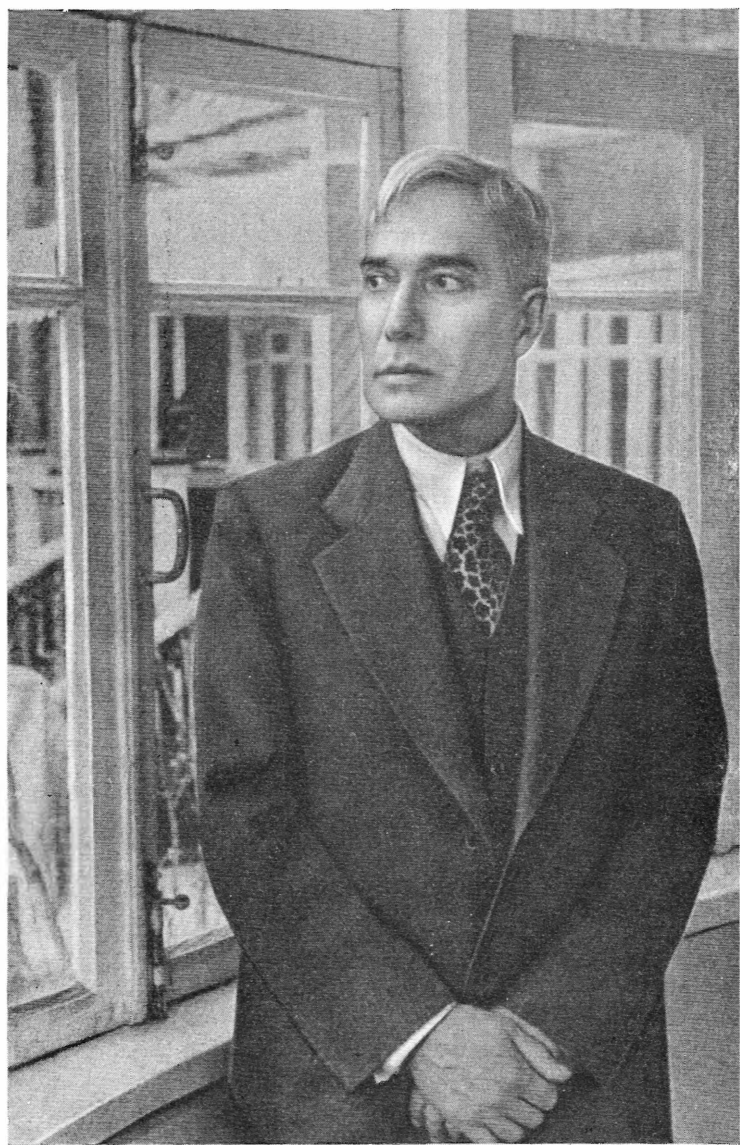
Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька-фалетер¹
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

¹ Форейтор в старом народном произношении.



Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,

И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнию и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

ДОРОГА

То насыпью, то глубию лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощные извивы,
Не слякота и не пыля.

Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.

Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни в пору
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантазмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома —
Всё пережить и всё пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимолетного пути.

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки толкнули в машину,
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

МУЗЫКА

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы,
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!»
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снаружи вьюга мечется
И всё заносит в лоск.
Засыпана газетчица
И заметен киоск.

На нашей долгой бытности
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности
И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный, —
Под белой бахромой
Как часто вас с окраины
Он разводил домой!

Всё в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, —
На ощупь, как пропойца,
Проходит тень во двор.

Движения поспешные:
Наверное, опять
Кому-то что-то грешное
Приходится скрывать,

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет, —
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься — и святки.
Только промежутки краткий,
Смотришь, там и новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растения,
Перекрестка поворот.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Полями наискось к закату
Уходят девушек следы.
Они их валенками вмяты
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке.
Луч солнца, как лимонный морс,

Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей
Яйца в разбитой скорлупе,
И синей линиею лыжи
Его срезают на тропе.

Луна скользит блином в сметане,
Всё время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани,
Но не дается колобок.

ПОСЛЕ ВЬЮГИ

После угомонившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К голосам детворы за рекой.

Я, наверно, неправ, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любит лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Всё в снегу: двор и каждая щепка,
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес, и рельсы, и насыпь, и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги,
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

ВАКХАНАЛИЯ

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,

Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов, — симптомах
Вековых перемен, —
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

«Зимы», «зисы» и «татры́»,
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.

Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.

За дверьми еще драка,
А уж среди темноты
Вырастают из мрака
Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.

Всё в ней жизнь, всё свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.

Стрекозою такую
Родила ее мать
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.

И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмостки,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,

Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

И опять мы в метели,
А она всё метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.

Где-то пир. Где-то пьянка.
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку
Свален ворох одеж.

Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры,

И хрустеные салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины и бюсты,
И сережки в ушах.

И смертельной картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он среди женщин находчив,
Среди мужчин — нелюдим.

В третий раз разведенец
И дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товаров
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.

И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время —
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.

И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившего час назад.
Состав земли не знает грязи.
Всё очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

ЗА ПОВОРОТОМ

Насторожившись, начеку
У входа в чашу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Под нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи,
В лесном овраге, за углом —
Ключи и кручи.

Нагромождением пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

ВСЁ СБЫЛОСЬ

Дороги превратились в кашу,
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Всё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.

ПАХОТА

Что случилось с местностью всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни
Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели.

И в те же дни единым духом
Деревья по краям борозд
Зазеленели первым пухом
И выпрямились во весь рост.

И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светло-зеленых
И светло-серых пашен цвет.

ПОЕЗДКА

На всех парах несется поезд,
Колеса вертит паровоз.
И лес кругом смолист и хвоист,
И что-то впереди еще есть,
И склон березами порос.

И путь бежит, столбы простерши,
И треплет кудри контролерши,
И воздух делается горше
От гари, легкой на откос.

Беснуются цилиндр и поршень,
Мелькают гайки шатуна,
И тенью проплывает коршун
Вдоль рельсового полотна.

Машина испускает вздохи
В дыму, как в шапке набекрень,
А лес, как при царе Горохе,
Как в предыдущие эпохи,
Не замечая суматохи,
Стоит и дремлет по сей день.

И где-то, где-то города
Вдали маячат, как бывало,
Куда по вечерам устало
Подвозят к старому вокзалу
Новоприбывших поезда.

Туда толпою пассажиры
Текут с вокзального двора,
Путейцы, сторожа, кассиры,
Проводники, кондуктора.

Вот он со скрытностью сугубой
Ушел за улицы изгиб,
Вздымая каменные кубы
Лежащих друг на друге глыб,
Афиши, ниши, крыши, трубы,
Гостиницы, театры, клубы,
Бульвары, скверы, купы лип,
Дворы, ворота, номера,
Подъезды, лестницы, квартиры,
Где всех страстей идет игра
Во имя переделки мира.

ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола

Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Рядом к девочкам кучи знакомых
Заходили и толпы подруг,
И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.

Или взрослые женщины в гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.

Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить словно бич,
Чтоб впоследствии страсть, как науку,
Обожанье, как подвиг, постичь.

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо, —
Перед ними я всеми в долгу.

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.

Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Всё еще кажется дерево
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменной,
Дрожь пробегает по свечкам,
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют,
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег, образиною пухлой,
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет
И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день
И не кончается объятье.

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ
В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ**

* * *

Я в мысль глухую о себе
Ложусь, как в гипсовую маску.
И это — смерть: застыть в судьбе,
В судьбе — формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен
Я этой думою о жизни.
Мысль о себе — как капюшон,
Чернеет на весне капризной.

<1913>

* * *

Сумерки... словно оруженосцы роз,
На которых — их копыта и шарфы.
Или сумерки — их менестрель, что врос
С плечами в печаль свою — в арфу.

Сумерки — оруженосцы роз —
Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос
За рыцарскою альмавивой.

Двух иноходцев сменный черед,
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет
Ночь в свои тусклые ткани.

Тот и другой. Топчут полынь
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь
Сердцебиение тел их.

<1913>

ЭЛЕГИЯ 3

Бывали дни: как выбитые кегли
Ложились в снег двенадцатые дня.
Я видел, миги местничеств избегли,
Был каждый сумрак полднем вокруг меня.

И в пустырях нечаянных игралищ
Терялись вы, ваш целившийся глаз.
Теперь грядущего немой паралич
Расколыхал жестокий ваш отказ.

Прощайте. Пусть! Я посвящаюсь чуду.
Тасуйте дни, я за века найду.
Прощайте. Пусть. Теперь начну отсюда
Святым сроков сокрушать гряду.

* * *

Он слышал жалобу бруска
О лезвие косы.
Он слышал... падала плюска...
И шли часы.
О нет, не шли они... Как кол
Колодезной бадьи
Над севером слезливых сел,
Что в забыты,
Так время, радуясь как шест,
Стонало на ветру
И зыбью обмелевших звезд
Несло к утру.

Распутывали пастухи
Сырых свирелей стон,
И где-то клали петухи
Земной поклон.

* * *

Пусть даже смешаны сердца,
Твоей границей я не стану,
И от тебя — как от крыльца
Отпрянувшая в ночь поляна.

О, жутко женщиной идти!
И знает этих шествий участь
Преображенная в пути
Земли последняя певучесть.

* * *

Там, в зеркале, они бессрочны,
Мои черты, судьбы черты,
Какой себе самой заочной
Я доношусь из пустоты!

Вокруг — изношены судьбою,
Оправленные в города,
Тобой повитые, тобою
Разбросаны мои года...

ЛЕСНОЕ

Я — уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме,
Подносит утро луч в упор.

Но мхи пугливо попирая,
Разгадываю тайну чар:
Я — речь безгласного их края,
Я — их лесного слова дар.

О, прослезивший туч раскаты,
Отважный, отроческий ствол!
Ты — перед вечностью ходатай,
Блуждающий — я твой глагол.

О, чернолесье — Голиаф,
Уединенный воин в поле!
О, певческая влага трав,
Немотствующая неволя!

Лишенных слов — стоглавый бор
То — хор, то — одинокий некто...
Я — уст безвестных разговор,
Я — столп дремучих диалектов.

<1913>

* * *

Грусть моя, как пленная сербка,
Родной произносит свой толк.
Напевному слову так терпко
В устах, целовавших твой шелк.

И глаз мой, как загнанный флюгер,
Землей налетевшей гоним.
Твой очерк играл, словно угорь,
И око тонуло за ним.

И вздох мой — мехи у органа —
Лихой нагнетают фальцет;
Ты вышла из церкви так рано,
Твой чистый хорал недопет!

Весь мартиролог не исчислен
В моем одиноком житьи,
Но я, как репейник, бессмыслен
В степи, как журавль у бадьи.

<1913>

БЛИЗНЕЦЫ

Сердца и спутники, мы коченеем,
Мы — близнецами одиночных камер,
Чья ж косы горящим Водолеем,
Звездою ложа в высоте я замер?

Вокруг — иных влюбленных верный хаос,
Чья над уснувшей бездыханна стража,
Твоих покровов — мнущийся канаус —
Не перервут созвездные миражи.

Земля успенья твоего — не вычет
Из возносящихся над сном пилястр,
И коченеющий Близнец граничит
С твоею мукой, стерегущий Кастор.

Я оглянусь. За сном оконных фуксий
Близнец родной свой лунный стан просыпал.
Не та же ль ночь на брате, на Поллуксе,
Не та же ль ночь сторожевых манипул?

Под ним — лучи. Чеканом блещет поножь,
А он плывет, не тронув снов пятою.
Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь,
Гнетешь и гнешь, и стонешь высотой?

<1913>

БЛИЗНЕЦ НА КОРМЕ

Константину Локс

Как топи укрывают рдест,
Так никнут над мечтою веки...
Сородичем попутных звезд
Уйду однажды и навеки.

Крутой мы обогнем уступ
Живых, заночевавших криптий,
Моим глаголом, пеплом губ,
Тогда найденыша засыпьте.

Уж пригороды — позади.
Свежо... С звездой попутной дрогну.
Иные тянутся в груди,
Иные — вырастают стогна.

Наложницы смежилась грудь,
И полночи обогнут профиль,
Колышется, коснеет ртуть
Туманных станов, кранов, кровель.

Тогда, в зловещей полутьме,
Сквозь залетейские миазмы,
Близнец мне виден на корме,
Застывший в безвременной астме.

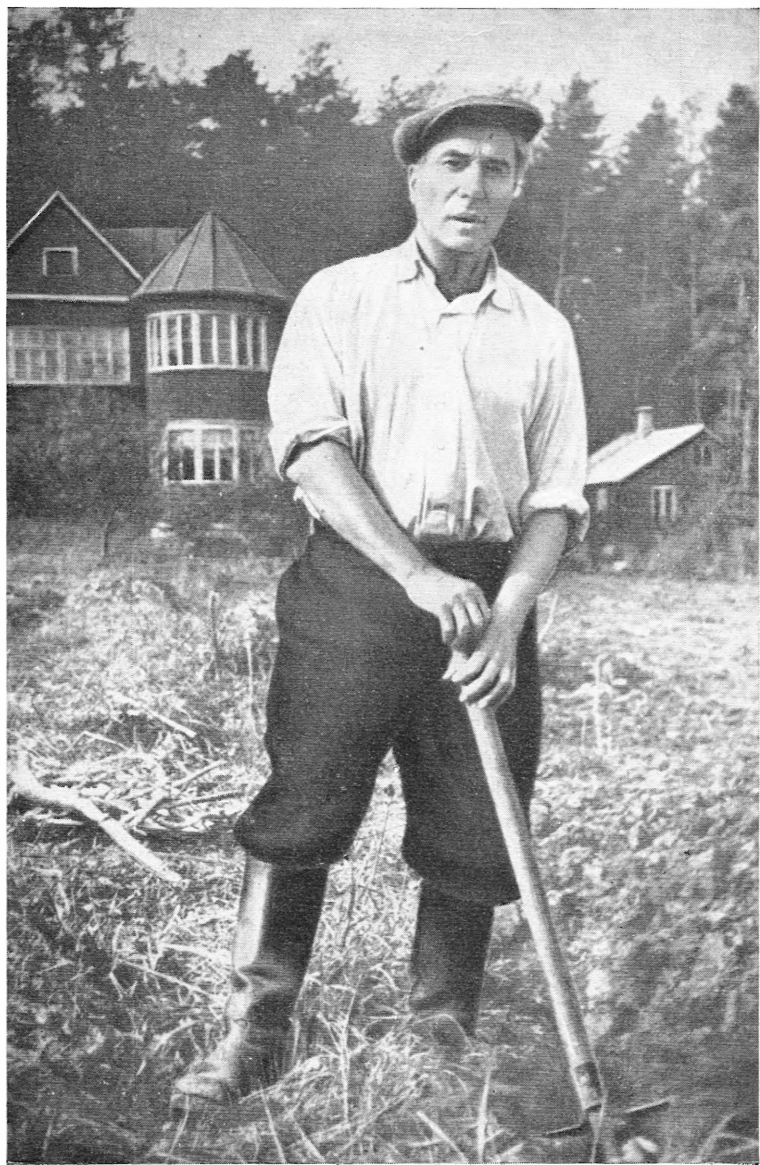
<1913>

ЛИРИЧЕСКИЙ ПРОСТОР

Сергею Боброву

Что ни утро, в плененьи барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфьера
Вырываются в брезжущий тент.

Их напутствуют знаком беспалым,
Возвестившим пожар каланче,



И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече.

Утончаются взвитые скрепы,
Струнно высится стонущий альт;
Не накатом стократного sklepa,
Парусиною вздулся асфальт.

Этот альт — только дек поднебесий,
Якорями напетая вервь,
Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная верфь.

И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.

Прирученный не вытерпит беркут,
И не сдержит твердынь карантин.
Те, что с тылу, бескрыло померкнут, —
Окрыленно вспылишь ты один.

<1913>

* * *

Ночью... со связками зрелых горелок,
Ночью... с сумою дорожной луны,
Днем ты дохнешь на полуденный щелок,
Днем на седую золу головни.

День не всегда ль порошится щепоткой
Сонных огней, угрызеньем угля?
Ночь не горела ль огнем самородка,
Жалами стульев, словами улья?

О, просыпайтесь, как лазарони
С жарким, припавшим к панели челом!
Слышите исповедь в пьяном поклоне? —
«Был в сновидения ночью подъем».

Ночью, — испал твой ослабнувший пояс,
И расступилась смущенная чернь...
Днем он таим поцелуем пропойц,
Льнущих губами к оправе цистерн.

<1913>

* * *

За обрывками редкого сада,
За решеткой глухого жилья,
Раскатившеюся эспланадой
Перед небом — пустая земля.

Прибывают немые широты,
Убыл по миру пущенный гул,
Как отсроченный день эшафота,
Горизонт в глубину отшагнул.

Дети дня, мы сносить не привыкли
Этот запада гибнущий срок,
Мы, надолго отлившие в тигле
Обиходный и легкий восток.

Но что скажешь ты, вздох по наслышке,
На зачатый тобою прогон,
Когда, ширью грудного излишка
Нагнетаем, плывет небосклон?

<1913>

ХОР

Ю. Анисимову

Жду, скоро ли с лесов дитя,
Вершиной в снежном хоре,
Падеж главою очертя,
В пучину ораторий.

(Вариант темы)

Уступами восходит хор,
Хребтами канделябр:
Сначала — дол, потом — простор,
За всем — слепой октябрь.

Сперва — плетень, над ним — леса,
За всем — скрипучий блок.
Рассветно строясь, голоса
Уходят в потолок.

Сначала — рань, сначала рябь,
Сначала — сеть сорок,
Потом — в туман, понтоном в хлябь,
Возводится восток.

Сперва — жжешь вдоволь жирандоль,
Потом — сгорает зря;
За всем — на сотни стогн оттоль
Разгулы октября.

Но будут певчие молчать,
Как станет звать дитя.
Сорвется хоровая рать,
Главою очертя.

О, разве сам я не таков,
Не внятно одинок?
И разве хоры городов
Не певчими у ног?

Когда, оглядываясь вспять,
Дворцы мне стих сдадут,
Не мне ль тогда по ним ступать
Стопами самогуд?

<1913>

НОЧНОЕ ПАННО

Когда мечтой двояковогнутой
Витрину сумерки покроют,
Меня сведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров;

Да, надо так, чтоб вместе мучились,
Сам-третий с нами.— ночи норов.

Да, надо, чтоб с отвагой юноши
Скиталось сердце Фаэтоном,
Чтоб вышло из моей полуночи
Оно тяглом к твоим затонам.

Чтобы с затишьями шоссейними
Огни перекликались в центре,
Чтоб за оконными бассейнами
Эскадру дремало джентри.

Чтоб, ночью вздвоенной оправданы,
Взошли кумиры тусклым фронтом,
Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна золотого вычески
Сбивались сединами к мелям,
Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.

Когда ж костры колоссов выгорят
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригород,
И где, когда вне песен — негде?

<1913>

СЕРДЦА И СПУТНИКИ

Е. А. В.

Итак, только ты, мой город,
С бессонницей обсерваторий,
С окраинами пропаж, —
Итак, только ты, — мой город,
Что в спорные, розные зори
Дверьми окунаешь пассаж.

Там: в сумерек сизом закале,
Где блекнет воздушная просесть,
Хладеет заброшенный вход.

Здесь: к неотгорающей дали
В бывалое выхода просит,
К полудню теснится народ.

И словно в сквозном телескопе,
Где, сглазив подлунные очи,
Узнал Близнеца звездочет,
Дверь с дверью, друг друга пороча,
Златые и синие хлопья
Плутают и гибнут вразброд.

Где к зыби клоня́тся балконы
И в небо старинная мебель
Воздега, как вышняя снасть,
В беспамятстве гибельных гребель
Лишатся сердца обороны,
И спутников скажется власть.

Итак, лишь тебе, причудник,
Вошедший в афелий пассажем,
Зарю сочетавший с пургой,
Два голоса в песне, мы скажем:
«Нас двое: мы — Сердце и Спутник,
И надвое тот и другой».

<1913>

ЦЫГАНЕ

От луча отлынивая смолью,
Не алтыном огруженных кос,
В яровых пруженые удоля
Молдаван сбивается обоз.

Обленились чада град-Загреба,
С молодежи обезроб и смерд:
Твердь обует, обуздает небо,
Твердь стреножит, разнуздает твердь!

Жародею Жогу, соподвижцу
Твоего девичья младежа,

Дево, дево, растомленной мышцей
Ты отдашься, долони сложа.

Жглом полуд пьяна напропалую,
Запахнешься ль подлою полой,
Коли он в падучей поцелуя
Сбил сорочку солнцевой скулой.

И на версты. Только с пеклой вышки,
Взлокотятся, крошка за крохой,
Кормит солнце хворую мартышку
Бубенца облетной шелухой.

<1914>

МЕЛЬХИОР

Храмовой в малахите ли холен,
Возлеяян в серебре ль косогор —
Многодольную голь колоколен
Мелководный несет мельхиор.

Над канавой извезженной сиво
Столбенеют в тускле берега,
Оттого что мосты без отзыву
Водопьянью над згой бочага,

Но, курчавой крушася карелой,
По бересте дворцовой раздран
Обольется и кремль обгорелый
Теплой смирной стоячих румян.

Как под стены зоряни зарытой,
За окоп, под босой бастион
Волокиты мосты — волокиту
Собирают в дорожный погон.

И, братаясь, раскат со раскатом,
Башни слюбятся сердцу на том,
Что, балакирем склабясь над блатом,
Разболтает пустой часоём.

<1914>

ОБ ИВАНЕ ВЕЛИКОМ

В тверди тверда слова рцы
Заторел дворцовый тóрец,
Прорывает студенцы
Чернолатый Ратоборец.

С листовых его желез
Дробью растеклась столица,
Ей несет наперерез
Твердо слово рцы копытце.

Из желобчатых ложбин,
Из-за захолодей хлёбных
За полблином целый блин
Разминает белый облак.

А его обводит кисть,
Шибкой сини птичий причет,
В поцелуях — цвель и чисть
Косит, носит, пишет, кличет.

В небе пестуны-писцы
Зáсинь во чисте содержат.
Шоры, говор, тор... но тверже
Твердо, твердо слово рцы.

<1914>

* * *

Артиллерист стоит у кормила,
И земля, зачерпывая бортом скорбь,
Несется под давлением в миллиард атмосфер,
Озверев, со всеми батареями в пучину.

Артиллерист-вольноопределяющийся, скромный
и простенький,

Он не видит опасных отрогов,
Он не слышит слов с капитанского мостика,
Хоть и верует этой ночью в бога;

И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке
Лесов, озер, церковных приходов и школ,
Вот-вот срежется, спрягая в разбивку
С кафедры на ветер брошенный глагол:

Zαω¹

Голосом пересохшей гаубицы, —
И вот-вот провалится голос,
Что земля, терпевшая обхаживанья солнца
И ставшая солнцу обхаживать потом,
С этой ночи вращается вокруг пушки японской
И что он, вольноопределяющийся, правит винтом.

Что, не боясь попасть на гауптвахту,
О разоруженьи молят облака,
И вселенная стонет от головокруженья,
Расквартированная наспех в разможженных
ГОЛОВАХ,

Она ощутила их сырость впервые,
Они ей неслышны, живые.

<1914>

* * *

Как казначей последней из планет,
В какой я книге справлюсь, горожане,
Во что душе обходится поэт,
Любви, людей и весен содержанье?

Однажды я невольно заглянул
В свою еще не высохшую роспись —
И ты — больна, больна миллионом скул,
И ты — одна, одна в их черной оспе!

Счастливая, я девушке скажу.
Когда-нибудь, и с сотворенья мира
Впервые, тело спустят, как баржу,
На волю дней, на волю их буксира.

¹ Жизнь (греч.). — *Ред.*

Несчастливая, тебе скажу, жене
Еще не позабытых походов,
Несчастливая затем, что я вдвойне
Люблю тебя за то и это рвенье!

Может быть, не поздно.
Брось, брось,
Может быть, не поздно еще,
Брось!

Ведь будет он преследовать
Рев этих труб,
Назойливых сетований
Поутру, ввечеру:

Зачем мне так тесно
В моей душе
И так безответствен
Сосед!

Быть может, оттуда сюда перейдя
И перетаскив гардероб,
Она забыла там снять с гвоздя,—
О, если бы только сало!

Но, без всякого если бы, лампа чадит
Над красным квадратом ковров,
И, без всякого если б, магнит, магнит —
Ее родное тавро.

Ты думаешь, я кощунствую?
О нет, о нет, поверь!
Но, как яд, я глотаю по унции
В былое ведущую дверь.

Впустите, я там уже, или сойду
Я от опоздания с ума,
Сохранна в душе, как птица на льду,
Ревнивой тоски сулема.

Ну понятно, в тумане бумаг, стихи
Проведут эту ночь во сне!

Но всю ночь мои мысли, как сосен верхи —
К заре — в твоём первом огне.

Раньше я покрывал твои колени
Поцелуями от всего безрассудства.
Но, как крылья, растут у меня оскорбленья,
Дай и крыльям моим к тебе прикоснуться!

Ты должна была б слышать, как песню в кости,
Охранительный окрик: «Постой, не торопись!»
Если б знала, как будет нам больно расти
Потом, втроем, в эту узкую высь!

Маленький, маленький зверь,
Дитя больших зверей,
Пред собой, за собой проверь
Замки у всех дверей!

Давно идут часы,
Тебя не стали ждать,
И в девственных дебрях красы
Бушует: «Опять, опять»...

• • • • •

Полюбуйся ж на то,
Как всевластен размер,
Орел, решето?
Ты щедр, я щедр.

Когда копилка наполовину пуста,
Как красноречивы ее уста!
Опилки подчас звучат звончей
Копилки и доверху полной грошей.

Но поэт, казначей человечества, рад
Душеизнурительной цифре затрат,
Затрат, пошедших, например,
На содержание трагедий, царств и химер.

<1915>

* * *

Весна, ты сырость рудника в висках.
Мигренью руд горшок цветочный полон.
Зачахли льды. Но гиацинт запах
Той болью руд, которою зацвел он.

Сошелся клином свет. И этот клин
Обыкновенно рвется из-под ребер,
Как полы листьев лип и пелерин
В лоскутья рвутся дождевою дробью.

Где ж начинаются пустые небеса,
Когда, куда ни глянь, — без передышки
В шаги, во взгляды, в сны и в голоса
Земле врываться, век стуча задвижкой!

За нею на ходу, по вечерам
И по ухабам ночи волочится,
Как цепь надорванная пополам,
Заржавленная, древняя столица.

Она гремит, как только кандалы
Греметь умеют шагом арестанта,
Она гремит и под прикрытьем мглы
Уходит к подгородным полустанкам.

<1915>

* * *

Тоска, бешеная, бешеная,
Тоска в два-три прыжка
Достигает оконницы, завешенной
Обносками крестовика.

Тоска стекло вышибает
И мокрою куницею выносятся
Туда, где плоскогорьем лунно-холмным
Леса ночные стонут
Враскачку, ртов не разжимая,
Изъеденные серною луной.

Сквозь заросли татарника, ошпаренная,
Задами пробирается тоска;
Где дуб дуплом насупился,
Здесь тот же желтый жупел всё,
И так же, серой улыбаясь,
Луна дубам зажала рты.

Чтоб той улыбкою отсвечивая,
Отмалчивались стиснутые в тысяче
Про опрометчиво-запальчивую,
Про облачно-заносчивую ночь.

Листы обнюхивают воздух,
По ним пробегает дрожь
И ноздри хвойных загвоздок
Воспалает неба дебош.

Про неба дебош только знает
Редизна сквозная их,
Соседний север краешком
К ним, в их вертепы вхож.

Взьерошенная, крадучись, боком,
Тоска в два-три прыжка
Достигает, черная, наскоком
Вонзенного в зенит сука.

Кишмя-кишат затишьями маковки,
Их целый голубой поток,
Тоска всплывает плакальщицей чащ,
Надо всем водружает вопль.

И вот одна на свете ночь идет
Бобылем по усопшим урочищам,
Один на свете сук опылен
Первопутком млечной ночи.

Одно клеймо тоски на суку,
Полнолунию клейма не снести,
И кунью лапу подымает клеймо,
Отдает полнолунию честь.

Это, лапкой по воздуху вода, тоска
Подалась изо всей своей мочи
В ночь, к звездам и молит с последнего сука
Вынуть из лапки занозу.

Надеюсь, ее вынут. Тогда, в дыру
Амбразуры — стекольщик — вставь ее,
Души моей, с именем женским в миру
Едко ввевшуюся фотографию.

<1916>

ПОЛЯРНАЯ ШВЕЯ

1

На мне была белая обувь девочки
И ноябрь на китовом усе,
Последняя мгла из ее гардеробов,
И не во что ей запахнуться.

Ей не было дела до того, что чучело —
Чурбан мужского рода,
Разутюжив вьюги, она их вьючила
На сердце без исподу.

Я любил оттого, что в платье милой
Я милую видел без платья,
Но за эти виденья днем мне мстило
Перчатки рукопожатье.

Еще многим подросткам, верно, снится
Закройщица тех одиночеств,
Накидка подкидыша, ее ученицы,
И гербы на картонке ночи.

И даже в портняжной,
 Где под коленкор
 Канарейка об сумерки клюв свой стачивала,
 И даже в портняжной, — каждый спрашивает
 О стенном приборе для измеренья чувств.

Истукяленье разлуки на нем завело
 Под седьмую подводину стрелку,
 Протяжней влюбленного взвыло число,
 Две жизни да ночь в уме!
 И даже в портняжной,
 Где чрез коридор
 Рапсодия венгерца за неуплату денег,
 И даже в портняжной,
 Сердце, сердце,
 Стенной неврастеник нас знает в лицо.

Так далеко ль зашло беспамятство,
 Упрямится ль светлость твоя —
 Смотри: с тобой объясняется знаками
 Полярная швея.

Отводит глаза лазурью лакомой,
 Облыжное льет стекло,
 Смотри, с тобой объясняются знаками. . .
 Так далеко зашло.

<1916>

* * *

Улыбаясь, убывала
 Ясность Масленой недели,
 Были снегом до отвала
 Сыты сани, очи, ели.

Часто днем комком из снега,
 Из оттаявшей пороши —
 Месяц в синеву с разбега
 Нами был, как мяч, подброшен.

Леденцом лежала стужа
За щекой и липла к небу,
Оба были мы в верблюжьем,
И на лыжах были оба.

Лыжи были рыжим конским
Волосом подбиты снизу,
И подбиты были солнцем
Кровли снежной, синей мызы.

В беге нам мешали прясла,
Нам мешали в беге жерди,
Капли благовеста маслом
Проникали до предсердья.

Гасла даль, и из препятствий
В место для отдохновенья
Превращались жерди. В братстве
На снег падали две тени.

От укутанных в облежку
В пух, в обтяжку в пух одетых
Сумрак крался быстрой кошкой,
Кошкой в дымчатых отметах,

Мы смеялись, оттого что
Снег смешил глаза и брови,
Что лазурь, как голубь с почтой,
В клюве нам несла здоровье.

Зима 1916

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Камень мыло унынье,
Всхлипывал санный ком,
Гнил был линючий иней,
Снег был с полым дуплом.

Шаркало. Оттепель, харкая,
Ощипывала фонарь,
Как куропатку кухарка,
И город был гол, как глухарь.

Если сползались сани
И расползались врозь,
Это в тумане фазаньим
Перьям его ползлось.

Да, это им хотелось
Под облака, под стать
Их разрыхленному телу.
Черное — небу под стать.

<1917>

НО ПОЧЕМУ

Но почему
На медленном огне предчувствия
Сплавляют зиму?
И почему
Весь, как весною захоластье,
Уязвим я?
И почему,
Как снег у бака водогрейни,
Я рассеян?
И почему
Парная ночь, как испаренье
Водогреен?
И облака
Раздольем моего ночного мозга
Плывут, пока
С земли чужой их не окликнет возглас,
И волоса
Мои приподымаются над тучей.
Нет, нет! Коса
Твоя найдет на камень, злополучье!

Пусть сейчас
Этот мозг, как бочонок, и высмолен,
И ни паруса!
Пена и пена.

Но сейчас,
Но сейчас — дай собраться мне

с мыслями —

Постепенно —
Пусти! — Постепенно.
Нет, опять
Тетка Оттепель крадется с краденым,
И опять
Город встал шепелявой облавой,

И опять
По глазным, ополоснутым впадинам
Тают клады и плавают
Купола с облаками и главы —
И главы.

<1917>

MATERIA PRIMA¹

Чужими кровями сдабривавший
Свою, оглушенный поэт, —
Окно на Софийскую набережную,
Не в этом ли весь секрет?

Окно на Софийскую набережную,
Но только о речке запой,
Твои кровавые шарикИ,
Кусаясь, пускаются за реку,
Как крысы на водопой.

Волнение дарит обмолвкой.
Обмолвись словом: река,
Открыл ты не форточку,
Открыл мышеловку,
К реке прошмыгнули мышинные мордочки
С пастью не одного пасюка.

Сколько жадных моих кровинок
В крови облаков, и помоев, и будней
Ползут в эти поры домой, прибудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей

вынюхав!

¹ Первоматерия (лат.). — *Ред.*

И когда я танцую от боли
Или пью за ваше здоровье,
Всё то же: свирепствует свист в подполье,
Свистят мокроусые крови в крови.

<1917>

* * *

С рассветом, взваленным за спину,
Пусть с корзиной с грязным бельем,
Выхожу я на реку заспанный —
Берега сдаются внаем.

Портомойные руки в туманах пухнут,
За синением стекол мерзлых горишь,
Словно детский чулочек, пасть кошки на кухне
Выжимает суконную мышь;

И из выжатой пастью тряпочки
Каплет спелая кровь черным дождиком на пол,
С горьким утром в зубах ее сцапала кошка,
И комок того утра — за шкапом;

Но ведь крошечный этот чулочек
Из всего предрассветного узла!
Ах, я знаю, что станет сочиться из ночи,
Если выжать весь прочий облачный хлам.

<1917>

* * *

Вслед за мной все зовут вас барышней,
Для меня ж этот зов зачастую,
Как акт наложенья наручней,
Как возглас: «Я вас арестую».

Нас отыщут легко все тюремщики
По очень простой примете:
Отныне на свете есть женщина
И у ней есть тень на свете.

Есть лица, к туману притертые
Всякий раз, как плащмя на них глянешь,
И только одною аортою
Лихорадящий выплеснут глянец.

<1917>

PRO DOMO¹

Налетела тень. Затрепыхалась в тяге
Сального огарка. И метнулась вон
С побелевших губ и от листа бумаги
В меловой распах сыреющих окон.

В час, когда писатель — только верить,
Бледная догадка бледного огня,
В уши душной ночи как не прокричать ей:
«Это — час убийства! Где-то ждут меня!»

В час, когда из сада остро тянет тенью
Пьяной, как пространства, мировой, как скок
Степи под седлом, — я весь — на иждивенье
У огня в колонной воспаленных строк.

<1917>

* * *

Осень. Отвыкли от молний.
Идут слепые дожди.
Осень. Поезда переполнены —
Дайте пройти! — Всё позади.

<1917>

¹ О себе (лат.). — *Ред.*

* * *

Какая горячая кровь у сумерек,
Когда на лампе колпак светло-синий.
Мне весело, ласка, понятие о юморе
Есть, верь, и у висельников на осине;

Какая горячая, если растерянно,
Из дома Коровина на ветер вышед,
Запросишь у стужи высокой материи,
Что кровью горячею сумерек пышет,

Когда абажур светло-синий над лампою,
И ртутью туман с тротуарами налит,
Как резервуар с колпаком светло-синим...
Какая горячая кровь у сумерек!

<1917>

СКРИНКА ПАГАНИНИ

1

Душа, что получается?
— Повремени. Терпенье.

Он на простенок выбег,
Он почернел, кончается —
Сгустился, — целый цыбик
Был высыпан из чайницы.

Он на карнизе узком,
Он из агата выточен,
Он одуряет сгустком
Какой-то страсти плиточной.

Отчетлив, как майолика,
Из смол и молний набран,
Он дышит дрожью столика
И зноем канделябров.

Довольно. Мгла заплакала,
Углы стекла всплакнули...
Был карликом, кривлякою —
Messieurs,¹ расставьте стулья.

2

Дома из более чем антрацитных плиток,
Сады из более чем медных мозаик,
И небо более паленое, чем свиток,
И воздух более надтреснутый, чем вскрик,

И в сердце, более прерывистом, чем «Слушай»
Глухих морей в ушах материка,
Врасплох застигнутая боле, чем удушьем,
Любовь и боле, чем любовная тоска!

3

Я дохну на тебя, мой замысел,
И ты станешь, как кожа индейца.
Но на что тебе, песня, надеяться?
Что с тобой я вовек не расстанусь?

Я создам, как всегда, по подобию
Своему вас, рабы и повстанцы,
И закаты за вами потянутся,
Как напутствия вам и надгробья.

Но нигде я не стану вас чувствовать
Юбилеем лучей, и на свете
Вы не встретите дня, день не встретит вас,
Я вам ночь оставляю в наследье.

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий,
С белым пеплом баллад на челе,

¹ Господа (франц.). — *Ред.*

С загрубевшей от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О н а

Изборожденный тьмою бороздок,
Рябью сбежавший при виде любви,
Этот, вот этот бесснежный воздух,
Этот, вот этот — руками лови?

Годы льдов простерлися
Небом в отдалении,
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей,

Вслед за накидкой ваточной
Всё — долой, долой!
Нынче небес недостаточно,
Как мне дышать золой!

Ах, грудь с грудью борются
День с уединеньем.
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей.

О н

Я люблю, как дышу. И я знаю:
Две души стали в теле моем.
И любовь та душа иная,
Им несносно и тесно вдвоем;

От тебя моя жажда пособия,
Без тебя я не знаю пути,
Я с восторгом отдам тебе обе,
Лишь одну из двоих приюти.

О, не смейся, ты знаешь какую —
О, не смейся, ты знаешь к чему —
Я и старой лишиться рискую,
Если новой я рта не зажму.

<1917>

Порою ты, опередив
Мгновенной вспышкой месяцы,
Сродни пожарам чащ и нив,
Когда края безлесея;

Дыши в грядущее, теребь
И жги его — залижется
Оно душой твоей, как степь
Пожара беглой жижицей.

И от тебя, по самый гроб
С судьбы твоей преддверия,
Дни, словно стадо антилоп,
В испуге топчут прерии.

<1917>

APASSIONATA ¹

От жара струились стручья,
От стручьев струился жар,
И ночь пронеслась, как из тучи
С корнем вырванный шар.

Удушьем свело оболочку,
Как змей, трещала ладья,
Сегодня ж мне кажется точкой
Та ночь в небесах бытия.

Не помню я, был ли я первым,
Иль первую были вы —
По ней барабанили нервы,
Как сетка из бичевы.

Громадой рубцов напряжась,
От жару грязен и наг,
Был одинок, как ужас,
Ее восклицательный знак.

¹ Страстная (итал.). — Ред.

Проставленный жизнью по сизой
Безводной Сахаре небес,
Он плыл, оттянутый книзу,
И пел про удельный вес.

<1917>

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов — багровый шар,
Чадивший без послабы.

И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей

Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами,
Плавучесть звезд в воде
И вод в их панораме.

Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.

И был, как паралич,
Тот вечер. Был, как кризис
Поэм о смерти. Притч
Решивших сбыться, близясь.

Сюда! лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день Помпеи.

<1917>

Это мои, это мои,
Это мои непогоды —
Пни и ручьи, блеск колеи,
Мокрые стекла и броды,

Ветер в степи, фыркай, храпи,
Наотмашь брызжи и фыркай!
Что тебе сплин, ропот крапив,
Лепет холстины по стирке.

Платья, кипя, лижут до пят,
Станы гусей и полотнищ,
Рвутся, летят, клонят канат,
Плещут в ладони работниц.

Ты и тоску порешь в лоскут,
Порешь, не знаешь покрою,
Вот они там, вот они тут,
Ключьями кочки покроют.

<1917>

ПРОЩАНИЕ

Небо гадливо касалось холма,
Осенью произносились проклятья,
По ветру время носилось, как с платья
Содранная бурьянами тесьма.

Тучи на горку держали. И шли
Переселеньем народов — на горку.
По ветру время носилось оборкой
Грязной, худой, затрапезной земли.

Степь, как архангел, трубила в трубу,
Ветер горланил протяжно и властно:
Степь! Я забыл в обладании гласной,
Как согласуют с губою губу.

Вон, наводя и не на́ воды жуть,
Как на лампаду, подул он на речку,

Он и пионы, как сальные свечки,
Силится полною грудью задуть.

И задувает. И в мрак погрузясь,
Тускло хладеют и плещут подкладкой
Листья осин. И, упав на площадку,
Свечи с куртин зарываются в грязь.

Стало ли поздно в полях со вчера
Иль до бумажек стгорел накануне
Вянувший тысячелетник петуний, —
Тушат. Прощай же. На месяц. Пора.

<1917>

МУЗА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО

Слившая младшею дочерью
Гроз, из фамилии ливней,
Ты, опыленная дочерна
Громом, как крылья крапивниц!

Молния былей пролившихся,
Мглистость молившихся мыслей,
Давность, ты взрыта излишеством,
Ржавчиной блеск твой окислен!

Башни, сшибаясь, набатили,
Вены вздымались в галопе.
Небо купалось в кратере,
Полдень стоял на подкопе.

Луч оловел на посудинах.
И, как пески на самуме,
Клубы догадок полуденных
Рот задыхали безумьем.

Твой же глагол их осиливал,
Но от всемирных лесчинок
Хруст на зубах, как от пылева,
Напоминал поединок.

<1917>

I

* * *

Во всё продолженье рассказа голос —
Был слушатель холост, рассказчик — женат,
Как шляпа бегущего берегом к молу,
Мелькал и мелькал,
И под треск камелька
Взвивался канат
У купален.

И прядало горе, и гребни вскипали —
Был слушатель холост, рассказчик — женат.

И часто рассказом, — был слушатель холост,
Рассказчик женат; мелькающий голос,
Как шляпа бегущего молом, из глаз
Скрывался — сбивало — и в черные бреши
Летевших громад, гляделась помешанным
Осанна без края и пенилась, пела и жглась.

Как будто обили черным сукном
Соборные своды, и только в одном
Углу разметались могучей мечты
Бушующие светоносно листы.

Как будто на море, на бурный завет,
На Библию гибели пенистый свет
Свергался, и били псалмами листы,
И строки кипели, дышали киты.

И небо рыдало над морем, на той
Странице развернутой, где за шестой
Печатью седьмую печать сломив,
Вся соль его славит, кипя, Суламифь.

И молом такого-то моря (прибой
Впотьмах городил баррикаду повстанца)
Бежал этот голос, ужасный, как бой
Часов на далекой спасательной станции.

Был слушатель холост, был голос — была
Вся бытность разрыта, вся вечность, — рассеянный,
Осклабясь во всё лицо, как скала,
И мокрый от слез, как маска бассейная,
 Он думал: «Мой бог!
 Где же был ране
 Этот клубок
Нагнанных братом рыданий?
 Разве и я
Горечи великолепий,
 В чаши края
Сердцем впиваясь, не пил?
 Как же без слез,
 Как же без ропота, молча
 Жжение снес
 Ропота, слез я и желчи?
Или мой дух, как молитвенник,
Лютых не слыша ран,
К самому краю выдвинут
Черной доски лютеран.
Служит им скорбью настольной,
Справочником — и с тем
Жизнь засолила больно
Тело моих поэм?»

II

1

Я тоже любил. И за архипелаг
Жасминовых брызг, на брезгу, меж другими,
В поля, где впотьмах еще, перепела
Пылали, как горла в ангине,
 Я ангела имя ночное врезал,
 И в ландышей жар погружались глаза.

Как скряги рука
В волоса сундука,
В белокурые тысячи английских гиней.

Земля пробуждалась, как Ганг

.

.

Не я ли об этом же — о спящих песках,
 Как о сном утомленных детях,
 Шептал каштанам, и стучало в висках,
 И не знал я, куда мне деть их.

И сравнивал с мелью спокойствия хмель,
 С песчаной косой, наглотавшей чалений
 И тины носившихся морем недель...
 Что часто казалось, ушей нет,
 В мире такая затишь!
 Затишь кораблекрушенья, —
 Часто казалось, спятишь.

Тучи, как цирка развалины,
 Нагреты. Размножено
 О гроты оглохшее дно.
 И чавкают сыто скважины
 Рубцами волны расквашенной.

Пастбищем миль умаленный,
 Ты закрываешь глаза;
 Как штиль плодоносен!
 Как наливается тишь!

Гнется в плодах спелый залив,
Олово с солью!
Волны, как ветви. Жаркая осень.
Шелест налившихся слив.
Олово с солью!
Клонит ко сну чельные капли полудня.
Спится теплу.
Господи боже мой! Где у тебя, непробудный,
В этой юдоли
Можно уснуть?

Площадь сенная,
Голуби, блуд.
Красный цыган конокрад,
Смоль борода, у палатки
Давится алчным распалом
Заполыхавшего сена.
 Без треска и шипу
 Сено плоится,
Слова не молвя.
 Сонная смотрит толпа,
Как заедает ржаною горбушкой,
 Пальцы в солонку,
 Пышный огонь он.
 — Без треска
 Корчится сено, —
 Как с бороды отрясает
 Крошки и тленье.
Тянутся низко лабазы.
 Ваги и гири.
 Пыль и мякина.
Лязга не слышно
 Идущих мимо вагонов.
 То полевою
Мышью потянет, то ветер
 Из винокурни ударит
 Жаркой изжогой,
 То мостовая
Плоско запреет конюшной,
 Краской, овсом и мочою.

Ты открываешь глаза.
Тош молочай.
Прыщет песчинками чибис,
Ящерица, невзначай.
Пенно лущится крошево зыби
В грудках хряща.
Здесь так глубоко.
Так легко захлебнуться.
Плеск этот, плеск этот, плеск...
Словно лакает скала;
Словно — блюдец
Глубь с ободком.

Зыбь.
Жара.
Колосится зной,
Печет,
Течет в три ручья.
В топке
Индиго
Солонеет огонь.
К дохлой
Пробке
Присохла
Вонь.

И, как в ушах водолаза,
В рослых водах — балласт
Гру́зимых гулов; фраза
Зыби: музыка, муза
Не даст. Не предаст. Не даст.

Тускнеет, трескаясь,
Рыбья икра.
День был резкий,
Марбург, жара,
По вечерам, как перья дрофе,
Городу шли озаренья кафе,
И низко, жар-птицей, пожар в погреба
Бросал, летела судьба,
Струей раскаленного никеля
Слепящий кофе стекал.
А в зарослях парковых глаз хоть выколи,
Но парк бокал озарял

Луной, леденевшей в бокале,
И клумбы в шарах умолкали.

.
Февраль 1917
Тихие Горы

* * *

Уже в архив печали сдан
Последний вечер новожила.
Окно ему на чемодан
Ярлык кровавый наложило.

Перед отъездом страшный знак
Был самых сборов неминучей —
Паденье зеркала с бумаг,
Сползавших на пол грязной кучей.

Заря ж и на полу стекло,
Как на столе пред этим, лижет.
О счастье: зеркало — цело,
Я им напутствуем — не выжит.

Весна 1917.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ОТРЫВКИ

1

В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоят настежь.
Летний день. В отдалении гром.
Время действия между 10 и 20 мессидора (29 июня — 8 июля)
1794 г.

Сен - Жюст

Таков Париж. Но не всегда такъв,
Он был и будет. Этот день, что светит
Кустам и зданьям на пути к моей
Душе, как освещают путь в подвалы,

Не вечно будет бурным фонарем,
Бросающим все вещи в жар порядка,
Но век пройдет, и этот теплый луч
Как уголь почернеет, и в архивах
Пытливость поднесет свечу к тому,
Что нынче нас слепит, живит и греет,
И то, что нынче ясность мудреца,
Потомству станет бредом сумасшедших.
Он станет мраком, он сойдет с ума,
Он этот день, и бог, и свет, и разум.
Века бегут, боятся оглянуться,
И для чего? Чтоб оглянуть себя.
Наводят ночь, чтоб полдни стали книгой,
И гасят годы, чтоб читать во тьме.
Но тот, в душе кого селится слава,
Глядит судьбою: он наводит ночь
На дни свои, чтоб полдни стали книгой,
Чтоб в эту книгу славу записать.

(К Генриетте, занятой шитьем, живет и проще)

Кто им сказал, что для того, чтоб жить,
Достаточно родиться? Кто докажет,
Что этот мир — как постоянный двор.
Плати простой и спи в тепле и в воле.
Как людям втолковать, что человек
Дамоклов меч Творца, капкан вселенной,
Что духу человека негде жить,
Когда не в мире, созданном вторично,
Они же проживают в городах,
В Бордо, в Париже, в Нанте и в Лионе,
Как тигры в тростниках, как крабы в море,
А надо резать разумом стекло,
И раздирать досуги, и трудами...

Генриетта

Ты говоришь...

Сен-Жюст

(продолжает рассеянно)

Я говорю, что труд
Есть миг восторга, превращенный в годы.

Генриетта
Зачем ты едешь?

Сен-Жюст
Вскрыть гнойник тоски.

Генриетта
Когда вернешься?

Сен-Жюст
К пуску грязной крови.

Генриетта
Мне непонятно.

Сен-Жюст
Не во все часы
В Париже рукоплещут липы грому,
И гnevаются тучи, и, прозрев,
Моргает небо молниями и ливнем.
Здесь не всегда гроза. Здесь тишь и сон.
Здесь ты не всякий час со мной.

Генриетта
(удивленно)

Не всякий?

А там?

Сен-Жюст
А там во все часы атаки.

Генриетта
Но там ведь нет...

Сен-Жюст
Тебя?

Генриетта
Меня.

Сен-Жюст
Но там,
Там, дай сказать: но там ты — постоянно.
Дай мне сказать. Моя ли или нет.

И равная в любви или слабее,
Но это ты, и пахнут города,
И воздух битв — тобой, и он доступен
Моей душе, и никому не встать
Между тобою в облаке и грудью
Расширенной моей, между моим
Волнением по бессоннице и небом.
Там дело духа стережет дракон
Посредственности и Сен-Жюст Георгий,
А здесь дракон грознее во сто крат,
Но здесь Георгий во сто крат слабее.

Г е н р и е т т а

Кто там прорвет нарыв тебе?

С е н - Ж ю с т

Мой долг.

Живой напор души моих приказов.
Я так привык сгорать и оставлять
На людях след моих самосожжений!
Я полюбил, как голубой глинтвейн,
Бездымный пламень опоенных силой
Зажженных нервов, погруженных в мысль
Концом свободным, как светильня в масло.
Покою нет и ночью. Ты лежишь
Одетый.

Г е н р и е т т а

Как покойник!

С е н - Ж ю с т

Нет покоя

И ночью. Нет ночей. Затем, что дни
Тусклее настоящих и тоскливей,
Как будто солнце дышит на стекло
И пальцами часы по нем выводит,
Шатаясь от жары. Затем, что день
Больше дня и ночь волшебней ночи.
Пылится зной по жнивьям. Зыбь лучей
Натянута, как кожа барабанов
Идущих мимо войск

.

Г е н р и е т т а

Как это близко мне! Как мне сродни
Все эти мысли. Верно, верно, верно.
И всё ж я сплю; и всё ж я ем и пью,
И всё же я в уме и в здравых чувствах,
И белою не видится мне ночь,
И солнце мне не кажется лиловым.

С е н - Ж ю с т

Как спать, когда рождается новый мир,
И дум твоих безмолвие бушует,
То говорят народы меж собой
И в голову твою, как в мяч, играют,
Как спать, когда безмолвье дум твоих
Бросает в трепет тишь, бурьян и звезды
И птицам не дает уснуть. Всю ночь
Стоит с зари бессонный гомон чащи.
И ночи нет. Не убранный стоит
Забывтый день, и стынет и не сходит
Единый, вечный, долгий, долгий день.

2

Из ночной сцены с 9 на 10 термидора 1794 г.

Внутренность парижской ратуши. За сценой признаки приготовлений к осаде, грохот стягиваемых орудий, шум и т. п. Коффингаль прочел декрет Конвента, прибавив к объявленному вне закона и публику в ложах. Зал ратуши мгновенно пустеет. Хаотическая гулкость безлюдья. Признаки рассвета на капителях колонн. Остальное — погружено во мрак. Широкий канцелярский стол посреди изразцовой площадки. На столе — свеча. Анрио лежит на одной из лавок вестибюля. Коффингаль, Леба, Кутон, Огюстен, Робеспьер и др. в глубине сцены, расхаживают, говорят промеж себя, подходят к Анрию. Этим в продолжение начальной сцены не слышно. Авансцена. У стола со свечой: Сен-Жюст и Максимилиан Робеспьер.

Сен-Жюст расхаживает. Робеспьер сидит за столом, оба молчат. Тревога и одуренье.

Р о б е с п ь е р

Оставь. Прощу тебя. Мелькнула мысль.
Оставь шагать.

Сен - Жюст

А! Я тебе мешаю?

Долгое молчанье.

Робеспьер

Ты здесь, Сен-Жюст? Где это было всё? —
Бастилия, Версаль, октябрь и август?

Сен-Жюст останавливается, смотрит с удивленьем на Робеспьера.

Робеспьер

Они идут?

Сен - Жюст

Не слышу.

Робеспьер

Перестань.

Ведь я просил тебя. — Мне надо вспомнить. —
Не знаешь: Огюстен предупредил
Дюпле?

Сен - Жюст

Не знаю.

Робеспьер

Ты не знаешь.

Не задавай вопросов. Не могу
Собраться с мыслью. — Сколько било? — Тише.
Есть план. — Зачем ты здесь? — Иди, ступай!
Я чувствую тебя, как близость мыши,
И забываю думать. — Может быть,
Еще не поздно. — Впрочем, оставайся.
Сейчас. Найду. — Осеклось! — Да. Сейчас.
Не уходи. — Ты нужен мне. О, дьявол!
Но это ж пытка! У кого спросить,
О чем я думал только? — Как припомнить!

Молчанье. Сен-Жюст расхаживает.

Робеспьер

Они услышат. Тише. Дай платок.

Сен - Жюст

Платок?

Робеспьер

Ну да. Ты нужен мне. О, дьявол!
Иди, ступай! Погибли! Не могу!
Ни мысли — вихрь. — Я разучился мыслить!

(Хрипло, хлопнув себя по лбу)

Дальнейшие слова относятся к голове Робеспьера.
В последний миг, — о дура! Ведь кого,
Себя спасти; — кобылою уперлась!
Творила чудеса! Достань вина.
Зови девиц! — Насмешка! «Неподкупный»
Своей святою предан головой
И с головой убийцам ею выдан!
Я посвящал ей всё, что посвятить
Иной спешил часам и мигам страсти.
Дантон не понимал меня. Простак,
Ему не снилось даже, что на свете
Есть разума твердыни, есть дела
Рассудка, есть понятий баррикады
И мятежи мечтаний, и восторг
Возвышенных восстаний чистой мысли.
Он был преступен, скажем; суть не в том.
Но не тебе ль, не в честь твою ли в жертву
Я именно его принес. Тебе.
Ты, только ты была моим Ваалом.

Сен - Жюст

В чем дело, Робеспьер?

Робеспьер

Я возмущен
Растерянностью этой подлой твари!
Пытался. Не могу. Холодный пот,
Сухой туман — вот вся ее работа.
Пересыхает в горле. Пустота,
И лом в кости, и ни единой мысли.
Нет, мысли есть, но как мне передать
Их мелкую, крысиную побежку!

Вот будто мысль. — Погнался. — Нет. Опять
Вот будто. — Нет. Вот будто. Хлопнул. — Пусто!
Имей вторую я! И головы
Распутной не сносить бы Робеспьеру!

С е н - Ж ю с т

Оставь терзать себя. Пускай ее
Распутничают. Пусть ее блуждает
В последний раз.

Р о б е с п ь е р

Нет, в первый! Отчего.

И негодую я. Нашла минуту!
Нашла когда! Довольно. Остается
Проклясть ее и сдать. Я сдаюсь.

С е н - Ж ю с т

Пускай ее блуждает. Ты спросил,
Где это было всё: октябрь и август,
Второе июня.

Р о б е с п ь е р

(вперебой, о своем)

Вспомнил!

С е н - Ж ю с т

Брось. И я

Об этом думал.

Р о б е с п ь е р

(свое)

Вспомнил. На мгновенье!

Минуту!

С е н - Ж ю с т

Брось. Не стоит. Между тем
Я тоже думал. Как могло случиться.

Р о б е с п ь е р

(желчно)

Ведь я прошу! — За этим преньем слов...
Ну так и есть.

Пауза, в течение которой Коффингаль, Леба и другие уходят,
и задний план пустеет, исключая Анрию, который спит и не в счет.

Робеспьер

(хрипло, в отчаяньи)

Когда б не ты. — Довольно
Я слушаю. Ну что ж ты? — Продолжай,
Пропало всё. Ведь я сказал, что сдался.
Ну — добивай. Прости. Я сам не свой.

Сен - Жюст

А это так естественно. Ты с мышью
Сравнил меня и с крысой — мысль твою.
Да, это так. Да, мечутся как крысы
В горящем доме — мысли. Да, они
Одарены чутьем и пред пожаром
Приподымают морды, и кишит
Не мозг — не он один, но царства мира,
Охваченные мозгом — беготней
Подкуренных душком ужасной смерти
Зверьков проворных: мерзких, мерзких дум.
Не мы одни, нет, все прошли чрез это
Ужасное познание, и у всех
Был предпоследний час и день последний,
Но побеждали многие содом
Наглеющих подполий и всходили
С улыбкою на плаху. И была
История республики собраньем
Предсмертных дней. Быть может, никого
Не посетила не предупредивши
И не была естественною смерть.

Робеспьер

(рассеянно)

Где Огюстен?

Сен - Жюст

С Кутоном.

Робеспьер

Где?

Сен - Жюст

С Кутоном.

Робеспьер
Но это не ответ. А где Кутон?

Сен - Жюст
Пошли наверх. Все в верхнем зале. Слушай.
Во Франции не стали говорить:
«Не знаю, что сулит мне день грядущий»,
Не стало тайн. Но каждый, проходя
По площади — музею явных таинств,
По выставке кончин, мог лицезреть
Свою судьбу в бездействии и в деле.

Робеспьер
Ты каешься?

Сен - Жюст
Далек от мысли. Нет.
Но летопись республики есть повесть
Величия предемертных дней. Сама
Страна как бы вела дневник загробный,
И не чередование ночей
С восходами бросало пестрый отблеск
На Францию; но оборот миров,
Закат вселенной, черный запад смерти
Стерег ее и нас подстерегал...

Июнь — июль 1917

ЛЮБОВЬ ФАУСТА

Все фонари, всех лавок скарлатина,
Всех кленов коленкор
С недавних пор
Одно окно стянули паутиной.

Клеенки всех столовых. Весь масштаб
Шкапов и гипсов мысли. Все казармы.
Весь шабаш безошибочной мечты.
С недавних пор
К *Violette de Parme*,¹

¹ Пармской фиалке. (франц.). — *Ред.*

Весь душистый деготь магий. Доктора
И доги. Все гремучие загрузки
Рожков, кружащих полночь — со вчера
К несчастной блузке.

Зола всех июлей, зелень всех калений,
Олифа лбов; сползающий компресс
Небес лечебных. Всё, что о Галене
Гортанно и: арабски: клегчет бес.

И шепчет гений.

Всё масло всех портретов; все береты,
Все жженой пробкой, чертом, от руки,
Чулком в известку втертые

Поэты.

И чудаки.

С недавних пор.

1917? —

ГОЛОС ДУШИ

Всё в шкафу раскинь,
И всё теплое
Собери, — в куски
Рвут вопли его.

Прочь, не трать труда,
Держишь, — вытащу,
Разорвешь — беда ль:
Станет ниток шитья.

Человек! Не страх?
Делать нечего.
Я — душа. Во прах:
Опрометчивый!

Мне ли прок в тесьме,
Мне ли в платьеце,
Человек, ты смел?
Так заплатишься!

Поражу глаза
Дикой мыслью я —
— Это я сказал!
— Нет, мои слова

Головой твоей
Ваших выше я,
Не бывавшая
И не бывшая.

1918

ГОЛОД

1

Во сне ты бредила, жена,
И если сон твой впрямь был страшен,
То он был там, где, шпатов пашен
Стуча, шагает тишина.

То ты за тридцать царств отсель,
Где Дантов ад стал обитаем,
Где царство мертвых стало краем,
Стонала, раскидав постель.

2

Страшись меня как крыжака,
Держись как чумного монгола,
Я ночью краем пиджака
Касался этих строк про голод.

Я утром платья не сменил,
Карболкой не сплеснул глаголов,
Я в дверь не вышвырнул чернил,
Которыми писал про голод.

Что этим мукам нет имен,
Я должен был бы знать заранее,
Но я искал их, и клеймен
Позором этого старанья.

1922

GLEISDREIECK

Надежде Александровне Залшупиной

Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдает над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату?

Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся на версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнувшей бензином.

В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки, — карандаши для грима.
Туда из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.

30 января 1923
Берлин

1 МАЯ

О город! О сборник задач без ответов,
О ширь без решенья и шифр без ключа!
О крыши! Отварного ветра отведав,
Кыш в траву и марш, тротуар горяча!

Тем солнцем в то утро, в то первое мая
Умаяв дома до упаду с утра,
Сотрите травую до первых трамваев
Грибок трупоедских пиров и утрат.

Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок
Бежит, в рубежах дребезжа, синева
И, бредя исчезнувшим снегом, вдобавок
Разносит над грязью без связи слова.

О том, что не быть за сословьем четвертым,
Ни к пятому спуска, ни отступа вспять,
Что счастье, коль правда, что новым нетвердым
Плетням и межам меж людьми не бывать,

Что ты не отчасти и не между прочим
Сегодня с рабочим, — что всею гурьбой
Мы в боги свое человечество прочим.
То будет последний решительный бой.

1923

МОРСКОЙ ШТИЛЬ

Палящим полднем вне времен
В одной из лучших экономий
Я вижу движущийся сон, —
Историю в сплошной истоме.

Прохладой заряжен револьвер
Подвалов, и густой салют
Селитрой своды отдают
Гостям при входе в полдень с воли.

В окно ж из комнат в этом доме
Не видно ни с каких сторон
Следов знакомой жизни, кроме
Воды и неба вне времен.

Хватаясь искомого приволья,
Я рвусь из низких комнат вон.

Напрасно! За лиловый фольварк,
Под слуховые окна служб
Верст на сто в черное безмолвье
Уходит белой лентой глушь.

Верст на сто путь на запад занят
Клубничной пеной, и янтарь
Той пены за собою тянет
Глубокой ложкой вал винта.

А там, с обмылками в обнимку,
С бурлящего песками дна,
Как кверху всплывшая клубника,
Круглится цельная волна.

1923

СТИХОТВОРЕНЬЕ

Стихотворенье? — Малыши!
Известны ль вам его оттенки,
Когда во всех концах души
Не спят его корреспондентки?

И пишут вам: «Среда. Кивач.
Встаю, разбуженная гулом,
Рассвет кидается кивать
И хлопает холстиной стула.

Как глаз усталых ни тарашь,
Террасу оглушает гомон,
Сырой картон кортомных чаш,
Как лапой, грохотом проломан.

И где-то выпав из корыт,
Катясь с лопаты на лопату,
Озерный округ сплошь покрыт
Холодным потом водопада».

1923

* * *

Трепещет даль. Ей нет препон.
Еще оконницы крепятся.
Когда же сдернут с них кретон,
Зима заплещет без препятствий.

Зачертыхались сучья рощ,
Трепещет даль, и плещут шири.
Под всеми чертежами ночь
Подписывается в четыре.

Внизу толпится гольтепа.
Пыхтит ноябрь в седой попоне.
При первой пробе фортепьян
Всё это я тебе напому.

Едва распущенный Шопен
Опять не сдержит обещаний,
И кончит бешенством, взамен
Баллады самообладанья.

<1924>

ОСЕНЬ

Ты распугал моих товаров,
Октябрь, ты страху задал им,
Не стало астр на тротуарах,
И страшно ставней мостовым,

Со снегом в кулачке, чахотка
Рукой хватается за грудь.
Ей надо, видишь ли, находку
В обрывок легких завернуть.

А ты глядишь? Беги, преследуй,
Держи ее — и не добром,
Так силой — отыми браслеты,
Завещанные сентябрем.

<1924>

ПЕРЕЛЕТ

А над обрывом, стих, твоя опешит
Зарвавшаяся страстность муравья,
Когда поймешь, чем море отмель крешет,
Поскальзываясь, шаркая, ревя.

Обязанность одна на урагане:
Перебивать за поворотом грусть
И сразу перехватывать дыханье,
И кажется, ее нетрудно блюсть.

Беги же вниз, как этот спуск ни скользок,
Где дачницыно щелкает белье,
И ты поймешь, как мало было пользы
В преследованьи рифмой форм ее.

Не осмотрясь и времени не выбрав
И поглощенный полностью собой,
Нечаянно, но с фырканьем всех фибров
Летит в объятья женщины прибой.

Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки?
До лодок доплеснул жидкий лед.
Прибой и землю обдал по ошибке...
Такому счастью имя — перелет.

<1924>

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КАРУСЕЛЬ

Листья кленов шелестели,
Был чудесный летний день.
Летним утром из постели
Никому вставать не лень.

Бутербродов насовали,
Яблок, хлеба каравай.
Только станцию назвали,
Сразу тронулся трамвай.

У заставы пересели
Всей ватагой на другой.
В отдаленьи карусели
Забелели над рекой.

И душистой повилкой,
Выше пояса в коврах,
Все от мала до велика
Сыпем кубарем в овраг.

За оврагом на площадке
Флаги, игры для ребят,
Деревянные лошадки
Скачут, пыли не клубят,

Черногривых, длиннохвостых
Челки, гривы и хвосты
С полу подняло на воздух,
Опускает с высоты.

С каждым кругом тише, тише,
Тише, тише, тише, стоп.
Эти вихри скрыты в крыше,
Посредине крыши — столб.

Круг из прутьев растопыря,
Гнется карусель от гирь.
Карусели в тягость гири,
Парусину тянет вширь.

Точно вышли из токарни,
Под пинками детворы
Кони шелкают шикарней,
Чем крокетные шары.

За машиной на полянке
Лушит семечки толпа.
На мужчине при шарманке
Колокольчатый колпак.

Он трясет, как дождик банный,
Побрякушек бахромой,
Колотушкой барабанной,
Ручкой, ножкою хромой.

Как пойдет колодкой дергать,
Щиколоткою греметь,
Лопается от восторга,
Сó смеху трясется медь.

Он, как лошадь на пристяжке,
Изогнувшись в три дуги,
Бьет в ладоши и костяшки,
Мнется на ногу с ноги.

Погружая в день бездонный
Кудри, гривы, кружева,

Тонут кони, и фестоны,
И колясок кузова.

И навстречу каруселям
Мчатся, на руки берут
Зараженные весельем
Слева роща, справа пруд.

С перепутья к этим прутьям
Поворот довольно крут,
Детям радость, встретим — крутим,
Слева — роща, справа — пруд.

Пропадут — и снова целы,
Пронесутся — снова тут,
То и дело, то и дело
Слева роща, справа пруд.

Эти вихри скрыты в крыше,
Посредине крыши — столб.
С каждым кругом тише, тише,
Тише, тише, тише, стоп!

1924

ЗВЕРИНЕЦ

Зверинец расположен в парке.
Протягиваем контрамарки.
Входную арку окружа,
Стоят у кассы сторожа.
Но вот ворота в форме грота.
Показываясь с поворота
Из-за известняковых груд,
Под ветром серебрится пруд.

Он пробран весь насквозь особым
Неосвязаемым ознобом.
Далекое рычанье пум
Сливается в нестройный шум.
Рычанье катится по парку,
И небу делается жарко,

Но нет ни облачка в виду
В Зоологическом саду.

Как добродушные соседи,
С детьми беседуют медведи,
И плиты гулкие глушат
Босые пятки медвежат.

Бегом по изразцовым сходням
Спускаются в одном исподнем
Медведи белые втроем
В один семейный водоем.
Они ревут, плещась и моясь.
Штанов в воде не держит пояс,
Но в стирке никакой отвар
Неймет косматых шаровар.

Пред тем как гадить, покосится
И пол обнюхает лисица.
На лягг и щелканье замков
Похоже лясканье волков.
Они от алчности поджары,
Глаза полны сухого жара, —
Волчицу злит, когда трунят
Над внешностью ее щенят.

Не останавливаясь, львица
Вымеривает половицу,
За поворотом поворот,
Взад и вперед, взад и вперед.
Прикосновение прутьев к морде
Ее гоняет, как на корде;
За ней плывет взад и вперед
Стержней железных переплет.

И той же проволки мельканье
Гоняет барса на аркане,
И тот же брусяной барьер
Приводит в бешенство пантер.
Благовоспитаннее дамы
Подходит, приседая, лама,

Плюет в глаза и сгоряча
Дает неожиданно стрекача.
На этот взрыв тупой гордыни
Грустя глядит корабль пустыни, —
«На старших сдуру не плюют»,
Резонно думает верблюдов.
Под ним, как гребни, ходят люди.
Он высится крутою грудью,
Вздымаясь лодкою гребной
Над человеческой волной.

Как бабьи сарафаны, ярок
Садок фазанов и цесарок.
Здесь осыпается сусаль
И блещут серебро и сталь.
Здесь, в переливах жаркой сажки,
В платке из черно-синей пряжи,
Павлин, загадочный, как ночь,
Подходит и отходит прочь.
Вот он погас за голубятней,
Вот вышел он, и необъятней
Ночного неба темный хвост
С фонтаном падающих звезд!

Корытце прочь отодвигая,
Закусывают попугаи
И с отвращеньем чистят клюв,
Едва скорлупку колупнув.
Недаром от острот отборных
И язычки, как кофе в зернах,
Обуглены у какаду
В Зоологическом саду.
Они с персидскою сиренью
Соперничают в опереньи.
Чем в птичнике, иным скорей
Цвести среди оранжерей.

Но вот любимец краснозадый
Зоологического сада,
Безумьем тихим обуян,
Ослабившийся павиан.

То он канючит подаянья,
Как подобает обезьяне,
То утруждает кулачок
Почесываньем скул и щек,
То бегаёт кругом, как пудель,
То на него находит удаль,
И он, взлетев на всем скаку,
Гимнастом виснет на суку.

В лоханке с толстыми боками
Гниет рассольник с потрохами.
Нам говорят, что это — ил,
А в иле — нильский крокодил.
Не будь он совершенной крошкой,
Он был бы пострашней немножко.
Такой судьбе и сам не рад
Несовершеннолетний гад.

Кого-то по пути минуя,
К кому-то подходя вплотную,
Идем, встречая по стенам
Дощечки с надписью: «К слонам».
Как воз среди сенного склада,
Стоит дремучая громада.
Клыки ушли под потолок.
На блоке вьется сена клок.
Взметнувши с полу вихрь мякины,
Повертывается машина
И подает чуть-чуть назад
Стропила, сено, блок и склад.

Подошву сжал тяжелый обод,
Грохочет цепь и ходит хобот,
Таскаясь с шарком по плите,
И пишет петли в высоте.
И что-то тешется среди суши:
Не то обшарпанные уши,
Как два каретных кожуха,
Не то соломы вороха.

Пора домой. Какая жалость!
А сколько див еще осталось!

Мы осмотрели разве треть,
Всего зараз не осмотреть.
В последний раз в орлиный клеток
Вливается трамвайный рокот,
В последний раз трамвайный шум
Сливается с рычаньем пум.

1924

АСЕВУ

(Надпись на книге «Сестра моя — жизнь»)

Записки завсегда тая
Трех четвертей четвертого,
Когда не к людям — к статуям
Рассвет сады повертывает,

Когда ко всякой всячине
Пути — куда туманнее,
Чем к сердцу миг, охваченные
Росою и вниманием.

На памяти недавнего
Рассвета свеж тот миг,
Когда с зарей я сравнивал
Бессилье наших книг.

Когда живей запомнившись,
Чем лесть, чем ложь, чем лед,
Меня всех рифм беспомощность
Взяла в свое щемло.

Но странно, теми ж щёмами
Был сжат до синяков
Сок яблони, надломленной
Ярмом особняков.

1924

МОРОЗ

Над банями дымятся трубы
И дыма белые бока
У выхода в платки и шубы
Запахивают облака.

Весь жар души двory вложили
В сугробы, тропки и следки,
И рвутся стужи сухожилья,
И виснут визга языки.

Лучи стругают, вихри свёрлят,
И воздух, как пила, остер,
И как мороженная стерлядь
Пылка дорога, бел простор.

Коньки, поленья, елки, миги,
Огни, волненья, времена,
И в вышине струной вязиги
Загнувшаяся тишина.

<1927>

* * *

Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает пережной,
История, нерубленую пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной:

Веками спит плетенье мелких нервов,
Но раз в столетье или два и тут
Стреляют дичь и ловят браконьеров
И с топором порубщика ведут.

Тогда, возней лозин глуша окрестность,
Над чащей начинает возникать
Служилая и страшная телесность,
Медаль и деревяшка лесника.

Трещат шаги комплекции солидной,
И озаренный лес встает от дрём,
Над ним плывет улыбка инвалида
Мясистых щек китайским фонарем.

Не радоваться нам, кричать бы на́ крик.
Мы заревом любимся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик,
И ярок тем, что мертв, как лампион.

<1927>

* * *

Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
Апрельский снег, оплошливый снежок!
Резвись и тай, — земля как пончик в пудре,
И рой огней — как лакомки ожог.

Несись с небес, лишай деревья весу,
Ерошь березы, швабрами шурша.
Ценители не смыслят ни бельмеса,
Враги уйдут, не взявши ни шиша.

Ежеминутно можно глупость ляпнуть,
Тогда прощай охулка и хвала!
А ты, а ты, бессмертная внезапность,
Еще какого выхода ждала?

Ведь вот и в этом диком снеге летом
Опять поэта оторопь и статья —
И не всего ли подлиннее в этом?
. — как знать?

<1929>

* * *

Жизни ль мне хотелось слаще?
Нет, нисколько; я хотел
Только вырваться из чащи
Полуснов и полудел.

Но откуда б взял я силы,
Если б ночью сборов мне
Целой жизни не вместило
Сновиденье в Ирпене?



Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Серый день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Хлопья лягут и увидят:
Синь и солнце, тишь и гладь.
Так и нам прощенье выйдет,
Будем верить, жить и ждать.

1931

* * *

Будущее! Облака встрепанный бок!
Шапка седая! Гроза молодая!
Райское яблоко года, когда я
Буду, как бог.

Я уже пережил это. Я предал.
Я это знаю. Я это отведал.
Зоркое лето. Безоблачный зной.
Жаркие папоротники. Ни звука.
Муха не сядет. И зверь не сигнет.
Птица не порхнет — палящее лето.
Лист не шелохнет — и пальмы стеной.
Папоротники и пальмы, и *это*
Дерево. Это, корзины ранета
Раненной тенью вонзенное в зной,
Дерево девы и древо запрета.
Это и пальмы стеною; и «Ну-ка,
Что там, была не была, подойду-ка».

Пальмы стеною и кто-то иной,
Кто-то как сила, и жажда, и мука,
Кто-то, как хохот и холод сквозной —
По лбу и в волосы всей пятерней, —
И утюгом по лужайке — гадюка.
Синие линии пиний. Ни звука.
Папоротники и пальмы стеной.

1931 ?

* * *

Я понял: всё живо.
Векам. не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.

Спасибо, спасибо:
Трем тысячам лет,
В трудах без разгиба
Оставившим свет.

Спасибо предтечам,
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем
Отплачивать нам.

И мы по жилищам
Пройдем с фонарем
И тоже поищем,
И тоже умрем.

И новые годы,
Покинув ангар,
Рванутся под своды
Январских фанфар.

И вечно, обвалом
Врываясь извне,
Большое в малом
Отдастся во мне.

* * * * *

Железо и порох
Заглядов вперед,
И звезды, которых
Износ не берет.

<1935>

* * *

Все наклоненья и залого
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,¹
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацветал, как курослеп
С суренкой мелкой неврасцеп,

¹ Другое «я», двойник (лат.). — *Ред.*

И пил корнями жженный, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это — лепкою судеб.

Как вдруг — издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

С тех пор всё изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами всё покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные каприччо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он — прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, — не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

<1936>

ПРАВДА

Чего бы вздорного кругом
Вражда ни говорила,
Ни в чем не меряйся с врагом,
Тебе он не мерило.

Ни с кем соперничества нет.
У нас не поединок.
Полмиру затмевает свет
Несметный вихрь песчинок.

Пусть тучи пыли до небес,
Ты высишься над прахом.
Вся суть твоя — противовес
Коричневым рубяхам.

Ты взял над всякой спесью верх
С того большого часа,
Как истуканов ниспроверг
И вечностью запася.

Пусть у врага винты, болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине.

1941

1917—1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишениям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной неповинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942

СПЕШНЫЕ СТРОКИ

Чувствовалась близость фронта.
Разговор катюш
Заносило с горизонта
В тыловую глушь.

И когда гряда позиций
Отошла к Орлу,
Всё задвигалось в столице
И ее тылу,

Помню в поездах мороку,
Толчею подвод,
Осень отводил к востоку
Сорок первый год.

Помнится искус бомбежек,
Хриплый вой сирен,
Щеткою торчавший ежик
Улиц, крыш и стен.

Тротуар под небоскребом
В страшной глубине
Мертвым островом за гробом
Представлялся мне.

И когда от бомбы в небо
Кинуло труху,
Я и Анатолий Глебов
Были наверху.

Чем я вознесен сегодня
До семи небес,
Точно вновь из преисподней
Я на крышу влез?

Я сейчас спущусь к жилищам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой.

Я скажу: долой суровость!
Белую на стол!
Сногшибательная новость:
Возвращен Орел.

Я великолепно помню
День, когда он сдан.
Было жарко, словно в домне,
И с утра — туман.

И с утра пошло катиться,
Побежало вширь:
Отдан город, город — птица,
Город — богатырь.

Но тревога миновала.
Он освобожден.
Поднимайтесь из подвала,
Выходите вон!

Слава павшим. Слава строем
Проходящим вслед.
Слава вечная героям
И творцам побед!

7 августа 1943

ЗАРЕВО

<Начало поэмы>

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Нас время бáлует победами,
И вещи каждую минуту
Всё сказочнее и неведомей
В зеленом зареве салюта.

Все смотрят, как ракета, падая,
Ударится о мостовую,
За холостую канонадою
Припоминая боевую.

На улице светло, как в храмине,
И вид ее не узнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии, нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рошицы,
Где в черном кружеве, узорясь,
Ночное зарево полощется
Сквозь веток реденькую прорезь.

И он сухой листвою шествует
На пункт поверочно-контрольный
Узнать, какую новость чествуют
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию,
Которой он и сам участник,
И он столбом иллюминации
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится.
Опять с педалями нет сладу.
Ругаясь, как казак на Хортице,
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к ветлам, стелющим
Вдоль по лугу холсты тумана,
И остается перед зрелищем,
Прикованный красой неожиданной.

Болотной непроглядной гущею
Чернеют заросли заречья,
И город, яркий, как грядущее,
Вздывается из тьмы навстречу.

Он думает: «Я в нем изведаю,
 Что и не снилось мне доселе,
 Что я купил в крови победу
 И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся,
 Но, точно в сновиденьи вещем,
 Еще привольнее отстроимся
 И лучше прежнего заблещем».

Пока мечтами горделивыми
 Он залетает в край бессонный,
 Его протяжно, с перерывами
 Зовет с дороги рев клаксона.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В искатели благополучия
 Писатель в старину не метил.
 Его герой болел падучею,
 Горел и был страданьем светел.

Мне думается, не прикрашивай
 Мы самых безобидных мыслей,
 Писали б, с позволенья вашего,
 И мы, как Хемингуэй и Пристли.

Я тьму бумаги перепачкаю
 И пропасть краски перемажу,
 Покамест доберусь раскачкою
 До истинного персонажа.

Зато без всякой аллегории
 Он — зарево в моем заглавьи,
 Стрелок, как в песнях Черногории,
 И служит в младшем комсоставе.

Всё было громко, неожиданно,
И спор горяч и чувства пылки,
И всё замолкло, всё раскидано.
Супруги спят. Блестят бутылки.

С ней вышел кто-то в куртке хромовой.
Она смутилась: «Ты, Володя?
Я только выпущу знакомого».
— «А дети где?» — «На огороде.

Я их тащу домой, — противятся».
— «Кого ты это принимала?»
— «Делец. Приятель сослуживицы.
Достал мне соды и крахмалу.

Да, подвигам твоим пред родиной
Здесь все наперечет дивятся.
Все говорят: звезда Володина
Уже не будет затмеваться.

Особенно с губою заячьей
Пристал как банный лист поганый:
— Вы заживете припеваючи...»
— «Повесь мне полотенце в ванну».

Ничем душа не озадачена
Его дражайшей половины.
Набит нехитрой всякой всячиной,
Как прежде, ум ее невинный.

Обыкновенно на помадится,
Табак, цыганщина и гости.
Как лямка, тяжкая нескладница,
И дети бедные в коросте.

А он не вор и не пропойца,
Был ранен, захватил трофеи...
И он, раздевшись, жадно моется
И мылит голову и шею.

Ах это своеволие Катина!
 Когда ни вспомнишь, перепалка
 Из-за какой-нибудь пошлятины.
 Уйти — детей несчастных жалко.

Детей несчастных и племянницу.
 Остаться — обстановка давит.
 Но если с ней он и расстанется,
 Детей в беде он не оставит.

Людей переродило порохом,
 Дерзанием, смертельным риском.
 Он стал чужой мышинным шорохам
 И треснувшим горшкам и мискам.

Как он изменит жизни воина,
 Бесстрашью братии бродячей,
 Лесам, стоянке неустроенной,
 Боям, поступкам наудачу!

А горизонты с перспективами!
 А новизна народной роли!
 А вдаль летящее прорывами
 И победившее раздолье!

А час, пробивший пред неметчиной,
 И внятно — за морем и дома
 Всем человечеством замеченный
 Час векового перелома!

Ай время! Ай да мы! Подите-ка,
 Считали: рохли, разгильдяи.
 Да это ж сон, а не политика!
 Вот вам и рохли. Поздравляю.

Большое море взбаламучено!
 И видя, что белье закапал,
 Он всё не попадает в брючину
 И, крикнув, ставит ногу на пол.

«Дай мне уснуть. Не разговаривай.
Нельзя ли, право, понормальней».
Он видит сон. Лесное зарево
С горы заглядывает в спальню.

Он спит, и зубы сжаты в скрежете.
Он стонет. У него диалог
С какой-то придорожной нежитью.
Его двойник смешон и жалок.

«Вам не до нас, такому соколу.
В честь вас пускают фейерверки.
Хоть я всё время терся около,
Нас не видать, мы недомерки.

Нет этих мест непроходимее.
Я в город с погребенья тети,
Но малость нагрузился химией.
Нам по пути. Не подвезете?

Над рощей буквы трехаршинные
Зовут к далеким идеалам.
Вам что, вы со своей машиною,
А пехтурою, пешедралом?

За полосатой перекладиной,
Где предъявляются бумаги,
Прогалина и дачка дядина.
Свой огород, грибы в овраге.

Мой дядя жертва беззакония,
Как все порядочные люди.
В лесу их целая колония,
А в чем ошибка правосудия?

У нас ни ведер, ни учебников,
А плохи прачки, педагоги.
С нас спрашивают, как с волшебников,
А разве служащие — боги?»

— «Да, боги, боги, слякоть клейкая,
Да, либо боги, либо плесень.
Не пользуйся своей лазейкою,
Не пой мне больше старых песен.

Нытьем меня своим пресытили,
Ужасное однообразье.
Пройди при жизни в победители
И волю ей диктуй в приказе.

Вертись, как бес перед заутреней,
Перед душою сердобольной,
Ты подменял мой голос внутренний.
Я больше не хочу. Довольно».

6

«Володя, ты покрыт испариной.
Ты стонешь. У тебя удушье?»
— «Во сне мне новое подарено,
И это к лучшему, Катюша.

Давай не будем больше ссориться.
И вспомним, если в стенах этих
Оно когда-нибудь повторится,
О нашем будущем и детях».

Из кухни вид. Оконце узкое
За занавескою в оборках,
И ходики, и утро русское
На русских городских задворках.

И золотая червоточина
На листьях осени горбатой,
И угол, бомбой развороченный,
Где лазали его ребята.

Октябрь 1943

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградой вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут всё — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима — как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене.—
Твое огромное надгробье;
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943

ОДЕССА

Земля смотрела именинницей
И всё ждала неделю эту,
Когда к ней избавитель кинется
Под сумерки или к рассвету.

Прибой рычал свою невнятицу
У каменистого отвеса,
Как вдруг все слышат, сверху катится:
«Одесса занята, Одесса».

По улицам, давно не езженным,
Несется русский гул веселый:
Сапер занялся обезвреженьем
Подъездов и домов от тола.

Идет пехота, входит конница,
Гремя тачанки и телеги.
В беседах время к ночи клонится,
И нет конца им на ночлеге.

А рядом в яме череп скалится,
Раскинулся пустырь безмерный.
Здесь дикаря гуляла палица,
Прошелся человек пещерный.

Пустыми черепа глазницами
Глядят головки иммортелей
И населяют воздух лицами,
Расстрелянными в том апреле.

Зло будет отмщено, наказано,
А родственникам жертв и вдовам
Мы горе облегчить обязаны
Еще каким-то новым словом.

Клянемся им всем русским гением,
Что мученикам и героям
Победы одухотворением
Мы вечный памятник построим.

1944

БЕССОННИЦА

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.
А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

1953

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон,

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

1953

НЕЖНОСТЬ

Ослепляя блеском,
Вечерело в семь.
С улиц к занавескам
Подступала темь.

Люди — манекены,
Только страсть с тоской
Водит по вселенной
Шарящей рукой.

Сердце под ладонью
Дрожью выдает
Бегство и погоню,
Трепет и полет.

Чувству на свободе
Вольно налегке,
Точно рвет поводья
Лошадь в мундштуке.

АКТРИСА

Анастасии Платоновне Зуевой

Прошу простить. Я сожалею,
Я не смогу. Я не приду.
Но мысленно — на юбилее,
В оставленном седьмом ряду.

Стою и радуюсь, и плачу,
И подходящих слов ищу,
Кричу любые наудачу,
И без конца рукоплещу.

Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

Меняются репертуары,
Старееет жизни ералаш.
Нельзя привыкнуть только к дару,
Когда он так велик, как Ваш.

Он опрокинул все расчеты
И молодеет с каждым днем,
Есть сверхъестественное что-то
И что-то колдовское в нем.

Для Вас в мечтах писал Островский
И Вас предвосхищала в ролях,
Для Вас воздвиг свой мир московский
Доносчиц, приживалок, свах.

Движеньем кисти и предплечья,
Ужимкой, речью нараспев.

Воскрешено Замоскворечье
Святых и грешниц, старых дев.

Вы — подлинность, Вы — обаянье,
Вы вдохновение само.
Об этом всем на расстояньи
Пусть скажет Вам мое письмо.

22 февраля 1957.

* * *

В разгаре хлебная уборка,
А урожай — как никогда.
Гласит недаром поговорка:
Берут навалом города.

Как в океане небывалом,
В загаре и пыли до лба,
Штурвальщица крутым увалом
Уходит на версты в хлеба.

Людей и при царе Горохе,
Когда владычествовал цеп,
Везде, всегда, во все эпохи
К авралу звал поспевший хлеб.

Толпились в поле и соломе,
Тонули в гаме голоса.
Локомотили экономий
Плевались дымом в небеса.

Без слов, без шуток, без ухмылок,
Батрачкам наперегонки,
Снопы к отверстиям молотилок
Подбрасывали батраки.

Всех вместе сталкивала спешка,
Но и в разгаре молотьбы
Мужчина оставался пешкой,
А женщина — рабой судьбы.

Теперь такая же горячка, —
Цена ее не такова,
И та, что встарь была батрачкой,
Себе и делу голова.

Не может скрыть сердечной тайны
Душа штурвальщицы такой.
Ее мечтанья стук комбайна
Выбалтывает за рекой.

И суть не в красноречьи чисел,
А в том, что человек окреп.
Тот, кто от хлеба так зависел,
Стал сам царем своих судеб.

Везде, повсюду, в Брянске, в Канске,
В степях, в коях, в домах, в умах —
Какой во всем простор гигантский!
Какая ширь! Какой размах!

1957

РАННИЕ РЕДАКЦИИ

«КОГДА ЗА ЛИРЫ ЛАБИРИНТ...»
(стр. 66)

Эдем

Н. Асееву

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево глины слижет Инд,
А вправо уйдет Евфрат.

Горит немислимый Эдем
В янтарных днях вина,
И небывалым бытием
Точатся времена.

Минуя низменную тень,
Их ангелы взнесут.
Земля — сандалины ремень,
И вновь Адам — разут.

И солнце — мертвых губ пробел
И снег живых мощей
Того, кто всей вселенной бдел
Предсолнечных ночей.

Ты к чуду чуткость приготовь
И к тайне первых дней:
Курится рубежом любовь
Между землей и ней.

СОН
(стр. 67)

* * *

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Терялась ты в снедающей гурьбе.
Но, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Припомню ль сон, я вижу эти стекла
С кровавым плачем, плачем сентября;
В речах гостей непроходимо глохла
Гостиная ненастьем пустыря.

В ней таял день своей лавиной рыхлой
И таял кресел выцветавший шелк,
Ты раньше всех, любимая, затихла,
А за тобой и самый сон умолк.

И — пробужденье. День осенний темен,
И ветер — кормчим увозимых грез.
За сном, как след роняемых соломин,
Отсталое падение берез,

Но в даль отбытья, в даль летейской гребли
Грустя, грустя гляжу я, блудный сын,
И подберу, как брошенные стебли,
Пути с волнистым посвистом трясин.

«СЕГОДНЯ С ПЕРВЫМ СВЕТОМ ВСТАНУТ...»

(стр. 69)

* * *

Ал. Ш.

Παρθενία, παρθενία,
ποὶ με λιποῖσ' οἴχῃ

Σαφρῶ 1

Вчера, как бога статуэтка,
Нагой ребенок был разбит.
Плачь! Этот дождь за ветхой веткой
Еще слезой твоей не сыт.

¹ Девственность, девственность, куда ты от меня уходишь?..
Сафо (греч.). — Ред.

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера,
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва ль успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.

Они узнают тот, сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт.

Они узнают на гиганте
Следы чужих творивших рук,
Они услышат возглас: «Встаньте
Четой зиждительных услуг!»

Увы, им надлежит отныне
Весь облачный его объем
И весь полет гранитных линий
Под пар изборождать вдвоем.

О, запрокинь в венце наносном
Подрезанный лобзанием лик.
Смотри, к каким великим веснам
Несет окровавленный миг!

И рыцарем старинной Польши,
Чей в топях погребен галоп,
Усни! Тебя не бросит больше
В оружии девственных озноб.

ВОКЗАЛ
(стр. 69)

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный, верный рассказчик,
Границы горюнивший люк.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь только составлен резерв;
И сроком дымящихся гарпий
Влюбленный терзается нерв;

Бывало, посмертно задымлен
Отбитый ее горизонт,
Отсутствуют профили римлян
И как-то нездешен beau monde.¹

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал,
И в пепле, как mortuum carit,²
Ширяет крылами вокзал.

И трубы склоняют свой факел
Пред тучами траурных месс.
О, кто же тогда, как не ангел,
Покинувший землю экспресс?

И я оставался и грелся
В горячке столицы пустой,
Когда с очевидностью рельса
Два мира делились чертой.

ВЕНЕЦИЯ
(стр. 70)

А. Л. Ш.

Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло сонною стоянкой,
Безлюдье висло от весла.

Висел созвучьем Скорпиона
Трезубец вымерших гитар,
Еще морского небосклона
Чадящий не касался шар;

¹ Высший свет (франц.). — *Ред.*

² Мертвая голова (лат.) — название ночной бабочки. — *Ред.*

В краю подвластных зодиакам
Был громко одинок аккорд.
Трехжалым не встревожен знаком,
Вершил свои туманы порт.

Земля когда-то оторвалась,
Дворцов развернутых тесьма,
Планетой всплыли арсеналы,
Планетой понеслись дома.

И тайну бытия без корня
Постиг я в час рожденья дня:
Очам и снам моим просторней
Сновать в туманах без меня.

И пеной бешеных цветений,
И пеною взбешенных морд
Срывался в брезжущие тени
Руки не ведавший аккорд.

ЗИМА
(стр. 71)

Вере Станевич

Прижимаюсь щекою к улитке
Вкруг себя перевитой зимы:
Полношумны раздумия в свитке
Котловинной, бугорчатой тьмы.

Это раковины ли сказанье,
Или слуха покорная сонь;
Замечтавшись, слагает пыланье
С камелька изразцовый огонь.

Под горячей щекой я нащупал
За подворья отброшенный шаг.
Разве нынче и полночи купол
Не разросшийся гомон в ушах?

Подымаются вздохи отдушн,
Одинок заклатье; «Распрячь!»

Черным храпом карет перекушен
За подвал подтекающий плач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

Над пучиною черного хода,
Истерзавши рубашку вконец, —
Обнаженный, в поля, на свободу
Вырывается бледный близнец.

Это — жуткие всё прибаутки
И назревшие невдалеке,
Их зима из ракушечьей будки
Нашептала горячей щеке.

И о том, веселился иль плакал
И любим пешеход иль нелюб,
Мне споет океанский оракул
Перламутровой полостью губ.

ПИРЫ
(стр. 72)

Пиршества

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь,
И в них твоих измен горящую струю,
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Земли хмельной сыны, мы трезвости не терпим,
Надежде детских дней объявлена вражда.
Унылый ветер ночей — тех здравиц виночерпьем,
Которым, как и нам, — не сбыться никогда.

Не ведает молва тех необычных трапез,
Чей с жадностью ночь опустошит крющон,
И крохи яств ночных скитальческий анапест
Наутро подберет, как крошка Сандрильон.

И Золушки шаги, ее самоуправство
Не нарушают графства чопорного сна,
Покуда в хрустальных неубранные яства
Во груды тубероз не превратит она.

«ВСТАВ ИЗ ГРОХОЧУЩЕГО РОМБА...»

(стр. 72)

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан plombой
Неизбываемых дождей.

Под ясным небом не ищите
Меня в толпе приветных муз,
Я севером глухих наитий
Самозабвенно обоймусь.

О, всё тогда — в кольце поэмы:
Опалины опалых роз,
И тайны тех, кто — тайно немы,
И тех, что всходят восходом гроз;

О, всё тогда — одно подобье
Моих возропотавших губ,
Когда из дней, как исподлобья,
Гляжусь в бессмертия раструб.

Взглянув в окно, даю проспекту
Моей походкою играть...
Тогда, ненареченный некто,
Могу ли что я потерять?

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

(стр. 73)

* * *

И. В.

Не подняться дню в усилиях светилен,
Не совлечь земле крещенских покрывал.
Но, как и земля, бывалым обесснен,
Но, как и снега, я к перети дней припал.

Далеко не тот, которого вы знали,
Кто я, как не встречи краткая стрела?
А теперь — в зимний глухнушем забрале —
Широта разлуки, пепельная мгла.

А теперь и я недрогнувшей портьерой
Тяжко погребу усопшее окно,
Спи же, спи же, мальчик, и во сне уверуй,
Что с тобой, былым, я, нынешний, — одно.

Нежится простор, как дымногрудый филин,
Дремлет круг пернатых и незрячих свеч.
Не подняться дню в усилиях светилен,
Покрывал крещенских ночи не совлечь.

ДВОР
(стр. 74)

Посвященье

Мелко исписанный снежной крупой,
Двор, — ты как приговор к ссылке,
На недоед, недосып, недопой,
На боль с барабанным боем в затылке!

Двор! Ты, покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен;
Шин и полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв октября расковырян

Старческим ногтем небес, октября
Старческим ногтем, и старческим ногтем
Той, что, с утра подступив к фонарям,
Кашляет в шали и варит декокт им.

Двор, этот вихрь, что, как кучер в мороз,
Снегом порос и по брови нафабрен
Снегом закушенным, — он перерос
Черные годы окраин и фабрик.

Вихрь, что, как кучер, облеплен; как он,
Снегом по горло набит; и, как кучер,

Взят, перевязан, спален, ослеплен,
Задран и к тучам, как кучер, прикручен.

Двор, этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка, с налету,
Он объявленьем налипнет к стене:
Люди, там любят и ищут работу!

Люди! Там ярость сановней моей.
Люди! Там я преклоняю колени.
Люди, там, словно с полярных морей,
Дует всю ночь напролет с Откровенья.

Крепкие тьме — полыханьем огней,
Крепкие стуже — стрельбою поленьев!
Стужа в их песнях студеней моей,
Их откровений темнее затмение!

С улиц взимает зима, как баскак,
Шубы и печи и комнат убранство,
Знайте же, — зимнего ига очаг
Там, у поэтов, в их нищенском ханстве.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от ночи в поэме — свечою.
Полным фужером — когда впопыхах
Опохмеляется дух с перепоею.

И без задержек, и без полуслов,
Но от души заказной бандеролью
Вина, меха, освещение и кров
Шлите туда, в департаменты голи.

ДУРНОЙ СОН

(стр. 75)

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,
Прислушайся к захлесням чахлых бесснежий.
Разбиться им не обо что, — и заносы
Чугунною цепью проносятся по снегу.

Пронесется чересполосицей, поездом,
Сквозь черные десны деревьев на сносе,
Сквозь десны заборов, сквозь десны трущоб.

Сквозь тес, сквозь леса, сквозь кромешные десны
Чудес, что приснились Небесному Постнику,
Он видит: попадали зубы из челюсти
И шамкают замки, поместия — с пришептом,
Всё вышиблено, ни единого в целости!
И постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов
Он двинуться хочет — не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов, —
И видит еще. Как назем огородника,
Всю землю сравнивали с землей сегодня.
Не верит, чтоб месяц распаренный выплыл
За косноязычную далью в развалинах,
За челюстью дряхлой, за опочивальней,
На бешеном стебле, на стебле осиплом,
На стебле, на стебле зимы измочаленной.

Нет, бледной, отеклой, одутлою тыквой
Со стебля свалился он в ближнюю рытвину,
Он сорван был битвой, и, битвой подхлестнутый,
Шаром откатился в канаву с откоса —
Сквозь десны деревьев, сквозь черные десны
Заборов, сквозь десны щербатых трущоб.

Пройдись по земле, по баштану помешанного,
Здесь распорядились бахчой ураганы.
Нет гряд, что руки игрока бы избегли.
Во гроб, на носилки ль, на небо, на снег ли
Вразброд откатились калеки, как кегли,
Как по небу звезды, по снегу разъехались.
Как в небо посмел он играть, человек?

Прислушайся к вьюге, дресвою процеженной,
Сквозь дряхлые десны древесных бесснежных.
Разбиться им не обо что, и заносы,

Как трещины черные, рыскают по снегу,
Пронесется поездом, грозно пронесется
Сквозь тес, сквозь леса, сквозь кровавые десны...

И снится, и снится Небесному Постнику —

ЛЕДОХОД
(стр. 87)

Заря на севере

Сквозь снег чернеется кадык
Земли. Заря вздымалась грудью.
Глаза зари в глаза воды
Глядят, зимуя в изумруде.

Залив клещом впился в луга,
И с мясом только вырвешь вечер
Из десен топи. Берега,
Как уголь, точны и зловещи.

Свежо, как семга, солнце, в лед
Садясь. Как лосось в ломти,
Изрезан льдом и лоском вод
Закат на плоском горизонте.

Течение ест зарю. Прудят
Поток объединенные ветки
С кистями красных ягод. Яд
Сочат намокшие объедки.

Река отравлена. Волны
Движенья мертвы и нетрезвы,
Но льдин ножи обнажены,
И стук стоит зеленых лезвий.

И ни души. Один лишь хрип
Слепой, случайный хрип ножовый;
В глуши, на плахе глыб погиб
Дар песни, сердца, смеха, слова.

ВЕСНА
(стр. 89)

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы —
Им, ветреницам, холодно.

По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички, —
Им, ветреницам, холодно.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
(стр. 95)

* * *

За окнами давка, толпится листва
И палое небо с дорог не подобрано.
На крик «Запирай!» — попиралась трава,
И вот всё развенчано, смыто и попрано.

Крепчает небес разложившихся смрад,
Смрад сосен и дерна, и теса и тополя,
Толченые травы текут и горят,
Их жилы порвались, сплелись и полопались.

Со стекол балконных, как с бедер и плеч
Купальщиц, парами прохладными обданных,
Стекает тускнеющий блеск — и залечь
Плетется по трупам каштанов растоптанных.

И вот распластался он. Вот он залег,
На пни заглядевшись, прочно и надолго,
Но миг недалек, как кривой уголек
В кустах разожжется и высечет радугу.

БАЛЛАДА

(стр. 96)

Бывает, курьером на бóрзом
Расскается сердце, и точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей — топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
Кому кого жалеть?
С платка текла распутица
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо,
И штемпеля вклепал,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Песок горел пощечиной,
Неотомщенной в срок,
Несмытой, неоплоченной
Заушиной дорог.

Бряцал мундштук закушенный;
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Оскрётки большака.

Не видно ни зги,
По аллее
Топчут пчел сапоги.
Ни зги.
В руке у лакея —
Фонарь. В глазах — круги.

Как белая пена, бела балюстрада.
И факел привратника, как брадобрей.

Сбривает газоны с сада.
Сбривает людей —
Сбривает людей:
До самых дверей.

Мне надо

Видеть графа!
Затем, что ропот стволов — баллада,
Затем, что дыханья не переводя,
Мутясь, мятется ночь измлада,
Затем, наконец, что — баллада, баллада,
Монетный двор дождя.

Мне надо его видеть — с железного ската
Стекаая гербом по каретной коре,
Из слякоти ливень чеканит дукаты
И лепит копейки на медном дворе.

Мне надо его видеть — затем, что стихийно
Над графством шафран сентября залинял
И листья осин, как из цинка цехицы,
Усеяли парк, как прилавок менял.

Шуршат со смертельной фальшью.
В паденьи — шепот пшена,
А дальше — пруды, а дальше —
Змеєю гниет тишина.

И так же фальшивит фашишник,
И как-то сквозь сон, не всерьез
В паденьи повисли вершины
Пастушески пестрых берез.

Довольно,
Мне надо
Видеть
Графа.

Я несся бедой в проводах телеграфа,
Вдали клокотали клочки зарниц,
В котлах, за зубцами лесных бойниц.

Стояла тишь гробовая,
Лапшу полыханий похлебывало
Из черных котлов, забываясь,
В одышке, далекое облако.

Сбегает краска с лица консьержа,
В слова посетителя вкрался пароль,
Лицо наклоняется. Гость еще сдержан,
Но очи очам прохрипели: открой!

.....

К заветным окнам припала челядь,
И сыплется рыхлая тишь с высоты,
То норы с ослепшими звездами делят
И полночь неслышно буравят кроты.

.....

Роса затянула ознобом курганы,
За шторой внезапно замолкли шаги,
Когда в дремоносные сосны органа
Впился — весь отчаянье — вопль пустельги.

.....

МЕЛЬНИЦЫ
(стр. 100)

Над свежевзрытой тишиной,
Над вечной памятию лая,
Семь тысяч звезд за упокой,
Как губы бледных свеч, пылают..

Как губы шепчут, как руки вяжут,
Как вздох невнятен, как кисти дряхлы,

И кто узнает, и кто расскажет —
Чем, в их минувшем, дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится,
Звездами связанный, хоть палец высвободить,
Ведь даже мельницы, *о даже мельницы!*
Окоченели на лунной исповеди.

Им ветер был роздан,
А нового нет,
Они же, как звезды,
Заимствуют свет
У света.

И веянье крыл у надкрыльев
Жуков, и головокружение голов,
От пыли, головокружительной пыли
И от плясовых головшшек костров —

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки
И резко, и изредка лишь — серебром, —

Тогда просыпаются мельничные тени,
Их мысли ворочаются, как жернова,
И они огромны, как мысли гениев,
И тяжеловесны, как их слова;

И, как приближенные их, они приближены
Вплотную, саженные, к саженым глазам,
Плакучими тучами досуха выжженным
Наподобие общих могильных ям.

И мозгами, усталыми от дальней пожалованных,
И валами усталых мозгов
Грозовые громады они перемалывают
И ползучие скалы кучевых облаков —

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака —
И в подобные ночи под небом нет вотчины,
Чтоб бездомным глазам их была велика.

МАРБУРГ
(стр. 107)

День был резкий и тон был резкий,
Резки были день и тон —
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пеньюар был тонок, как хитон.

Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой — подушка для ног.

Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
И к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.

Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь вы, если по-мужески —
мне больно, довольно, есть мера длине,
тяни, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно —

стенает во мне

Назревшее сердце, мой друг в матинэ?

Вчера я родился. Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь,
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят немногие с мосту.

Инстинкт сохранения, старик подхалим,
Шел рядом, шел следом, бок о бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».

Шагни, и еще раз, — твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путаный, древний, сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

Плитняк раскалялся. И улицы лоб
Был смугл. И на небо глядел исподлобья
Бульжник. И ветер, как лодочник, греб
По липам. И сыпало пылью и дробью.

Лиловую медью блистала плита,
А в зарослях парковых очи хоть выколи,
И лишь насекомые к солнцу с куста
Слетают, как часики спящего тикая.

О, в день тот, как демон, глядела земля,
Грозу пожирая, из трав и кустарника,
И небо, как кровь, затворялось, спаясь
О взгляд тот, тяжелый и желтый, как арника.

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Достаточно тягостно солнце мне днем,
Что стынет, как сало в тарелке из олова,
Но ночь занимает весь дом соловьем,
И дом превращается в арфу Эолову.

По стенам испуганно мечется бой
Часов и несется оседланный маятник,
В саду — ты глядишь с побелевшей губой —
С земли отделяется каменный памятник.

Тот памятник — тополь. И каменный гость
Тот тополь: луна повсеместна и целостна,
И в комнате будут — и белая кость
Березы, и прочие окаменелости.

Повсюду портпледы разложит туман,
И в каждую комнату всунут по месяцу.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.

По лестнице черной легко босиком
Свершить замечательнейшую экскурсию.

Лишь ужасом белым оплавится дом
Да ужасом черным — трава и настурции.

В экскурсию эту с свечою идут,
Чтоб видели очи фиалок и крокусов,
Как сомкнуты веки бредущего. Тут
Вся соль — в освещеньи безокого фокуса.

Чего мне бояться? Я тверже грамматики
Бессонницу знаю. И мне не брести
По голой плите босоногим лунатиком
Средь лип и берез из слоновой кости.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь — король. Королева — бессонница.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

ЛЮБКА
(стр. 210)

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша со сплющенной блесной.
Тугие капли в сонных рыльцах свечек.

О них и речь, холодным сосняком
Задоренных до солнца в каждой мочке.
Они живут, селясь особняком,
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай
И день захлопывает свой гербарий,
Пытаются они озорничать
В порядочном кругу иван-да-марья.

Цветов ничтожных мира, может быть,
Они всего ничтожнее, пока в них
Не сходит ночь, которой полюбить
Ни девственник не в силах, ни похабник.

Дыша внушеньем диких орхидей,
Кто пряностью не поперхнетя? Разве
Один поэт, лова в их духоте
Неведение о чистоте и грязи.

Зовут их любкой. Александр Блок,
Сестра, жена и сын — ночной фиалкой.
Зовет и город, да и я далек
От истины — и мне ее не жалко.

СПЕКТОРСКИЙ

(стр. 304)

После строки: «И елка иглы осыпает в крем...»

Когда рубашка врезалась подпругой
В углы локтей и без участия рук,
Она зарыла на плече у друга
Лица и плеч сведенных перепуг.

То не был стыд, ни страсть, ни страх устоев,
Но жажда тотчас и любой ценой
Побыть с своею зябкой красотой,
Как в зеркале, хотя бы миг одной.

Когда ж потом трепещущую самку
Раздел горячий ветер двух кистей,
И сердца два качнулись ямка в ямку,
И в перекрестный стук грудных костей

Вмешалось два осатанелых вала,
И, задыхаясь, собственная грудь
Ей голову едва не оторвала
В стремленьи шеи любящим свернуть,

И страсть устала гривою бросаться,
И обожанья бурное русло
Измученную всадницу матраца
Уже по стрежню выпрямив несло,

По-прежнему ее, как и вначале,
Уже почти остывшую как труп,
Движенья губ каких-то восхищали,
К стыду прегорько прикушенных губ.

*Конец 2-й
главы*

Метель тех дней! Ночных запойных туч,
Встав поутру, ничем не опохмелишь.
И жалко сна, а состраданье — ключ
К загадке самых величавых зрелищ.

Леса с полями строятся в каре,
И дышит даль нехолостою грудью,
Как дышат дула полевых орудий,
И сумерки — как маски батарей.

Как горизонт чудовищно вынослив!
Стоит средь поля, всюду видный всем.
Стоим и мы, да валимся, а после
Ложимся под вснки из хризантем.

«Нет, я рехнусь! Он знает всё, скотина.
Так эти монологи лишний труд?
Молчать, кричать? Дышать зимы картиной?
Так уши, отморозив, снегом трут.

Послушайте! Мне вас на пару слов.
Я Ольгу полюбил. Мой долг...» — «Так что же?
Мы не мещане, дача общий кров.
Напрасно вы волнуетесь, Сережа».

Гл. 5

С вокзала брат полпелся на урок.
Он рад был дать какой угодно откуп,
Чтоб не идти, но, сонный, как сурок,
Покорно брел на Добрую Слободку.

Пятиэтажный дом был той руки,
Где люди пьют и мрут и кошки гадят,
Хиреют в кацавейках старики,
И что ни род, то сумасшедший прадед.

Про этот ад, природный лицемер,
Парадный ход умалчивал в таблицах.
Вот отчего поклонники химер
Предпочитали с улицы селиться.

По вечерам он выдувал стекло
Такой игры, что выгорали краски,
Цвели пруды, валился частокол,
И гуще шел народ по Черногрязской.

С работ пылит ватага горемык.
Садится солнце. Приработок прожит.
Им не видать конца, и в нужный миг
За ними можно прозевать Сережу.

Но вот он пулей из-за тупика,
И — за угол, и, расплывясь в гримасу,
Бултых в толпу, кого-то за бока,
И — в сторону, и — ну с ним обниматься.

Их возгласы увозят на возах,
Их обступают с гулом колокольным,
Завязывают заревом глаза
И оставляют корчиться на кольях.

В кустах калины слышат их слова.
Садовая не придает им весу.
Заря глотает пиво и права,
Что щурится и точно смотрит пьесу.

Кирпич кармином капает с телег.
Снуют тела, и тени расторопней
Пластаются по светлой пастиле,
И тонут кони в заревом сироне.

Затем кремень твердеет в кутерьме
Подушками похолодевшей лавы,

И пахнет, как крахмал и карамель
В стеклянной тьме колониальных лавок.

Прислушаемся всё ж: «Вообрази,
Я чувствовал!» — «И я». — «Ты рад?» — «Безмерно!»
«Но объясни. .!» — «Мне завтра на призыв».
— «И ты давно? . .» — «Вчерашний день из Берна».

Нечаянности, новости. Другьям
В один подъезд. Попутный комментарий.
«Мне на урок, а ты-то в чьи края?»
— «Ты — маяться, а я других мытарить».

Ответ неясен, да и лень вникать.
Площадки гулким хором обещают
Подняться в пятый от ученика
И без хозяев поболтать за чаем.

Кому предназначался этот пыл?
Откуда столько наигрыша в тоне?
Кто ж вызвал эти чувства? Это был
Престранный тип с душой о паре доньев.

Благодаря ее двойному дну
Он слыл еще у близких единицей.
Едва ль там знали, что на то и нуль,
Чтоб сообразно мнимости цениться.

Заклятый отрицатель, враг имен,
Случайно он не стал авторитетом:
Я знаю многих, не дельней, чем он,
Себе карьеру сделавших на этом.

Довольно серый отпрыск богачей,
Он в странности драпировал безделье.
Зачем он трогал Ницше? Низачем.
Затем, что книжки чеков шелестели.

Однако рано забегать вперед.
Условимся пока смотреть сквозь пальцы,
Как человек лавирует и врет,
Блажит и носит имя Сашки Бальца.

Хотя пожар погас на пустырях,
Не так легко расстаться с чердаками.
Закату жалко этих растерях,
Забитых круглодневным чертыханьем.

Подобно стаду, с городских кладбищ
Бредет и блеет вечера остаток,
И сердце длинным нащелком, как бич,
Всё чащеогревает это стадо.

Оно давно в тоске, благодаря
Клопам и кляксам, векселям и срокам.
Ему навязан дылда в волдырях,
В суконной форме тайного порока.

Что это было? Кто его прервал?
Назад, назад! С какой он выси свергся!
Сперва ж однако... Никаких «сперва»!
Плевать ему на выродков и Ксерксов!

Ах, всё равно. О, боже! Он кишит
Их рассказами, точно дом — клопами.
Все ездили, а он к Москве пришит,
Хоть и в утробе знал ее на память.

Как им везет! Наташа, Сашка... Жаль,
Но всё их знание — одного покроя.
К кому ж пойдешь? Одна ночная даль
Приемлемые заключенья строит.

Она их строит из ветвей и звезд.
Как дикий розан в ворсяных занозах,
Весь воздух дня, весь гомон, весь извоз,
Вся улица — в шипах ее прогнозов.

Вот и сейчас в окно, как сквозь надрез,
Сочится смех, и крепнет вишни привкус,
И скачет чиж, и вечер детворе
Грядущей жизни делает прививку.

Возиться с Сашкой? А за что? За то,
Что этот уж и впрямь не жнет, не сеет?

Он вновь женат. С какой он простотой
Меняет их, как все свои затеи!

Ведь он дешевка, пестрый аграмант.
А может, и того еще махровой.
Да лишь пошляк и ярк, как роман,
И не стеснен своею скучной кровью.

Холодный гул перил пошел в подъем,
И вышиб дверь и съехал вниз, как льдина.
Ударило столовым бытием.
Он очутился в гуще пестрядиной.

Курили, ржали, чашки покачнув,
Все двинулись. Под желтой лампой плавал
И падал на пол спутавшийся шнур
Восьми теней и им сужденных фабул.

Ничем не собираясь удивлять,
Он сел в углу, и разговор иссякший
Возобновился с шумом. Сам-девят,
Он никого не знал тут, кроме Сашки.

Естественно, что между чьих-то фраз
Вставлял и он свои, и все смеялись,
Но тут же забывал их каждый раз,
Далекий, как вчерашний постоялец.

Возможно, тут не одному ему
Не так легко на это всё смотрелось,
И схваченная в сроки, как в кайму,
И чья-нибудь еще томилась зрелость.

Но так кипел словесный пустоцвет,
Что вышивки и клобуки растений
Объединялись в высшем естестве
Из чувства отвращения к этой сцене.

Гл. 9 Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
(вместо 17— В зрачках, уставших от чужих перин,
25 строф) Блеснуло что-то яркое, как яхонт,—
Он увидел Мариин лабиринт.

«А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Стояла тишь, и если б веткой хрустнуть,
Дворовый воздух бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплюснут,
Был небосклон холодный низколоб.

А за углом, смыкая круг лиловый
И вымораживая рубежи,
Носился террор в лодке китолова
И разливал по жилам рыбий жир.

Он думал: «Где она сейчас, сегодня?»
А сумрак вторил: «Шелк! Чулки! Портвейн!»
«Счастливей моего ли и свободней,
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
В расхожий фонд. Под опись. В фонд. В подвал».
Он думал: «Нет. О, будь я и гадалщик,
Я б ни за что к разгадке не зывал.

Не надо трогать этого. Не правда ль?
Как хорошо! Ты впущен на прием
К случайности; ты будущим подавлен
И по двору гуляешь с ним вдвоем.

Неведомое! Вот оно, без спички
В любых потемках видное лицо.
Единственное имя в переключке,
Носимое невыбывшим жильцом.

Вызвезживало. Ночь играла в прятки
С амбаром. Взгляды отливали льдом.
«Там оказались ваших две тетрадки,
И снимок ваш попал в чужой альбом».

Из записок Спекторского

1

Все стремятся на юг Кисловодским этапом.
Им числа нет. Но на море тянет не всех.
Я оброс, обносился, кажусь сиволапым,
Много занят, понятно, не чинкой прорех.

Удивительно, как я держусь с раболепством
Перед теми, к кому отношусь свысока.
Совершенно робею пред умственным плебсом.
Эти попросту видят во мне босяка.

Между прочим, Наташа . . . но это же порох!
Спорить с ней невозможно, не спорить нельзя.
Больше месяца было потрачено в ссорах,
Тем не мене расстались мы с ней как друзья.

Душно. Парит. Врывается ветер и с сапом
Осыпает поднос и записки песком.
Под Москвой тот же вихрь по соломенным шляпам
Веет чем подушистей, чем тут на Тверском.

Мокнут кофты. Изогнутой черной подковой
Над рекою висит, холодея, гроза.
Как утопленница, кувыркком, бестолково
Проплывает, сквозная как газ, стрекоза.

На лужайке жуют, заливают за галстук.
Заливая плоты, бьет вода о борта.
Ты ж как дух, у приятелей числишься в Фаустах.
И отлично. И дверь ото всех заперта.

Я Наташе пишу, что секрет чернокнижья
Грезить тем, что вне вымысла делают все.
Например, я глаза закрываю и вижу
Не обсиженный стол, а прибор в Туапсе.

Я проснулся чем свет и сейчас за записки.
Умываясь, я лез на обрывистый мыс.

Этот призрак на месте зовется Каспийским.
Группа дачниц, разлегшись, тянула кумыс.

На житейской арене последний мерзавец
Покоряет меня, и не зря я живу
За сто лет от себя, за сто верст от красавиц,
Посещающих сердце мое наяву.

Живость глаза у всех вырождается в зависть.
Если б только не муки звериной любви,
Я б за счастье почел любоваться, не нравясь,
Ничего не поделаешь, это в крови.

Вот и ночь. Никогда не познаю оваций.
Ведь за славой не стану ж я на стену лезть.
Что-то ждет меня? В августе мне призываться,
А покамест два месяца времени есть.

.
Руки врозь, окна настезь и голову вон!
Перевесившись, слушать в волненьи, какую
Меру дней прокукует мне уличный шум,
Удаляясь, таясь, приближаясь, ликуя.

Словно в этом есть толк, словно это мой долг,
Ограждаясь от счастья за ярусом ярус,
Без опаски чтоб город когда-нибудь смолк,
Слушать нежность и ярость, и юность, и старость.

2

После поля у города свой аромат.
Свой букет после кашки у пива и пыли.
В оскопленном пространстве скопленья громад
По приезде нам кажутся ниже, чем были.

Никаких небоскребов, а наоборот,
Снизу доверху выщербленные пещеры.
Освещенные окна у Красных Ворот
Режут глаз желтизною клеенки и серы.

Было поздно, и дом, обведенный сурьмой,
Был оваян дремой, и молчала, отцокав,

Мостовая, когда я вернулся домой,
Насидясь в поездной толкотне до отеков.

Брезжил день. Пред отъездом в деревню вдова
Поручила мне сдачу гостиной и зала.
Но доверив дверные ключи и права,
Одного мне хозяйка на грех не сказала.

Что б прибавить? «Да спите ночами, как все.
Полунощничать — таять. Работайте в меру».
Вышло ж так, что в нашедшей тогда полосе
Отпирал я зарницам, а не инженерам.

Провожал до сеней не врачей, — вечера,
Вопреки объявлению готовый к услугам
Только в белые ночи, когда до утра
Размышлял, и вокзалы ревели белугой.

Белой ночью не ищут квартир. Белым днем
Отсыпался я либо ходил по урокам.
Зал проветривался и сдавался внаем,
В нем дышалось ночами, как в море широкоем.

Бормоча, как пророк, приценился Илья
К помещению. Лило. Появлялся Бетховен.
И тогда с мезонина спускался и я,
Точно лоцман по лунному морю диковин.

Было поздно, когда я вернулся домой.
Вот окно, и табак, и рояль. Всё в порядке.
Пять прямых параллелей короче прямой,
Доказательство — записи в нотной тетрадке.

На часа полтора затянулся привал.
За работу тянуло. Я знал, — я в ударе.
Но загадочный запах не ослабевал.
В доме пахло какой-то слащавою гарью.

Под вдовой проживал многолетний портной.
Ну да к черту портных и игру обонянья.
Но загадочный смрад разливался волной.
В доме пахло какой-то упорною дрянью.

Рассветало, и зал отдавался внаем.
Я с парадного ринулся к черному ходу.
О, как мы молодеем, когда узнаем,
Что — горим... (Не хватает конца эпизода).

1928

«ПОКА МЫ ПО КАВКАЗУ ЛАЗАЕМ...»

(стр. 370)

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающей раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья,
Пока, попав за поворот
Всей нашей жизнью остальной,
Мы больше не глядим вперед,
Подхваченные шестерню,
Где две реки у ног горы,
Обнявшись будто две сестры,
Обходят крутизну по кругу,
За юбки ухватив друг друга.
Под ними крыш водоворот,
Они их переходят вброд,
Влегая грудью в древний город,
Как в жернова тяжелый ворот.
А в высоте, вонзаясь в ширь,
Как флюгера стоячий штырь,
Вращает небо на шарнире
Четырехкрылый монастырь.
В отставке рыцарской сосаря
Столбы обрушенных ворот,
Парит обитель Мцъри — Джвари,
Да так, что просто дрожь берет.
Но оторопь еще неожиданней
Нас проникает до кости.
Нам кажется, что рек слиянье
Могло бы не произойти.

Но происходит текста ради
В одной из юнкерских тетрадей
В тот миг, как мы летим в пути
В объёме лермонтовских стансов,
И совершается в пространстве,
Имея шансов до пяти
Противу ста других, почти
Как незаконные во плоти,
Как встречный тарантас среди странствий,
Как самая превратность шансов
Среди путевых перипетий,
Как дождь.

Легко себе представить,
С каким участием и теплом
Подхватывают эту память
Локомотив и бурелом!
Свисток во всю длину ущелья
Растягивается в струну.
И лес и рельсы вторят трелью
Трубе, котлу и шатуну.
Откос уносит эту странность
За двухтысячелетний Мхет,
Где Лермонтов уже не Янус
И больше черт двуликих нет,
Где он, как город, дорисован
Не злою кистью волокит,
Но кровель бронзой бирюзовой
На пыльном малахите плит.
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.
И там у Альп, в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь — ты оплошала?
Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.

Смотри, и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.
Про то ж, каким своим мечтам
Невольно верен я останусь,
Я сам узнаю только там,
Где Лермонтов уже не Янус.

1931

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

(стр. 395)

Л е т о

Босой по угольям иду.
Как печку изразцами,
Зной полдня выложил гряду
Литыми огурцами.

Жары безоблачный лубок
Не выдавал нигде нас.
Я и сегодня в солнцепек
До пояса разденусь.

Ступая пыльной лебедой
И выполотой мятой,
Ручьями пота, как водой,
Я оболью лопату.

Как глину, солнце обожжет
Меня по самый пояс,
И я глазурью, стерши пот,
Горшечною покроюсь.

Я подымусь в свой мезонин,
И ночь в оконной раме
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и цветами.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из местных уроженок.

Наш отдых будет, как набег.
Весь день царил порядок,
А ночью спящий человек —
Собрание загадок.

Во сне, как к крыше сундука
И ящику комода,
Протянута его рука
К ночному небосводу.

Весна 1941

ОСЕНЬ
(стр. 435)

На дереве свистит синица,
Посматривая с нелюбовью
На комнату и наши лица,
На наше скромное зимовье.

Мы здесь одни с тобой на даче,
Все разбежались врассыпную,
Я рано в стол работу прячу
И в мыслях нашу ночь рисую.

Я до весны с тобой останусь
Глядеть в бревенчатые стены.
Мы никого не водим за нос,
Мы будем гибнуть откровенно.

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, а ты с вязаньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Мы будем толковать и спорить,
И, несмотря на разногласья,
Всё явственнее будет прорезь
Багровых листьев на террасе.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,

И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте:

Осеннее стихотворенье,
Ты с ними заодно в их шуме.
Пожалуйста; без повторений,
Замри или ополоумей.

Закат, вечерняя картина
С тенями длинными, как лыжи.
На этой просеке пустынной
Тебя я в каждой ветке вижу.

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья,
Когда ты падаешь в объятья
В халате с шелковой кистью.

Ты в жизни не боишься рока,
Зимы и туч на небосклоне,
И вся видна и одинока
Пред господом, как на ладони.

Ты не пугаешься оврага
Иходишь в рощу без испуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

1949

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

(стр. 446)

1

Проблеск света

Чуть в расчистившиеся прорывы
Солнца луч улыбнется земле,
Листья ивы средь дымки дождливой
Вспыхнут живописью на стекле.

Я увижу за зеленью моклой
Мирозданья, тайник изнутри,

Как в цветные церковные стекла
Смотрят свечи, святые, цари.

Из глубин сокровенных природы
Разольется поток голосов.
Я услышу летящий под своды
Гул и плеск дискантов и басов.

О живая загадка вселенной,
Я великую службу твою,
Потрясенный и с дрожью священной,
Сам не свой, весь в слезах отстою.

1956

2

* * *

Только краешек неба расчистив,
Солнцем даль обольется во мгле,
Чистота свежевымытых листьев
Блещет живописью на стекле.

Точно зелень земного убора
Слюдяное большое окно,
Через которое хор из собора
Временами мне слышать дано.

О природа, о мир, о создание!
Я великую службу твою
Сам не свой, затаивши дыханье,
Обратившись весь в слух, отстою.

1956

ОСЕННИЙ ЛЕС

(стр. 457)

Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.

И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.

В нем папоротник и малина,
Шмелиный бас и баритон,
Он весь опутан паутиной
И хмелем густо оплетен.

В нем сами валятся деревья,
Взметая облако трухи,
И с остановками в распеве
Вдали горланят петухи.

С какой-то оторопью грозной,
Как будто бы струсилась беда,
Они поочередно, розно
Земле пророчат холода.

1956

ЗА ПОВОРОТОМ

(стр. 481)

Б у д у щ е е

У входа в лес, в березняке,
В начале чащи,
Выводит птичка на сучке
Свой клич манящий.

Склонясь почти наперевес
С небес к березе,
Она подготавливает лес
К любой угрозе.

Она щебечет и поет
В преддверье бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

За нею целый мир берлог,
Пещер, укрытый,
Предупреждений и тревог,
Просьб о защите.

В лесу навален бурелом,
Над лесом — тучи,
А за лесом и за углом —
Ключи и кручи.

Весною грудю колод
Торчит валежник.
В воде и холоде болот
Дрожит подснежник.

И птичка верит, что зарок
Ее рулада,
И не пускает на порог
Кого не надо.

Ошеломляя и маня
И пряча что-то,
Так будущее ждет меня
У поворота.

Его не втянешь в разговор
И не заластишь.
Таящееся, словно бор,
Оно — всё настезь.

ВСЁ СБЫЛОСЬ

(стр. 482)

Д а л е к а я с л ы ш и м о с т ь

Дороги превратились в кашу.
Проходу нет по размазне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу
И пробираюсь в стороне.

Вот я в лесу. Он смотрит букой.
Но он порука и обет,
Что вновь он станет царством звука,
Как в продолженье прошлых лет.

Он будущего стер границу,
В нем видны времена насквозь.
Что может впереди случиться,
Когда всё наперед сбылось!

Его разлившиеся топи,
Торчащий из ручья побег
Напоминают о потопе,
Как в воду спущенный ковчег.

Он в реку погрузился стойко
Всем тонущим березняком,
Как неготовая постройка,
Стоящая порожняком.

И вот я в нем и мне не к спеху,
Пускай пластами тает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
И целый мир дорогу даст.

Я слышу, может быть, верст за пять,
Как умолкает птичья трель,
Как в перерывах с веток капит,
Как пробивает лед капель,

Как сумрак пуст и воздух скважист,
Как до лесных последних вех
Деревья сковывает тяжесть,
И как съезжает снег со стрех,

Как средь размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку,
Стихая в несколько секунд.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее собрание стихотворений и поэм Бориса Пастернака является наиболее полным из всех до сих пор издававшихся. Все произведения, публикуемые в настоящем издании, печатаются в последних авторских редакциях, за исключением особо оговоренных случаев. Текст проверен по сохранившимся рукописям и книгам с авторскими пометками.

В первый, основной раздел сборника входят девять книг стихов и четыре поэмы — в хронологической последовательности. В пределах каждой книги стихотворения расположены в том порядке, который был установлен автором. Даты в тексте только авторские. Второй раздел включает расположенные в хронологическом порядке (в угловых скобках — даты первой публикации) стихотворения из двух ранних книг: «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров» (1917), в дальнейшем не переиздававшиеся, стихотворения, опубликованные в газетах, журналах, альманахах и в ранних изданиях книг (исключенные при переиздании), а также оставшиеся в рукописи. В третьем разделе представлены ранние редакции радикально переработанных автором стихотворений.

Большая часть не только отдельных стихотворений, но и книг стихов (их расположение и состав) почти не менялись от издания к изданию. Фактически стихи только дважды подвергались значительной переработке: в 1928 г. были радикально пересмотрены и переделаны две первые книги — «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров», стихи из которых с незначительным добавлением в дальнейшем составили разделы: «Начальная пора» и «Поверх барьеров» в книге «Поверх барьеров». Стихи разных лет, М.—Л., 1929; второй раз, когда в 1957 году готовилось неосуществленное издание «Избранных стихотворений и поэм», были существенно переработаны некоторые стихотворения из книг «Начальная пора», «Сестра моя — жизнь» и «Второе рождение»¹; значительная часть стихотворений была отбро-

¹ В не вошедших в верстку сборника (1957) «Дополнительных замечаниях» Б. Л. Пастернак так объясняет появление этих позднейших редакций: «Редактор и его помощники неправы, восставая против переработки некоторых стихотворений, на которой я настаиваю. Речь идет не о чем-нибудь основном и важном, не о духе вольничанья или образной природе моих ранних книг (эти качества я разделял со всеми), не об их ритмическом напоре. Речь о самом несущественном, об отдельных, многочисленных местах, неудачных как

шена, другие — сильно сокращены, что в значительной мере было обусловлено объемом и характером подготовлявшегося сборника. Таким образом, можно наметить три этапа авторской подготовки текста: 1) первые публикации, 2) издание окончательно сформированной книги стихов и 3) более поздние исправления (1928 и 1957 годов).

Периоду творчества до 1932 года был подведен итог в «Стихотворениях в одном томе» (1933), этот однотомник с очень небольшими изменениями был переиздан в 1935 году. В однотомник вошли книги: «Сестра моя — жизнь», «Темы и вариации», сборник «Поверх барьеров» (в редакции 1929 года включивший несколько книг стихов), «Второе рождение» и поэмы, которые были напечатаны без изменений по сравнению с отдельными изданиями. Стихи, вошедшие в «Стихотворения в одном томе» (1933) и в дальнейшем не претерпевшие изменений, печатаются по этому тексту. Случаи переработки оговариваются; наиболее значительные варианты приводятся в разделе «Ранние редакции» и в примечаниях. Состав следующей книги стихов, «На ранних поездах», окончательно сложился только в 1945 году. Тексты вошедших в нее стихотворений печатаются по последним прижизненным публикациям. Стихи, публикуемые впервые, и книга «Когда разгуляется» печатаются по беловым рукописям.

В примечаниях указаны первые публикации стихотворений, а также публикации, имеющие разночтения. Однако из-за неразработанности советской газетно-журнальной библиографии первых революционных лет и ввиду того, что просмотреть всю столичную и периферийную периодику этого времени не представлялось возможным, не исключено, что часть первых публикаций осталась нами не обнаруженной.

В примечаниях к отдельным стихотворениям даются сведения библиографического и текстологического характера, а также объяснения редко встречающихся слов и реалий.

За помощь в работе составитель выражает сердечную благодарность З. Н. Пастернак, Е. Б. Пастернаку, а также Е. В. Пастернак, Е. С. Левитину, М. К. Поливанову и всем, кто предоставил в распоряжение составителя материалы, которыми они располагают.

Сокращения, принятые в примечаниях

- «Близнец» (1914) — Б. Пастернак. «Близнец в тучах». М., книгоиздательство «Лирика», 1914.
Верстка (1957) — Верстка сб. «Стихотворения и поэмы». М., Гослитиздат, 1957.
ВР (1932) — Б. Пастернак. «Второе рождение». М., «Федерация», 1932.

на нынешний взгляд, так и с точки зрения далекого прошлого, к которому они относятся. Эти места, их туманная неясность губит целое, часть которого они составляют, и чтобы спасти стихотворения, ими испорченные, я позволил себе слегка подновить их или переписать их отдельные строфы заново. Пусть читатель простит мне эти изменения и не винит в них редакторов, всеми силами этому противящихся, и отнесет их за счет моей авторской предубежденности. . .»

- ВР (1934) — Б. Пастернак. «Второе рождение», М., «Советский писатель», 1934.
- ДК (1927) — Б. Пастернак. «Две книги». М.—Л., ГИЗ, 1927.
- ДК (1930) — то же, 1930.
- «1905 год» (1927) — Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год». М.—Л., ГИЗ, 1927.
- «1905 год» (1930) — то же, 1930.
- «1905 год» (1932) — то же, Издательство писателей в Ленинграде, 1932.
- «1905 год» (1937) — то же, Гослитиздат, 1937.
- ЗП (1945) — Б. Пастернак. «Земной простор», М., «Советский писатель», 1945.
- «Избр.» (1926) — Б. Пастернак. «Избранные стихи». М., «Узел», 1926.
- «Избр.» (1929) — Б. Пастернак. «Избранные стихи». М., «Огонек», 1929.
- «Избр.» (1933) — Б. Пастернак. «Избранные стихи». М., «Федерация», 1933.
- «Избр.» (1934) — Б. Пастернак. «Избранные стихи». М., ГИХЛ, 1934.
- «Избр.» (1945) — Б. Пастернак. «Избранные стихи и поэмы». М., Гослитиздат, 1945.
- «Избр.» (1948) — Б. Пастернак. «Избранные стихотворения». М., «Советский писатель», 1948.
- «Избр.» (1961) — Б. Пастернак. «Стихотворения и поэмы». М., Гослитиздат, 1961.
- «Охранная грамота» — Б. Пастернак. «Охранная грамота». Издательство писателей в Ленинграде, 1931.
- ПБ (1917) — Б. Пастернак. «Поверх барьеров». М., изд. «Центрифуга», 1917.
- ПБ (1929) — Б. Пастернак. «Поверх барьеров». Стихи разных лет. М.—Л., ГИЗ, 1929.
- ПБ (1931) — то же, ГИХЛ, 1931.
- «Поэмы» (1933) — Б. Пастернак. «Поэмы». М., «Советская литература», 1933.
- РП (1943) — Б. Пастернак. «На ранних поездах». М., «Советский писатель», 1943.
- СЖ (1922) — Б. Пастернак. «Сестра моя — жизнь». М., изд. Гржебина, 1922.
- СЖ (1923) — Б. Пастернак. «Сестра моя — жизнь». Берлин, изд. Гржебина, 1923.
- «Спекторский» (1931) — Б. Пастернак. «Спекторский». Поэма. М.—Л., ГИХЛ, 1931.
- «Стихи о Грузии» (1958) — Б. Пастернак. «Стихи о Грузии. Грузинские поэты». Тбилиси, «Заря Востока», 1958.
- «Стих.» (1933) — Б. Пастернак. «Стихотворения в одном томе». Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.
- «Стих.» (1935) — то же, ГИХЛ, 1935.
- ТВ (1923) — Б. Пастернак. «Темы и вариации». Четвертая книга стихов. Берлин, «Геллкон», 1923.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР,

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Начальная пора

1912—1914

Под этим названием впервые в сборнике «Поверх барьеров» (1929) выделена книга стихотворений, написанных в 1912—1914 гг., вошедших в сб. «Близнец в тучах» и сильно переработанных в 1928 г., после этого книга значительной переработке не подвергалась. Экземпляр сб. «Близнец в тучах» (1914), подаренный автором А. Л. Штиху и хранящийся в его архиве, содержит большое число промежуточных, близких к окончательному тексту вариантов. В книге «Поверх барьеров» (1929) и (1931) «Начальная пора» посвящена Николаю Асееву.

В Верстке (1957) в предисловии поэт рассказывает, как после окончания Московского университета, летом 1913 г. у родителей на даче в Мблодях, близ станции Столбовой, он писал свою первую книгу: «Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водорослях. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза. Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя и полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. В гуще дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги. Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств. Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слезводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодую: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы профессорши, после их чтения в кругу шести или семи почитателей, говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов, сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал. Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего. Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красными строками своей черной, бескрасочной печати. Например, я

писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался весь в облаках и дымах железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них. Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтоб одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал.

Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое дружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева. Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том».

«Февраль. Достать чернил и плакаты!..». Впервые — сб. «Лирика», М., 1913, стр. 42, с посвящением Константину Люксу. В первой публикации строки 7—8:

Меня везли туда, где ливень
Сличил чернила с горем слез.

Строки 10—16:

На ветках тысячи грачей,
Где грусть за грустию обрушит
Февраль в бессонницу очей.
Крики весны водой чернеют,
И город — криками изрыт,
Доколе песнь не засинеет
Там, над чернилами — навзрыд.

В «Избр.» (1945) строки 10—14:

На ветках тысячи грачей,
Неистовствуя, как кликуши,
Галдят торговков горячей.
Кругом проталины чернеют,
И город карканьем изрыт.

В Верстке (1957) восстановлен текст ПБ (1929).

«Как бронзовой золой жаровень...». Впервые — «Лирика», М., 1913, стр. 45, с разночтениями и еще одной, заключительной строфой:

О ночь, немая беззащитность
Пред натиском тенет — имен,
Что нашей мысли ненасытность
Расставила под твой Эон!

«Сегодня мы исполним грусть его...». Впервые — «Лирика», М., 1913, стр. 44, в следующей редакции (строки 5—16):

Таков подъезд был. Таковы друзья,
Что сняли номер дома рокового.
Окном застигнутая даль моя
Была вождем похода такового.

Даль в поисках, пугливый авангард,
Даль высадки на горизонт вечерний,
А во дворе — песнь пахотных губерний,
Весна со взломом, — и повальный март.

О, пой, земля, как поданные сходни;
Под брызги птиц готов отчалить я:
О город мой, весь день, весь день сегодня
Не сходит с уст твоих печаль моя!

«Когда за лиры лабиринт...». Впервые — «Близнец» (1914), под названием «Эдем» и с посвящением Н. Н. Асееву (см. Ранние редакции, стр. 577).

С о н. Впервые — «Близнец» (1914), без заглавия (см. Ранние редакции, стр. 578). В переработанном виде — «Звезда», 1928, № 8, стр. 57.

«Я рос. Меня, как Ганимеда...». Впервые — «Близнец» (1914), где вместо последней строфы было:

Заждавшегося бога жерла
Грозили смертного судьбе,
Лишь вознесенье распростерло
Мое объятие к тебе.

И только оттого мы в небе
Восторженно сплетем персты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

Разметанным поморье бреда
Безбрежно машет издали.
Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.

Ганимед (греч. миф.) — любимец Зевса. Превратившись в орла, Зевс унес его на Олимп.

«Все наденут сегодня пальто...». Впервые — «Близнаец» (1914), где вместо последней строчки было:

О восторг, когда лиственных нег
Бушеванья — похмелья акриды,
Когда легких и мороси смех
Сберегает напутствия взрыды.

Ты наденешь сегодня мапто,
И за нами залетя калитка,
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитокка.

«Сегодня с первым светом встанут...». Впервые — «Близнаец» (1914), с посвящением А. Л. Штиху и с эпиграфом из Сафо (см. Ранние редакции, стр. 578). *Дворовый окрик свой татары Едва успеют разнести*. Имеются в виду татары-старьевщики.

Вокзал. Впервые — «Близнаец» (1914) (см. Ранние редакции, стр. 579). В переработанном виде — «Звезда», 1928, № 8, стр. 57.

Венеция. Впервые — «Близнаец» (1914), с посвящением А. Л. Ш. (А. Л. Штиху). См. Ранние редакции, стр. 580. В переработанном виде — «Звезда», 1928, № 8, стр. 58. С незначительными исправлениями — ПБ (1929). Печ. по Верстке (1957). В «Избр.» (1945) и в Верстке (1957) опущена предпоследняя строфа:

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гондолы рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

К слову «гондолы» имелось авторское примечание: «В отступление от обычной восстанавливаю итальянское ударение». *Трезубец Скорпиона* — один из знаков Зодиака.

Зима. Впервые — «Близнаец» (1914), с посвящением Вере Станевич (поэтесса и переводчица В. О. Станевич). См. Ранние редакции, стр. 581. В переработанном виде — «Звезда», 1928, № 8, стр. 59. С небольшими исправлениями — ПБ (1929). «*Море волнуется*» — детская игра. *Стаканчики купороса* ставили между рамами, чтобы стекла не потели.

Пирры. Впервые — «Близнаец» (1914), под названием «Пиршества» (см. Ранние редакции, стр. 582).

«В став из грохочущего ромба...». Впервые — «Блинец» (1914). См. Ранние редакции, стр. 583. В переработанном виде — ПБ (1929). При подготовке Верстки (1957) автором было создано несколько вариантов второй и последней строф. Например, 2-я строфа:

Под ясным небом не ищите
Меня погожею порой.
Я смок до нитки от наитий,
И север — облик мой второй.

Последняя строфа:

Но незаметно жизнь мужала,
И никогда я не пойму,
Что нас влекло, что нас сближало,
Зачем я нужен был ему.

Зимняя ночь. Впервые — «Блинец» (1914), без названия и с посвящением И. В. (И. Высоцкой). См. Ранние редакции, стр. 583. В переработанном виде — «Новый мир», 1928, № 11, стр. 21.

Поверх барьеров

1914—1916

Книга под таким названием и с подзаголовком «Вторая книга стихов» вышла впервые в 1917 г., с эпиграфом:

To the soul in my soul that rejoices
For the song that is over my song.

*Swinburne*¹

Позже из входивших в эту книгу 49 стихотворений 31 было в корне переработано; в таком виде они составили (вместе со стихотворениями «Оттепелями из магазинов...» и «Из поэмы») раздел «Поверх барьеров» новой книги под тем же названием (1929). Остальные восемнадцать стихотворений больше не переиздавались; см. «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание», стр. 503—522.

Об обстоятельствах создания этой книги, определивших, по словам автора, «ее неромантическую поэтику», см. «Охранную грамоту», ч. III, гл. 11. Сборники «Поверх барьеров», изданные в 1929 г. и в 1931 г. (второе издание по составу несколько отличается от первого), включали книги «Начальная пора», «Поверх барьеров», а также разделы «Смешанные стихотворения», «Эпические мотивы», «Белые стихи»

¹ Душе моей души, для которой радостна песнь, что выше моей песни. *Свинберн* (англ.). — *Ред.*

и «Высокая болезнь», объединенные впоследствии под названием «Стихи разных лет». Приводим надпись автора на одном из экземпляров сборника: «С течением лет самое, так сказать, понятие «Поверх барьеров» у меня изменялось. Из названия книги оно стало названием периода или манеры, и под этим заголовком я впоследствии объединял вещи, позднее написанные, если они подходили по характеру к этой первой книге, т. е. если в них преобладали объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность. 9 декабря 1946 г.».

Д в о р. Впервые — ПБ (1917), под заглавием «Посвящение» (см. Ранние редакции, стр. 584). *Баскак* — во времена татарского ига ханский чиновник, поставленный для сбора податей и надзора за исполнением указов. *Ханский указ на воцеленных брусках*. Ханские указы писались на воцеленных таблицах. *Трехгорное* — пиво.

Дурной сон. Впервые — ПБ (1917), см. Ранние редакции, стр. 585. *Стоход* — река под г. Ровно, где огнем немецкой тяжелой артиллерии в первую мировую войну было уничтожено несколько русских дивизий. *Тарель* — точеный обруч на пушке.

Возможность. Впервые — ПБ (1917), под заглавием «Фантазм», с небольшими разночтениями. *Гончаровы*. Пушкин был женат на Н. Н. Гончаровой и из-за нее стрелялся на дуэли.

Десятилетье Пресни. Впервые — ПБ (1917), под заглавием «Отрывок», с рядами точек вместо изъятых цензурой фраз: «Когда посул Свобод прошел, и в стане стачек Стоял годами говор дул» и «И вечной памятью героям. Стоял декабрь». Между строками 12 и 13 — авторское отточие. *Канатчикова дача* — психиатрическая лечебница на окраине Москвы.

Петербург. Весь цикл из четырех стихотворений впервые — ПБ (1917). В ПБ (1929) переработке подверглись в основном 1-я и 5-я строфы первого стихотворения. В некоторых изданиях стихотворения цикла печатались порознь. Печ. по Верстке (1957). *Кнастер* — сорт трубочного табака. *Прапор* — знамя.

«Оттепелями из магазинов...». Впервые — «Новый мир», 1928, № 12, стр. 38. *Фирн* — слежавшийся крупинками снег.

Зимнее небо. Впервые — ПБ (1917), без заглавия. С изменениями — ПБ (1929). Печ. по Верстке (1957).

Душа. Впервые — ПБ (1917), под заглавием «Внедренная». С изменениями — ПБ (1929). *Княжна Тараканова* была заключена в Петропавловской крепости и погибла во время наводнения в 1775 г.

«Не как люди, не еженедельно...». Впервые — ПБ (1917). В «Стих.» (1935) и Верстке (1957) помещено после стихотворения «Душа» через отбивку, как его продолжение.

Раскованный голос. Впервые — ПБ (1917), с разночтениями.

Метель. Первое стихотворение впервые — сб. «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 45, без заглавия. С заглавием «Метель» — впервые ПБ (1917); там же впервые — второе стихотворение, под заглавием «Сочельник». В ПБ (1929) оба стихотворения (второе в переработанном виде) объединены в цикл. С изменением в первом стихотворении — «Избр.» (1945). Печ. по Верстке (1957). *Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь*. Во время Варфоломеевой ночи в Париже (24 августа 1572 г.) — кровавой резни, которую устроили католики, перебившие в эту ночь несколько тысяч гугенотов, — заговорщики отмечали меловыми крестами двери своих жертв. Одним из первых был убит вождь гугенотов адмирал *Колиньи*.

Урал впервые. Впервые — ПБ (1917). В переработанном виде — ПБ (1929). Печ. по «Избр.» (1945). *Камка* — парча.

Ледоход. Впервые — ПБ (1917), под заглавием «Заря на севере» (см. Ранние редакции, стр. 587). В переработанном виде — сб. «Московские мастера», № 1, М., 1930 (на титуле — 1929), с датой: 1928. С небольшими изменениями — ПБ (1929). Без 3-й строфы, с исправлениями — «Избр.» (1945). Печ. по Верстке (1957). В «Избр.» (1945) 2-я строфа была:

Заря, как клещ, впилась в залив,
Рыбачий стан под старым Спасом,
И крест и кузова расшив,
И вечер вырвешь только с мясом.

«Я понял жизни цель и чту...». Впервые — ПБ (1917), где между 3-й и 4-й строфами была еще одна:

Что самородком рдеет глушь
В зловонной груди красных туч,
И эти тучи — бревна хат,
И фартук мясника — закат.

Берковец — мера веса: десять пудов.

Весна. Впервые — ПБ (1917), в виде трех отдельных стихотворений: первое — под заглавием «Поэзия весной» (в книге опечатка: «Поэзия весны»), второе и третье — без заглавий. После третьего стихотворения, после отбивки, были еще две строфы:

Вчера еще были и воздух и воля,
А нынче ракиты, как мысли растеряны,

А нынче и мысли, и воздух, и воля
Из ветра, из пыли, из серого дерева.

Вчера еще были ристанья и пренья,
И тяжбы у кровель, и зарев о роскоши,
А нынче закат уподоблен сирене,
Влачащейся грудью и гривою по суши.

Цикл впервые — ПБ (1929). Второе стихотворение (см. Ранние редакции, стр. 588) было переработано и печ. по Верстке (1957).

И в а к а. Впервые — ПБ (1917), без заглавия и без 3-й строфы. Последние две строфы:

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Роскошный и обрушенный
Каскад раскатов в ивах.

О, как игрой лиловою
Он в майских мочках ярок!
Чтоб горы очаровывать,
Он вынут из футляра.

Ивака — деревня на Урале.

Ст р и ж и. Впервые — ПБ (1917), без заглавия, с разночтением в одной строке.

С ч а с т ь е. Впервые — ПБ (1917), с разночтением в одной строке.

Э х о. Впервые — ПБ (1917), без заглавия, с разночтением в одной строке.

Т р и в а р и а н т а. Впервые — ПБ (1917), в виде трех отдельных стихотворений, без заглавия и с небольшими разночтениями. Начиная с ПБ (1929) объединены в цикл под общим названием.

И ю л ь с к а я г р о з а. Впервые — ПБ (1917), без заглавия, с разночтением в одной строке и с еще одной строфой между 2-й и 3-й строфами:

Мне страшен штиль. И мне страшна,
Как близкий взвизг летучей мыши,
Таких затиший тишина,
Такая тишина затиший.

П о с л е д о ж д я. Впервые — ПБ (1917), без заглавия (см. Ранние редакции, стр. 588). В переработанном виде — сб. «Московские мастера», № 1, М., 1930 (на титуле — 1929), с датой — 1928. С небольшими изменениями — ПБ (1929).

Импровизация. Впервые — сб. «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 47, без названия; в том же виде — ПБ (1917). С изменением — «Избр.» (1945). В переработанном виде, под заглавием «Импровизация на рояле» — «Избр.» (1948):

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — всё знают, казалось, — всё могут
Кричавших кругом лебедей жожаки.

И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.

И всё, что в пруду утопил небосвод,
Ковшами кипящими на воду вылив,
Казалось, доплескивало до высот
Ответное хлопанье весел и крыльев.

И это был пруд, и было темно,
И было охвачено тою же самой
Тревогою сердце, как небо и дно,
Оглухшие от лебединого гама.

1946

В Верстке (1957) автор вернулся к первому варианту и восстановил заглавие, данное в ПБ (1929).

Баллада. В ПБ (1917) под этим заглавием — стихотворение, соответствующее первой половине текста (см. Ранние редакции, стр. 589). Вторая половина — со слов: «Впустите, мне надо видеть графа. . .» и кончая строкой: «Тонули крушенья шаги и слова» — впервые — «Новый мир», 1929, № 1, стр. 107, под заглавием: «Из Баллады». В окончательном виде впервые — ПБ (1929). В стихотворении намечена аналогия между реализмом Толстого и Шопена, позднее развитая в статье о Шопене («Ленинград», 1945, № 15-16). *Кайяфа* — первосвященник иудейский, гонитель Христа. *Ярыга* — низший слушатель полиции, ставившийся от zemstva.

Мельницы. Впервые — ПБ (1917). См. Ранние редакции, стр. 591. В переработанном виде — «Новый мир», 1928, № 12, стр. 39 и ПБ (1929). Печ. по «Избр.» (1945). До этого третья строфа была:

Мигают вишни, спят волы,
Слезятся щеки первых жнивьев,
И кукурузные стволы
Сопят и ищутся, завшивев.

Поста — мельничный стан, в котором вращаются жернова и куда засыпают зерно.

На пароходе. Впервые — ПБ (1917), где 7-я и 8-я строфы читались:

Сквозь грани бакара вы суженным
Зрачком могли следить за тем,
Как дефилируют за ужином
Фаланги наболевших тем.

И были темы те эмульсией
Из сохраненных сердцем дней,
А вы последнею конвульсией
Последней капли были в ней.

В «Избр.» (1926) вместо этих строф — отточие. В рукописи, представляющей первую редакцию произведения, хранящейся у Ф. Н. Збарской, указана дата — 17 мая 1916 г. и место написания — Всеволодо-Вильва (на Урале), а также имеются две выпущенные впоследствии строфы, которые следуют после 6-й строфы, перед приведенными выше строфами:

Что он подслушивал? — подслушивал,
Дыша на запотелый люк?
Тонула речь в обивке плюшевой.
Он понимал движенье рук?

И этих рук движеньем проняло
Его? И по движенью рук
Он понял: так на фисгармонии
Берут в басах забытый звук.

В ПБ (1917) отточие на месте этих строф.

Из поэмы. Два отрывка. 1. «Я тоже любил, и дыханье...». Впервые — «Новый мир», 1929, № 1, стр. 108, под заглавием: «Из неоконченной поэмы» и с разночтениями. 2. «Я спал в ту ночь мой дух дежурил...». Впервые — «Новый мир», 1929, № 12, стр. 41, под названием «Отрывок из неизданной поэмы». Возможно, это отрывки из двух потерянных поэм, о которых автор упоминает в рукописи автобиографии. Ср. также с «Набросками к фантазии. Поэма о ближнем» (стр. 523). *Арак* — сорт водки. *Атропин* и *белладонна* — лекарства, употребляемые, в частности, для расширения глазного зрачка.

Марбург. Впервые — ПБ (1917) (см. Ранние редакции, стр. 593). «Марбург» переделывался несколько раз. В «Избр.» (1926) — с изменениями, сокращенный первоначальный вариант; начинается с 32-й строки («Плитняк раскалялся. И улицы лоб...») и до конца,

но без пяти строк (от слов: «По стенам испуганно мечется бой...» и кончая строкой «Вся соль — в освещенье безокого фокуса»); на месте этих строк — авторское отточие. Переработанный вариант — «Звезда», 1928, № 9, стр. 386. То же, с изменением в одной строке — ПБ (1929). В этом варианте, выдержавшем четыре издания, были небольшие разночтения и еще две строфы после 13-й строфы:

О, нити любви! Улови, перейми.
Но как ты громаден, отбор обезьяний,
Когда под надмирными жизни дверьми,
Как равный, читаешь свое описание!

Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел —
Насупленный ляг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.

62—64 строки были:

Бессонницу знаю. Стрясется — спасут.
Рассудок? — Но он — как луна для лунатика.
Мы в дружбе, но я не его сосуд.

В Верстке (1957) эти строки:

Бессонницу знаю. Я так к ней привык,
Дорожкой в четыре оконных квадратика
Расстелет заря свой худой половик.

В «Избр.» (1933) и в Верстке (1957) — сокращенный вариант. Печ. по «Избр.» (1945). *Марбург* — университетский город в Германии, где летом 1912 г. Пастернак прослушал курс, см. «Охранную грамоту», ч. 1—2. *Арника* — лекарственное растение.

Сестра моя—жизнь

ЛЕТО 1917 ГОДА

Книга была издана впервые в 1922 г. в Москве, издательством З. И. Гржебина, в следующем году переиздана в Берлине тем же издательством и больше отдельно не выходила. Целиком входила в «Две книги», в «Стихотворения» (1933) и «Стихотворения» (1935). В последнем издании отсутствовали два стихотворения — «Распад» и «Свистки милиционеров».

«Сестра моя — жизнь» в большей степени, чем другие сборники Пастернака, представляет собой единую лирическую книгу, своеобразный роман, состоящий из отдельных и скомпонованных в циклы стихотворений. Это особенно подчеркивалось в изданиях 1922 и

1923 г., где, при том же составе и той же последовательности, композиция была более сложной: все циклы, кроме «Не время ль птицам петь», объединялись общим названием «Книга степи», цикл, позже принявший это название, там обозначен «Первая глава»; цикл «Занятия философией» был подразделом «Развлечений любимой», а стихотворения «Заместительница» и «Конец» выделены шмуцтитутами, как и циклы. Некоторые циклы связывались прозаическими замечаниями (они приводятся в комментариях к тем стихотворениям, за которыми следовали).

В отличие от двух более ранних книг, «Сестра моя — жизнь» в дальнейшем не подвергалась правке вплоть до подготовки издания 1957 г., где эта книга была представлена отдельными стихотворениями, часть которых подверглась переработке.

Однотомники стихотворений поэта 1933 и 1935 г. открывались этой книгой, вопреки хронологии. Нельзя с уверенностью утверждать, что все стихотворения книги написаны в 1917 г. Подзаголовок «Лето 1917 года» — это именно подзаголовок, другое название, а не датировка. Но книга целиком родилась в это время, и автор сам говорит об этом. Времени и обстоятельствам создания сборника он посвятил три главы в «Охранной грамоте», часть 3, гл. 11—13. В 1956 г. Пастернак писал в неопубликованной автобиографической заметке, которая так и называется «Сестра моя жизнь»:

«Прошло сорок лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещавшихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания, как беззвучные зрелища или как замерзшие живые картины.

Множества восторженных и настроенных душ останавливали друг друга, стекались и, как в старину сказали бы «сборные», думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование.

Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным.

Мне теперь кажется, что, может статься, человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает.

Но стоит поколебаться устойчивости общества, достаточно кому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу.

Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя не узнают, — люди оказываются богатырями. Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом. Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики „Сестра моя жизнь“¹.

«Сестра моя — жизнь» посвящена Лермонтову. Смысл этого посвящения Пастернак раскрывает в письме к своему американскому переводчику Юджину М. Кейдену (письмо от 22 августа 1958 г., по-английски): «Пушкиным началась наша современная культура, реальная и подлинная, наше современное мышление и духовное бытие. Пушкин возвел дом нашей духовной жизни, здание русского исторического самосознания. Лермонтов был его первым обитателем. В интеллектуальный обиход нашего века Лермонтов ввел глубоко независимую тему личности, обогащенную впоследствии великолепной конкретностью Льва Толстого, а затем чеховской безошибочной хваткой и зоркостью к действительности. Но тогда как Пушкин объективен, достоверен и точен, тогда как Пушкин позволяет широчайшие обобщения, все творчество Лермонтова проникнуто его личностью и его страстью, поэтому Лермонтов ограниченнее. Пушкин глубоко реалистичен и служит как бы проводником высшего творческого начала. Лермонтов — живое воплощение личности. Вы правы, утверждая, что в нем иной раз слишком сильно проступает романтический пафос. Влияние на него Байрона бесспорно, под его обаянием находилась тогда чуть не половина Европы. Однако то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действительности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего современного субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил «Сестру мою жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, — его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года? — Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни» (опубликовано в предисловии Ю. Кейдена к книге его стихотворных переводов Пастернака¹). С посвящением сборника связано открывающее его стихотворение, единственное, стоящее вне цикла: «Памяти Демона», где присутствуют темы и мотивы лермонтовской поэмы.

Эпиграф взят из стихотворения «Das Bild» австрийского поэта-романтика Н. Ленау (1802—1850).

Памяти Демона. Впервые — СЖ (1922).

¹ Boris Pasternak. Poems. Translated from the Russian by Engen M. Kayden. The University of Michigan Press. Ann Arbor 1959 стр. [IX].

НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ

Про эти стихи. Впервые — «Художественное слово», № 1, М., 1920, без названия и с посвящением Е. А. Дородновой. 3-я и 4-я строфы шли в обратной последовательности. С изменением — СЖ (1922). Печ. по Верстке (1957). До этого всюду 15-я строфа читалась: «Прояснит много из того».

Тоска. Впервые — СЖ (1922).

«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...». Впервые — «Красная новь», 1922, № 2, стр. 101. В этой редакции, повторенной во всех изданиях СЖ, 3-я и 4-я строфы были:

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канале.

Что только нарвется, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине
С матрацов глядеть, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнет мне.

При подготовке Верстки (1957) эти строфы неоднократно переделывались. Вариант 3-й строфы (Верстка):

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь с тоски,
Оно грандиозней святого писанья,
И в окна вагонов летят угольки.

В сверку невышедшей книги 1957 г. по устному указанию автора был внесен новый вариант этой строфы. Печ. по Верстке (1957). *Камышинская ветка* — ветка железной дороги, идущая в Камышин — город Волгоградской области. *Фата-моргана* — мираж, призрак.

Плачущий сад. Впервые — СЖ (1922).

Зеркало. Впервые — сб. «Мы», М., 1920, стр. 33, под названием «Я сам», без последних четырех строф и с разночтениями. В полном виде, с изменениями, — СЖ (1922). Печ. этот текст. В изданиях избранных стихотворений — «Избр.» (1933) и Верстка (1957) — опущены 4—6-я строфы. Вместо них — отточие. Кроме того, в Верстке (1957) разночтения в строках 29—30:

И вот, в усыпительной этой отчизне
Мне зоркости глаз не задуть.

Месмеризм — способность человека воздействовать на людей или предметы посредством внутреннего психического внушения.

Девочка. Впервые — СЖ (1922). Эпиграф взят из стихотворения Лермонтова «Утес». В «Избр.» (1933) и в Верстке (1957) — без эпиграфа. *Рюмить* — здесь: застилать слезами.

«Ты в ветре, веткой пробуешь...». Впервые — «Трилистник», № 1, 1922, стр. 31. В «Избр.» (1945) и Верстке (1957), где цикл представлен не полностью, — под заглавием «Светает».

Дождь. Впервые — СЖ (1922). *Всклянй* — вровень с краями, здесь: полностью.

КНИГА СТЕПИ

Цикл стихов навеян пейзажами степной Саратовской губернии. Эпиграф из «*Romances sans paroles*» П. Верлена.

До всего этого была зима. Впервые — журн. «Маковец», М., 1922, № 1, стр. 12. Печ. по Верстке (1957), до этого 17-я строка всюду читалась: «Снег валится, и с колен».

Из суевья. Впервые — СЖ (1922).

Не трогать. Впервые — «Вещь», Берлин, 1922, кн. 1-2, без заглавия.

«Ты так играла эту роль...». Впервые — СЖ (1922).

Балашов. Впервые — СЖ (1922). *Балашов* — город в Саратовской области. *Молокане* — христианская секта.

Подражатели. Впервые — СЖ (1922).

Образец. Впервые — СЖ (1922). *Ночная красавица* — другое название ночной фиалки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБИМОЙ

«Душистою веткою машучи...». Впервые — сб. «Мы», М., 1920, стр. 32, под заглавием «Поцелуй». Без заглавия, с небольшими разночтениями — СЖ (1922). *Таволга* — луговой кустарник.

Сложавесла. Впервые — сб. «Весенний салон поэтов», М., 1918, стр. 140, без заглавия. 1-я строка была: «Лодка колотится в озерной груди». 2-я строфа:

Этим ведь, песня, тешатся все.
Это ведь значит — шорох сиреневый,
Роскошь крошенных черемух в росе,
Губы и пряди на звезды выменивать!

И последняя строка: «Ночи на звезды, как царства, проматывать!»
В процессе подготовки сборника 1957 г. возник ряд вариантов 2—3-й строф:

Это ведь так... это всё пустяки...
Это ведь значит рукою несмелою
Белой ромашки пушить лепестки
Трогать губами сирень помертвелую

Это ведь значит обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
На соловьев состоянья проматывать

Ночи на свист соловьиный проматывать

Весенний дождь. Впервые — «Путь освобождения», М., 1917, № 4, стр. 4, без разбивки на строфы и с разночтениями.

Свистки милиционеров. Впервые — сб. «Явь», М., 1919, стр. 41, под заглавием «Уличная», с пометой «Май 1917. Москва», с 3—6 строфами:

С паперти в дворик реденький.
Тишь. А самум печати
С шорохом прет в передники
Зябких берез зачатья.

Улица дремлет призраком.
Господи! Рвани-то, рвани!
Ветер подымет изредка,
Не разберет названья.

Пустошь и тишь. У булочных
Не становились в черед.
Час, когда скучно жульничать
И отпираться: — верят.

Будешь без споров выпущен.
В каждом — босяк. Боятся.
Час, когда общий тип еще:
Помесь зари с паяцем.

В переработанном виде и с другим названием — СЖ (1922). *Тиволи* — название ресторана в Сокольниках.

Звезды летом. Впервые — СЖ (1922).

Уроки английского. Впервые — СЖ (1922). *Дездемона* — героиня трагедии Шекспира «Отелло» поет перед смертью песню об *иве*.

ЗАНЯТИЕ ФИЛОСОФИЕЙ

Определение поэзии. Впервые — СЖ (1922). Печ. по Верстке (1957). *Фигаро* — опера Моцарта «Женитьба Фигаро».

Определение души. Впервые — СЖ (1922).

Болезни земли. Впервые — «Путь творчества», Харьков, 1919, № 5, стр. 36, под заглавием «Из цикла „Свежесть вещей“». То же заглавие в первоначальном варианте имеет стихотворение «Наша гроза». Так как оба стихотворения входят в цикл «Занятие философией», можно предполагать, что «Свежесть вещей» — раннее название этого цикла. Между 2-й и 3-й строфами окончательного варианта в журнале была строфа:

Тишина. Как шар в укат крокета,
Катит хворост капельки жуков.
Вот когда со скоростью ракеты
Чайки ввысь под черной душ Шарко.

Последней строфы в журнале не было.

Определение творчества. Впервые — СЖ (1922).

Наша гроза. Впервые — «Сборник нового искусства», Харьков, 1919, стр. 5 — первые шесть строф, под названием: «Из цикла „Свежесть вещей“» (см. примечание к стихотворению «Болезни земли»). В переработанном виде — СЖ (1922), где вслед за этим стихотворением следовало замечание: «Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице», связывающее предыдущие циклы со следующим стихотворением, в дальнейшем снятое. *Осьмина* — тетрадь в $\frac{1}{8}$ листа.

Заместительница. Впервые — сб. «Лирень», М., 1920, стр. 15, с пометой «1917». В «Избр.» (1926), «Избр.» (1929), «Избр.» (1933) и в Верстке (1957) даются только первые четыре строфы. *Ракочи* — здесь: венгерский марш Ф. Листа. *Мюрид* — мусульманский послушник.

ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА

Воробьевы горы. Впервые — «Красная новь», 1922, № 2, стр. 100.

«Mein Liebchen, was willst du noch mehr?» Впервые — сб. «Весенний салон поэтов», М., 1918, стр. 139, без заглавия, без 3—5-й строф, с разночтениями. Заглавие представляет собой рефрен стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» из книги «Buch der Lieder». С заглавием «Размолвка» — «Избр.» (1945) и Верстка (1957), где цикл представлен не полностью. *Пасма* — прядь нитей.

Распад. Впервые — сб. «Явь», М., 1919, стр. 43, с разночтениями, без заглавия и без эпиграфа. В окончательном виде — СЖ (1922), где вслед за этим стихотворением следовало замечание, связывающее цикл «Песни в письмах, чтобы не скучала» с циклом «Романовка»: «В то лето туда уезжали с Павелецкого вокзала». Эпиграф взят из повести Гоголя «Страшная месть». *Распад* — железнодорожная станция. *Хопер* — река, приток Дона.

РОМАНОВКА

Романовка — деревня Балашовского уезда Саратовской губернии.

Степь. Впервые — СЖ (1922). В «Избр.» (1926) и «Избр.» (1929) — без 6-й строфы и с разночтением. В «Избр.» (1933) — без 4—6-й строф. Рукописный вариант 1956 г., не вошедший в Верстку (1957), — 1—3-я строфы:

Как были те выходы в тишь хороши!
Пустынна степная равнина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь,
В гряде потухающих сопок.
Раскинулась морем безбрежная степь
Привольем без меж и без тропок.

Неловко нетронутой степью брести,
Как против морского теченья.
Репье пробирает сквозь ткань, до кости,
Хватает ковыль за колени.

Далее — 7-я, 8-я и 10-я строфы, без изменений.

Душная ночь. Впервые — СЖ (1922). В «Избр.» (1945) изменена 8-я строка, которая прежде всюду читалась: «И в роже пух и бредил бог». Начиная со «Стих.» (1933) эта строка сопровождалась авторской сноской: «Не все догадываются, что рожа тут в значеньи болезни, а не уродливого лица».

Еще более душный рассвет. Впервые — СЖ (1922). В «Избр.» (1926) и «Избр.» (1929) — с иной разбивкой на строфы. В «Избр.» (1933) — под названием «Душный рассвет».

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ

Мучка п. Впервые — СЖ (1922), со 2-й строфой:

Чего там ждут, томя картину
Корой, клешней и лишних крыльев,
Заставши слез излишней тиною
Последний блеск на рыбьем рыле.

В 1956 г. вторая строфа несколько раз переделывалась. В рукописи к Верстке (1957):

Чего там ждут, томя картину
Тоскливой доли без исхода?
Чего там с грустью беспричинною
Ждут точно у моря погоды?

Печ. по Верстке (1957). В машинописи к СЖ (1922) имеется авторская сноска: «*Мучкап* — село Балашовского уезда Саратовской губернии».

Му х и мучкапской чайной. Впервые — СЖ (1922).

«Дик прием был, дик приход...». Впервые — СЖ (1922).

«Попытка душу разлучить...». Впервые — СЖ (1922).
Ржакса — село Балашовского уезда Саратовской губернии,

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Как усыпительна жизнь!...» Впервые — СЖ (1922).
В разных изданиях стихотворение печаталось с мелкими вариантами. Печ. по «Стих.» (1935). *Квизисана* — распространенное в 20-х годах название кафе. *Эспри* — украшение (перо) на дамской шляпе. *Спирея* — растение с белыми и розовыми цветами. «*Мой сорт*» — название папирос. *Менадо* — здесь сорт кофе.

У себя дома. Впервые — СЖ (1922), где вслед за этим стихотворением следовало замечание: «С Павелецкого же уезжали и в ту осень». *Жар на семи холмах*. Москва расположена на семи холмах.

ЕЛЕНЕ

Е л е н е. Впервые — сб. «Автографы» (без места изд. и без даты), сокращенный вариант (строфы 2, 3, 6, 7, 8). Целиком, с исправлением — «Художественное слово», М., 1921, № 2, стр. 10. В рукописи к Верстке (1957) на полях авторское замечание к этому стихотворению: «В этих старых стихах останавливает часто речевая двусмысленность, потому что они писались неосторожно, спустя рукава. Например, тут — «Пусть судьба п о л о ж и т» сказано в смысле пусть судьба рассудит, решит, в качестве кого — матери или мачехи, а понять можно в соседстве с другими строками положит в смысле класть». *Арум* — болотное растение. *Царица Спарты* — Елена Спартанская, из-за которой началась Троянская война.

Как у них. Впервые — СЖ (1922). *Шелонь* — река в Псковской области.

Л е т о. Впервые — СЖ (1922).

Гроза моментальная навек. Впервые — СЖ (1922). В рукописи 1919 г., хранящейся у Л. Ю. Брик, стихотворение содержало еще четыре заключительные строфы:

Как фантом в фата-моргане,
Тьму пропаж во тьме находок,
Море — в море эпилепсий
Уронив, тонул циклон.

Молнии комкало морганье.
Так глотает жадный кодак
Солнце — так трясется штепсель,
Так теряет глаз циклоп.

Бурным бромо-желатином,
Как с плетенки рыболова,
Пласт к пласти, с ближайшей ветки
Листья приняло стекло.

К фиолетовым куртинам
Приставал песок лиловый,
Как налет на той кюветке,
Где теперь, как днем, светло.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Любимая — жуть! Когда любит поэт...». Впервые — СЖ (1922). В рукописи к Верстке (1957) 12—20-я строки читались:

...Зовут, узаконивши, паусной.

Как женщин не ставят кругом ни во что,
И душу и тело коверкая,
Считают их жизнь безделушкой Ватто,
Цветной расписной табакеркою.

Но там, где шумит самодурство повес,
И барство царит, и купечество,
Он вашу сестру вознесет до небес,
Превыше всего человечества.

Последняя строка там же читалась: «Росою душистою брызнется». В Верстку (1957) эти изменения не вошли. Антуан Ватто 1684—1721) — французский художник. *Анды* — горная цепь в Южной Америке.

«Давай ронять слова...». Впервые — СЖ (1922). Эпиграф взят из стихотворения той же книги «Балашов». В изданиях избранных стихов: «Избр.» (1933), «Избр.» (1945) и в Верстке (1957) эпиграф отсутствует. *Марена* — растение, из корней которого добывается красная краска (крапп-лак). *Экклезиаст* (Екклезиаст) — ветхозаветная библейская книга. *Ягайло и Ядвига* — литовский князь и польская королева, брак которых положил начало польско-литовской унии (1386 г.).

И мело сь. Впервые — «Трилистник», № 1, 1922, стр. 76, с разночтениями. В машинописи к изданию СЖ (1922) была еще одна, последняя строфа, вычеркнутая рукою автора:

Рассыпав хаток мелюзгу
И редких звезд неспелость,
Безмолвно крепла милость губ,
Как песнь, что всеми пелась.

«Любить — идти, — не смолкнул гром...». Впервые — СЖ (1922). *Маргарита, корчмарша, валькирии* — музыкальные образы из опер «Фауст» — Гуно, «Борис Годунов» — Мусоргского и «Гибель богов» — Вагнера.

Послесловье. Впервые — сб. «Киноварь», Рязань, 1921, стр. 14, под заглавием «Осеннее» и без первых восьми строк. Печ. по «Стих.» (1935). В машинописи к изданию СЖ (1922) за последней строкой — отточие и затем еще две строфы (1-я и 3-я строфы стихотворения «Но и им суждено было выцвести...» из цикла «Осень» книги «Темы и вариации»). *Кошениль* (червец) — насекомое, садовый вредитель; из кошенили изготавливали красную краску — пурпур. *Карбункул* — драгоценный камень красного цвета.

К о н е ц. Впервые — СЖ (1922). В рукописи 1919 г., хранящейся у Л. Ю. Брик, после 4-й строфы следует выпущенная:

Месяц на поле шляпу лапой мял и за полты
Цапал. Сбоку плыл стук сабо.
Силуэт был бос,

и после 5-й — еще две:

Были до свету подняты их поступью
Хаты: — в ветлы шли из гостей
Той стезей, что в бор.

С ветром выступив, воротились из степи
С низых бус. росы пали в сад,
Завалились спать.

Темы и вариации

1916—1922

Эту книгу составляют стихи 1916—1922 годов; она писалась в период работы над «Сестрой моей — жизнью» и была издана в январе 1923 г., вслед за «Сестрой моей — жизнью» (1922). Эти книги дважды выходили совместным изданием («Две книги», 1929 и 1930). «Темы и вариации» перепечатывались без существенных изменений. Исключение составляет стихотворение «Голос души» — см. «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание», стр. 538, — которое напечатано только однажды, в первом издании книги.

ПЯТЬ ПОВЕСТЕЙ

Вдохновение. Впервые — ТВ (1923). В «Стих.» (1935) в раздел «Темы и вариации» не входило.

Встреча. Впервые — ТВ (1923).

Маргарита. Впервые — сб. «Булань», 1920, стр. 24, вместе со стихотворением «Мефистофель», под общим названием «Два стихотворения из Фаустова цикла» и с разночтением. Возможно, что к этому же времени — к работе над «Фаустовым циклом» — относится рукопись стихотворения «Любовь Фауста» (см. «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание», стр. 537).

Мефистофель. Впервые — сб. «Булань», стр. 25 (см. примечание к предыдущему стихотворению), без разбивки на строфы и с разночтением.

Шекспир. Впервые — «Театр и студия», 1922, № 1-2, стр. 7, с разночтениями. Печ. по Верстке (1957). До этого во всех изданиях 27-я строка читалась: «За тем вон столом, где подкисший ранет». В ЦГАЛИ имеется автограф более ранней редакции с иным порядком стрóf и разночтениями, с пометой: 9.1—1919, Москва. *Тауэр* — лондонская тюрьма для государственных преступников. *Вестминстер* — Вестминстерское аббатство в Лондоне. *Эль* — крепкое светлое пиво. *Кнастер* — сорт трубчатого табака. *Малага* — здесь: сорт винограда.

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

Впервые цикл напечатан в альманахах «Круг», М.—П., 1923, без эпиграфа; последнее стихотворение цикла имеет помету: «Очаковская платформа, Киево-Воронежской ж. д., 1918 г.». В «Избр.» (1945), под заглавием «Стихи о Пушкине», напечатаны «Тема» и 3-я, 5-я, 6-я вариации. Там же впервые — эпиграф (из стихотворения Ап. Григорьева «Героям нашего времени»). В Верстке (1957) восстановлено первоначальное название цикла.

Тема. Впервые — «Круг», № 1, 1923, стр. 7, с разночтением. Очевидно, по недоразумению, вслед за последней строкой стихо-

теорения идет отточие и сразу же — конец 4-й вариации, начиная со строки «Мысль озарилась убийством». Печ. по Верстке (1957); до этого во всех изданиях строка 15 читалась: «Светло, как днем. Их освещает пена...» *Хамиты* — группа народностей Северной Африки. *Псамметих* — имя трех фараонов 26-й египетской династии.

В а р и а ц и и

1. Оригинальная. Впервые — «Абракасас», № 1, П., 1922, стр. 31, под заглавием «Пушкин»; с изменениями — «Круг», 1923, № 2, стр. 7 (с обратной последовательностью 3-й и 4-й строф). *Трапезунд* (Трабзон) — турецкий порт в юго-восточной части Черного моря. *Пильзен* (Плзен) — чешский город, славящийся своим пивом. *Бетель* — кустарник из семейства перечных; листья этого кустарника употребляются для жевания как тонизирующее средство. *Кафры* — устаревшее наименование юго-восточных африканских народов.

2. Подражательная. Впервые — «Круг», № 2, 1923, стр. 8, с разночтениями. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн» — первые две строки «Вступления» к «Медному всаднику» Пушкина. Там это сказано о Петре I, здесь — о самом Пушкине.

3. «Мчались звезды. В море мылись мысы...». Впервые — «Круг», № 2, 1923, стр. 10, под заглавием «Сакрокосмическая» (по ошибке в автографе, хранящемся в ЦГАЛИ, — «Макрокосмическая»). «Пророк» — стихотворение Пушкина.

4. «Облако. Звезды. И сбоку...». Впервые — «Круг», № 1, стр. 8. Начиная со строки «Мысль озарилась убийством...» — в качестве окончания стихотворения «Тема» (см. примечание к этому стихотворению). В автографе, хранящемся в ЦГАЛИ, — полностью, под заглавием «Драматическая» и с разночтениями. *Халдея* — древняя страна в устье рек Тигра и Евфрата.

5. «Цыганских красок достигал...». Впервые — «Круг», № 1, стр. 8, под заглавием «Патетическая» и с разночтениями. *Шабо* — город в Одесской губернии. *Кагул* — озеро и река в Молдавии. *Очаков* — порт на Черном море.

6. «В степи охладевал закат...». Впервые — «Круг», № 1, стр. 9, под заглавием «Пасторальная» и с разночтениями. В «Избр.» (1945) 1-я строка: «В степи околевал закат». Печ. по Верстке (1957), где восстановлен основной вариант. *Спрохвалá* — исподволь, полегоньку.

БОЛЕЗНЬ

1. «Больной следит. Шесть дней подряд...». Впервые — ТВ (1923). *Иван* — колокольня Ивана Великого в московском Кремле.

2. «С полу, звездами облитого...». Впервые — ТВ (1923). *Кассиопея* — созвездие. *Лавра Киева* — Киево-Печерская лавра, монастырь. *Эдда* — скандинавский эпос.

3. «Может статься так, может иначе...». Впервые — «Всероссийский союз поэтов». Второй сборник стихов. М., 1922, без 6-й и 8-й строф, с пометой «1920» и с разночтениями. В автографе, хранящемся у Е. А. Дородновой, — иная редакция, вместо 6-й и 7-й строф:

Тишина. И есть дровокольное
Что-то в ней. Будто из-за угла
Ночь рассекла лес колокольнею
Пополам, средь сверканья села.

Затем идут 8—9-я строфы и вслед за этим — целиком и с заглавием стихотворение «Голос души» (см. стр. 538), после чего вновь идет 8-я строфа.

4. Фуфайка больного. Впервые — ТВ (1923). В «Избр.» (1945) — под заглавием «Болезнь».

5. Кремль в буран конца 1918 года. Впервые — сб. «Помощь», Симферополь, 1922, № 1, стр. 6, без заглавия, с пометой «1917» (очевидная ошибка), без 8-й строфы и с разночтениями. С изменениями — «Леф», 1923, № 1. *Визьонер* — человек, у которого бывает *дивинации*, то есть видения.

6. Январь 1919 года. Впервые — ТВ (1923).

7. «Мне в сумерки ты всё — пансионеркою...». Впервые — «Всероссийский союз поэтов». Второй сборник стихов. М., 1922, с разночтениями и с пометой «1920».

РАЗРЫВ

Впервые весь цикл — «Современник», № 1, М., 1922, стр. 10, с двумя разночтениями во 2-м и 9-м стихотворениях. Согласно античному мифу, на охоте в *Калидоне* герой *Актей* гонится за амазонкой *Атлантой*. *Себастьян* — Себастьян Бах. *Берген* — норвежский порт. *Труп затертого до самых труб норвежца*. Имеется в виду полярная экспедиция Амундсена. *Вертер*. Имеется в виду роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ

1. Клеветникам. Впервые — ТВ (1923). *Дункан* — легендарный шотландский король; о нем говорится в «Макбете» Шекспира.

2. «Я их мог позабыть? Про родню...». Впервые — ТВ (1923). *Ордалия* — так называемый «божий суд», пытка, которую обвиняемый должен был выдержать, чтобы доказать свою невиновность.

3. «Так начинают. Годы в два...». Впервые — «Жизнь», 1922, № 1, стр. 105, с посвящением С. Ф. Буданцеву и с разночтениями.

4. «Нас мало. Нас, может быть, трое...». Впервые — ТВ (1923). В рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ, — под заглавием «Поэты». В надписи на книге «Темы и вариации», подаренной автором М. И. Цветаевой, говорится: «Несравненному поэту Марине Цветаевой, „донецкой, горючей и адской“».

5. «Косых картин, летящих ливмя...». Впервые — ТВ (1923).

НЕСКУЧНЫЙ САД

1. Нескучный. Впервые — «Маковец», М., 1922, № 2, стр. 22, под заглавием «Нескучный сад души» и с 4-й, впоследствии снятой строфой:

Как тут, и там немало мест есть,
Где вечер дожидался нас,
И был прохладен и развесист,
Как разрешенный диссонанс.

Нескучный сад — парк в Москве.

2. «Достатком, а там и пирами...». Впервые — ТВ (1923).

3. Орешник. Впервые — ТВ (1923).

4. В лесу. Впервые — «Пересвет», № 2, М., 1922, стр. 46, с разночтениями.

5. Спасское. Впервые — «Пересвет», № 2, М., 1922, стр. 47, под заглавием «Ее детство», с посвящением Е. А. Дородновой и с разночтением. *Спасское* — дачное место под Москвой, ныне станция Зеленоградская, Ярославск. ж. д.

6. Да будет. Впервые — ТВ (1923).

7. Зимнее утро (Пять стихотворений).

«Воздух седенькими складками падает...». Впервые — «Южный альманах», № 1, Симферополь, 1922, стр. 18, под заглавием «Снег идет» и с разночтениями.

«Как не в своем рассудке...». Впервые — сб. «Киноварь», Рязань, 1921, стр. 15—18 (вместе с тремя следующими стихотворениями — под общим названием «Зимнее»), с небольшими разночтениями. В «Стих.» (1935) в стихотворении «Ну, и надо ж было, тужась...» 3-я строка изменена, она читалась: «Чтоб сложить декабрьский ужас».

8. Весна (Пять стихотворений).

«Весна, я с улицы, где тополь удивлен...». Впервые — «Россия», 1922, № 3, стр. 3, под заглавием «Весна» (вместе со стихотворением «Воздух дождиком частым сечется...»), с разночтением.

«Пара форточных петелек...». Впервые — сб. «Кино-варь», Рязань, 1921, стр. 13, под заглавием «Весеннее».

«Воздух дождиком частым сечется...». Впервые — «Россия», 1922, № 3, стр. 3, вместе со стихотворением «Весна, я с улицы...», с разночтением.

«Закрой глаза. В наиглушайшем органе...». Впервые — ТВ (1923). *Орденский капитул* — собрание членов какого-либо рыцарского ордена.

«Чирикали птицы и были искренни...». Впервые — «Московский альманах», № 1, М., 1923, стр. 15, под заглавием «Весна в Москве», с посвящением Н. Н. Асееву и с разночтениями.

9. Сон в летнюю ночь (Пять стихотворений).

«Крупный разговор. Еще не запирали...». Впервые — ТВ (1923).

«Всё утро с девяти до двух...». Впервые — ТВ (1923).

«Пианисту понятно шнырянье ветошниц...». Впервые — ТВ (1923). *Крошня* — плетеная корзина.

«Я вишу на пере у творца...». Впервые — ТВ (1923). *Сотка* — бутылка в одну сотую часть ведра.

«Пей и пиши непрерывным патрулем...». Впервые — ТВ (1923). *Шпанка* — шпанская вишня. *Мазурские озера, горнисты Самсонова*. Дивизия генерала Самсонова в 1914 г. погибла в Восточной Пруссии, у Мазурских озер. *Мораторий* — здесь: отсрочка.

10. Поэзия. Впервые — «Московский понедельник», 1922, № 4, 10 июля, с разночтениями. *Ямская* — московская улица, в то время окраинная. *Шевардино* — один из Бородинских редутов.

11. Два письма. Впервые — ТВ (1923).

12. Осень (Пять стихотворений). В машинописи к Верстке (1957) цикл назван «Перед зимой». В Верстке (1957) — прежнее название.

«С тех дней стал над недрами парка сдвигаться...». Впервые — «Жизнь», М., 1922, № 1, стр. 104, вместе со следующим стихотворением «Потели стекла двери на балкон...», под общим названием «Над Камой» и с разночтением.

«Но и им суждено было выцвести...». Впервые — ТВ (1923). В ТВ (1923) и ДК (1927) — разночтения в последней строке.

«Весна была просто тобой...». Впервые — «Россия», 1922, № 2, стр. 5, под заглавием «Поздняя осень», с разночтениями.

Махан — здесь: бойня, живодерня. *Яспис* — зеленая яшма с красными прожилками.

«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...». Впервые — ТВ (1923).

Стихи разных лет

1918—1931

Отдельно этот сборник не издавался, но печатался вместе с книгами «Начальная пора» и «Поверх барьеров», начиная с издания «Поверх барьеров», М., 1929. В Верстке (1957) раздел получил название «Стихи разных лет».

СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Другу. Впервые — «Новый мир», 1931, № 4, стр. 63. Вошло в ПБ (1931). В рукописи ИМЛИ первоначально было озаглавлено «Борису Пильняку».

Анне Ахматовой. Впервые — «Красная новь», 1929, № 5, стр. 159. С изменениями — ПБ (1931). *Испуг оглядки к рифме прикололи*. Имеется в виду стихотворение Анны Ахматовой «Лотова жена».

Марине Цветаевой. Впервые — «Красная новь», 1929, № 5, стр. 158, без заглавия; вслед за ним идет стихотворение «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...» — акrostих Марине Цветаевой (см. стр. 552). Между 1-й и 2-й строфами было:

Вода бежит со шек трущоб,
Из труб выталкивает втулки
И размышляет, что еще б
Пробулькать в уши переулка.

Мне всё равно, какой покров
Сурово льнет к моим покровам,
Но быть есть быть, когда дерев
Не разглядеть в пару дворовом.

3-я и 4-я строфы — в обратном порядке. После 4-й строфы было:

Мне всё равно, чьи голоса
Толкутся сзади в час рассвета.
По фонарям скользит роса,
И век поэта льнет к поэту.

Кроме того, в журнальном тексте — ряд мелких разночтений. В измененном виде — ПБ (1931), под заглавием «М. Ц.», *Гумигут* — желтая краска.

Мейерхольдам. Впервые — «Красная новь», 1929, № 5, стр. 160, с мелкими разночтениями, без 7-й и 8-й строф, с иной 4-й строфой:

Обмирающею замарашкой
Триумфальная сядет за стол.
И, взглянувши на сверток размякший,
Я припомню, зачем я зашел.

В измененном виде — ПБ (1931). Стихотворение обращено к В. Э. Мейерхольду и его жене — актрисе З. Н. Райх.

Пространство. Впервые — альм. «Земля и фабрика», № 1, М., 1927, стр. 341. Посвящено литературоведу и переводчику Н. Н. Вильям-Вильмонту. С изменениями — ПБ (1929).

Бальзак. Впервые — «Звезда», 1928, № 4, стр. 41. С изменениями — ПБ (1929). *Тильбюри* — открытая коляска на двух колесах. *Своя довлеет злоба дневи* (довлеет дневи злоба его) — довольно каждому дню его заботы (слова из Нагорной проповеди, 6-я глава Евангелия от Матфея).

Бабочка — буря. Впервые — сб. «Московские поэты. Сборник стихов», В.-Устюг, 1924, с иной последовательностью 3-й и 4-й строф и с добавлением 8-й строфы:

Теперь возьми удущье с лихвой
И, воздух ливнем — опьяня,
Бей крыльями листвы пониклой,
Большой Павлин большого дня.

С изменениями — «Россия», 1925, № 4. В окончательном виде — ПБ (1929).

Отплытие. Впервые — сб. «Московские поэты», В.-Устюг, 1924, со многими разночтениями. В измененном виде — «Русский современник», 1924, № 2. Окончательный текст — ПБ (1929).

«Рослый стрелок, осторожный охотник...». Впервые — ПБ (1929).

Петухи. Впервые — «Русский современник», 1924, № 2, стр. 9.

Ландыши. Впервые — альм. «Земля и фабрика», № 1, М., 1927, стр. 339.

Сирень. Впервые — альм. «Земля и фабрика», № 2, М., 1928, стр. 378. В «Избр.» (1945) — с незначительными разночтениями.

Любка. Впервые — «30 дней», № 3, 1928, стр. 17, без 4-й строфы и с разночтениями. С изменениями и с посвящением литературоведу В. В. Гольцеву — ПБ (1929). *Любка* — ночная фиалка. В типографском наборе журнала «Звезда» за 1927 г. (собрание В. Н. Орлова) другая редакция (см. Ранние редакции, стр. 595).

Брюсову. Впервые — «Валерию Брюсову. Сборник, посвященный 50-летию со дня рождения поэта», М., 1924, стр. 65 (с обозначением «Стихотворение, присланное с приветствием»). В измененном виде — ПБ (1929).

Памяти Рейснер. Впервые — ПБ (1929). Лариса Михайловна *Рейснер* (1895—1926) — писательница.

Приближение грозы. Впервые — «Звезда», 1927, № 9, стр. 34, с посвящением литературоведу Я. З. Черняку. С изменением — ПБ (1929).

ЭПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Посвящено Евгении Владимировне Пастернак.

Город. Впервые — сб. «Лирень», М., 1920, стр. 15, с подзаголовком «Отрывки целого», с пометой «1916 г., Тихие Горы». (Тихие Горы — химические заводы на Каме, где Б. Л. Пастернак работал зимой 1916—1917 гг.) Центральная часть (от строки: «Это Люберцы или Любань...» до слов: «Это наш городской гороскоп») — «Новый мир», 1928, № 11, стр. 20, с заглавием «Приписка к поэме «Город. Возвращение», с пометой: «1916—1928» и с разночтениями. В окончательном виде — ПБ (1929). В «Избр.» (1933) — в отрывках, с разночтениями, под заглавием «На путях».

Двадцать строф с предисловием. Впервые — альм. «Писатели — Крыму», М., 1928, стр. 36, под названием «Прощание с романтикой», с пометой: «1924—1927». С изменениями — ПБ (1929). Относится к началу работы над «Спекторским», см. примечания к роману (стр. 671). *Крупны* — немецкие фабриканты оружия и стальные короли.

Уральские стихи. Впервые — «Красная новь», 1921, № 2, стр. 68, с эпиграфом: «Лед и уголь, вы могильны. Брюсов». Цикл состоял из трех стихотворений: первое — «Станция» — кончалось строкой: «Снится, чудится кому-то». Второе, без заглавия, включало три оставшиеся строфы стихотворения, за ними шли еще две:

Реки, — будто лес, как кит
Снизу, с лодки миной взорван,
И из туч и из раки
Дно, обуглясь, гонит ворвань.

Будто день сплавляет лес
 Ночью этих салотопен,
 Строй безмолвья — до небес
 И шеститысячестопен.

Третье — «Рудник». С изменениями — ПБ (1929).

Матрос в Москве. Впервые — «Красная новь», 1921, № 4, стр. 120, с посвящением поэту Д. Петровскому. С изменениями — альм. «Струги», Берлин, 1923, стр. 11, без посвящения, с пометой: «Москва 1919». В окончательном варианте — ПБ (1929). *Галерная* — улица в Ленинграде. *Штевень* — толстый вертикальный брус, составляющий основание кормы или носа корабля. *Стеньга* — часть мачты.

9 - е я н в а р я. Впервые — «Красная новь», 1925, № 2, стр. 32; без строф 9—12 и 20, но с последней строфой, снятой впоследствии:

Минутным делом было вбиться,
 Но было делом двух секунд
 Затискать в грунт портрет убийцы
 И вырубить из почвы бунт.

В измененном виде — ПБ (1929). В рукописи, хранящейся у С. С. Адельсон, стихотворение состоит не из двух, а из трех разделов, второй из них не вошел в окончательный текст:

И спящий Петербург огромен,
 И в каждой из его ячей
 Скрывается живой феномен:
 Безмолвный говор мелочей.

Пыхтят пары, грохочут тени,
 Стучит и дышит машинизм.
 Земля — планета совпадений,
 Стеченье фактов любит жизнь.

В ту ночь, нагрянув не по делу,
 Кому-то кто-то что-то бурк
 И юрк во тьму, и вскоре Белый
 Задумывает «Петербург».

В ту ночь, типичный петербуржец,
 Ей посвящает слух и слог,
 Кругам артисток и натурщик
 Еще малоизвестный Блок.

Ни с кем не знаясь, не знакомясь,
 Дыша в ту ночь одним чутьем,
 Они в ней открывают помесь
 Обетованья с забытjem.

Ляоян — город, где произошло крупнейшее сражение русско-японской войны в августе 1904 г. *Отделы* — в Гапоновском «Собрании русских рабочих».

К Октябрьской годовщине. Впервые — «Звезда», 1927, № 11, стр. 5, без заглавия, с эпитафией: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» из стихотворения Тютчева «29 января 1837». Текст был разделен на четыре отрывка; четвертый состоял из последних двух строк цикла. В первом отрывке после 4-й строфы следовало:

Уже, точно воду дощаник,
Война пропускала леса.
Уж далями рощ в отощаньи
Просвечивали корпуса.

Передний отряд перелесков
Одет был в солдатский брезент.
То был образец королевский,
Он быстро грубел, обрусев.

В этом виде вошло в ПБ (1929). В ПБ (1931) — без этих строк и с изменением. Печ. по «Стих.» (1935). *Бризантный* — фугасный. *Противный стереотип*. Имеется в виду свергнутая власть царского правительства. *Оборонцы*. Часть партии меньшевиков стояла за продолжение империалистической войны.

БЕЛЫЕ СТИХИ

Впервые — «Россия», 1924, кн. 3, стр. 85, с посвящением поэту Д. Петровскому и с разночтениями. В ПБ (1929) и ПБ (1931) — посвящение Е. А. Дородновой. Эпитафия — из стихотворения Блока «О смерти» (цикл «Вольные мысли»). *Ганская* — жена Бальзака. *Мушья* — здесь: красная или рыже-бурая краска. *Сангина* — рыже-оранжевая краска. *Зымза* — карниз.

Высокая болезнь

Впервые — «Леф», 1924, № 1 (5), стр. 10. Дополнения — «Новый мир», 1928, № 11, стр. 18, под заглавием «Две вставки в поэму «Высокая болезнь»: от слов «Хотя зарей чертополох...» и до слов — «И крался с пятого в шестой» и заключение от слов «Чем мне закончить мой отрывок...», с пометой: «1923—1928». В тексте «Лефа» после 98-й строки («За гулом выросших небес») еще одна строфа:

В ушные раковины сна
Из раковин водопровода
Перекачала тишина
Все шепоты золы и соды.

После строки 106-й («Едва с пургой соприкасались») было:

Где слышалось: вчера, ночью
И в керенку ценилась честь...
Поздней на те березки, зорьки
Взглянул прямолинейно Горький.

После строки 118-й («Про радость своего заката») шел отрывок:

Над драмой реял красный флаг.
Он выступал во всех ролях
Как друг и недруг деревенек,
Как их слуга и как изменник.

А позади, а в стороне
Рождался эпос в тишине.

Обваливайся, мир, и сыпья,
Тебя подслушивает пыль.
Историк после сложит быль
О жизни, извести и гипсе.
Ведут свой собственный архив
Пылинки, забиваясь в уши
Органых труб и завитушек.
Лепные хоры и верхи
Оштукатурены це-дуром;
Для них — пустая процедура
Произношение звуков вслух.
К такой щекотке мусор глух.
Но вдохновенья, чей объем
Одушевляет даже бревна,
Улавливает он любовно
Всепожирающим чутьем.

В край мукосеев шел максим,
Метелью мелкою косим.
Мелькали баки и квадраты,
Крича — до срочного возврата!

После строки 140-й («Безмолвствовать как можно суше») было:

А за Москва-рекой хорьки,
Хоралу горло перегрызи,
Бесплотно пили из реки
Тепло и боль болезни высшей.
Мы были сумеркам с руки:
Терзались той же страстью крысы.
Ведь и у них талант открылся,
И тиф у кассы с ними грызся
О контрамарке на концерт.

И тут сумерничала смерть.

После строки 155-й («И хочет быть как я») шел отрывок:

Мы были музыкой объятий
С сопровождением обид.

Бывало, в том конце слободки,
Со снегом реденьким в щепотке,
Мелькнет с мужчиной, как сквозь хмель,
Смущающаяся метель.
И тут же резвую хвостунью
Возьмет на воздухе раздумье:
Чем эту пропасть крыш завьять?
Там вьюшки. Вязью их не взять.
Дрова, деревья, дровни, рынок, —
А в воздухе пять-шесть снежинок,
А душ, а крыш, — в глазах рябит!
Робеет снег; — казаться стыд.
Но скоро открывает иней,
Что нет под крылышками стрех
Ни вьюшек, ни души в помине,
И снегу жаловаться грех.

И, осмелевши, крепнет снег,
Скользя с притворным интересом
По подворотням и по рельсам,
И хлопья врут бог знает что,
Облапив теплое пальто,
Плетут и распускают петли. . .
Вы скажете: как снег приветлив!
Дай бог ему за то — но вдруг
Откуда-то, как в бочку бондарь,
Ударит буря и, помедлив,
Ударит пуще, и на стук
Бурану отопрет испуг,
И в дверь ворвется ипохондрик,
И вырвет дверь у вас из рук,
Вы вскрикнете — как привередлив!
Да знаете ли вы! — но вдруг
На помертвелом горизонте —
Оглядываясь на бегу. . .
Попробуйте-ка, урезоньте
В такую непроглядь, в пургу
В вас втюрившуюся каргу!
Тогда стремительно и метко,
Зачерчивая вечер в клетку,
Взвивалось в воздухе лассо
Сухих строительных лесов.
Рождалось зданье за лесами . . .
С распушенными волосами,
И страсть народу волоклось

В седых сетях ее волос.
И — в капоре пурги тогдашней
Сквозь мглу распахивались нам
Объятая Сухаревой башни,
Простерты, как Нотр Дам.

О раздираемый страстями
Стан, сумасшедший как обвал,
В те ночи кто с тобой не спал,
Разыскиваемый властями?
Кто хохот плеч твоих отверг?
Всей необузданностью муки
Твои заломленные руки
Кричали вьюге: руки вверх!

Ты становилась всё капризней,
И ненасытности стропил,
Ослабевав, уступил
Последний жалкий признак жизни.
В ту ночь в понятиях небес
Всё стало звуком: звук исчез.

После строки 166-й («Заслякоченный черный ход»):

Потом двенадцать полных лун
На нем безмолвствовал колун.

С исчезновенья фонарей
Воображенью пустырей
Всё стало представляться звуком,
И даже сумрак у дверей,
С исчезновеньем фонарей
Притворства ради пахший луком.

После строки 182-й («В больших глазах больных берез»):

За день пред тем сломался Цельсий,
Всё наземь побросав с нуля:
Стал падать снег, зашлась земля,
Упало сердце, флигеля,
И голой ростепели тельце
Исчезло, став еще тощей
В осколках рухнувших вещей.

После строки 190-й («Казалась сказка про конвент»):

А день потух. — Ах, эпос, крепость,
Зачем вы задаете ребус?
При чем вы, рифмы? Где вас нет?
Мы тут при том, что не впервые

Сменяют вьюгу часовые
И в эпос выслали пикет.
Мы тут при том, что в театре террор
Поет партеру ту же песнь,
Что прежде с партитуры тенор
Пел про высокую болезнь.

Вместо строк 199—202-й было:

Тяжелый строй, ты стоишь Трон.
Что будет, то давно в былом,
Но тут и там идут герои
По партитуре, напролом.
Однажды Гегель ненароком
И, вероятно, наугад
Назвал историка пророком,
Предсказывающим назад.
Теперь сквозь строй его рапсодий
Идут герои напролом.
Я сам немножко в этом роде
И создан под таким углом.

Чем больше лет иной картине,
Чем наша роль на ней бледней,
Тем ревностнее и партийней
Мы память бережем о ней.

После строки 217-й («Класс спрутов и рабочий класс») было еще
двустихие:

А я пред тем готов был клясться,
Что Геркуланум — факт вне класса.

После строки 234-й («Арктических петровых вьюг») были строки:

Опять, куда ни глянешь, сыро.
По всей стране холодный лют
Струится, заливая дыры
С юродством сресшихся слобод.

Печ. по Верстке (1957), где была изменена концовка, — прежде было:

Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.

Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Девятый съезд Советов состоялся в 1921 г., в Большом театре; отчетный доклад делал В. И. Ленин. *Карельский вопрос* — об укреплении Советской власти в Карелии. *Сказка про конвент*. Имеются в виду события Великой французской революции. *В зияющей японской брешу*. Речь идет о гигантском землетрясении в Японии весной 1924 г., когда в одном Токио погибло около 250 000 человек. *Актный зал* — в Смольном, где В. И. Ленин провозгласил Советскую власть. *Чем мне закончить мой отрывок* и т. д. Пастернак описывает свое впечатление от выступления В. И. Ленина на IX съезде Советов. Ленину посвящена большая часть главы «Сестра моя — жизнь», автобиографических заметок Пастернака. «Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросающаяся прямота; требовательность и стремительность; не имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведшейся еще и не оконченной войной, ради немедленного создания нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность, вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже во врагах. Как бы ни отличались друг от друга великие революции разных веков и народов, есть у них, если оглянуться назад, одно общее, что задним числом их объединяет. Все они — исторические исключительности или чрезвычайности, редкие в летописях человечества и требующие от него столько предельных и сокрушительных сил, что они не могут повторяться часто. Ленин был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной. Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не боялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения».

Девятьсот пятый год

В заметке из раздела «Над чем работают писатели», напечатанной в журнале «На литературном посту» (1926, № 1), Б. Пастернак писал: «Я работал и работаю над поэмой о 1905 годе. Вернее сказать, это не поэма, а просто хроника 1905 года в стихотворной форме. Работать над ней я начал с осени. Сейчас написаны начало Потемкинского восстания, Гапон, 9 января, декабрьское восстание,

Эти фрагменты, пока еще лишённые внутренней связи, будут печататься в отдельных журналах, после чего я их переделаю еще раз и составлю уже к весне цельную вещь, книгу». Позднее, в том же журнале (1927, № 4), Б. Пастернак писал: «Больше года я работаю над книгой «1905 год», которая будет состоять из отдельных эпических отрывков... Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно».

Поэма «Девятьсот пятый год» печаталась по главам в различных журналах и альманахах, четырежды издавалась (совместно с поэмой «Лейтенант Шмидт») отдельной книгой, входила в большинство сборников избранных произведений Пастернака. В рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ, поэма «Девятьсот пятый год» названа: «Из работ о 1905 годе». Печ. по «Избр.» (1948). Сокращённая в этом издании глава «Москва в декабре» — по Верстке (1957).

«В нашу прозу с ее безобразьем...». Впервые — альм. «Половодье», 1926, стр. 160, с разночтением. В рукописи, хранящейся у В. Г. Лидина, стихотворение озаглавлено «Ода» (название зачеркнуто) и датировано 25.X.25.

Отцы. Впервые — альм. «Пролетарий», Харьков, 1926, стр. 23, с разночтением в 4-й строфе (строки 5—10):

Крепостную Россию
Нельзя не узнать на рисунке,
А рисунок зовется
Россию после реформ.

Главу завершали строки:

Эти марева днем,
Эти зарева города ночью
Будут рваться,
Тянуться,
Свиваться,
Мотать головой.
Будет ясно как день:
В скользких кольцах столетью нет мочи
И змее ни одной
От него не убраться
Живой.

В рукописи ЦГАЛИ глава названа «Пролог», имеет помету: «20.XII.25» и разночтения, в основном совпадающие с текстом «Пролетария». С. Г. Нечаев (1847—1882) — революционер-заговорщик. *Лаокоон* — античная скульптура Лаокоона и его сыновей, борющихся с одолевающими их змеями.

Детство. Впервые — альм. «Пролетарий», Харьков, 1926, стр. 27, с разночтениями. До «Избр.» (1948) во всех изданиях начало 10-й строфы читалось:

На Каменноостровском
Панели стоят на ходулях,
Смотрят с тумб и кносков.

Вхутемас — Школа живописи, ваяния и зодчества, где преподавал отец поэта и где жила семья, после революции стала называться Высшими художественно-техническими мастерскими. *Грузины* — район в Москве около Пресни. *Сергей Александрович* — великий князь, московский генерал-губернатор, был убит эсером И. Каляевым.

Мужики и фабричные. Впервые — «Звезда», 1926, № 2, стр. 140, без заглавия и с еще одной строфой (между 5-й и 6-й строфами):

Постепенно светает.
И тащится чаша по шторе.
Поезд режется с ней,
Как пилы разъярившейся диск.
И жемчужной зарей
Наши земцы,
Куря в коридоре,
Исчисляют убытки
И пишут правительству
Иск.

В рукописи, хранящейся у С. С. Адельсон, «Мужики и фабричные» и «Морской мятеж» составляли одну главу (без заглавия). Их объединяла строфа:

Лагерь.
Рыбаки.
Облака и обвалы на блюдцах.
Что ни камень, то глыба.
Что ни омут — бездонный судок.
Якоря.
Поплавки.
Разбежаться.
Упасть.
Окунуться.
И оглохнуть,
И всплыть
Головой в голубой ободок.

Везувий под Лодзью. Имеется в виду восстание 1905 г. в Лодзи.

Морской мятеж. Впервые — «Новый мир», 1926, № 2, стр. 31, под заглавием «Потемкин», с разночтениями. После 7-й строфы («Солнце село...») следовало:

С мятежа в экипажах
Повеяло волей над флотом,
Смутно мысль зародилась,
Смутнее молва разнеслась:
Плоть от плоти рабочих,
Матросы им будут оплотом.
Знак к восстанью
Эскадре
В учении
Даст «Ростислав».

После 8-й:

А на деке роптали.
Приблизившись к тухнувшей стерве
И увидя,
Как кучится слизь,
Извиваясь от корч,
Доктор бряк наобум:
— Порчи нет никакой.
Это черви.
Смыть и только, —
И — кокам:
— Да перцу поболее в борщ.

Тендр — остров около Крыма. *Спардек* — одна из палуб броненосца. *Кнехт* — чугунная тумба для крепления якорной цепи. *Матюшенко* — один из руководителей восстания на «Потемкине».

Студенты. Впервые — «Красная нива», 1926, № 20, стр. 6, под заглавием «Похороны Баумана» и с разночтениями. Глава началась строфой, впоследствии опущенной:

Несся вскачь, распахнувшись,
И ширилась знамени глотка,
Ветер вихрил доху
И дыханье
И стяга мохну.
Вдруг сорвись сломя голову
Дворник, как зверь, за пролеткой.
Что-то звяк,
Замахнулся,
И — ломом,
Тот и недохнул.

До «Избр.» (1948) во всех изданиях начало заключительной строфы читалось:

Мыльный звон пузырей.
Это в колбы палатных беспамяств

Вмуровалось
Сквозь стенку
Несущейся сходки вытье.

Э. Г. Бауман — один из видных революционеров, убитый черносотенцами в 1905 г., его похороны превратились в демонстрацию, которая завершилась стычкой студентов с черносотенцами у памятника *Ломоносову* перед зданием Московского университета.

Москва в декабре. Впервые — «Огонек», 1926, № 29, стр. 16, под заглавием «Пресня». Эта глава в 1927 г. при подготовке первого отдельного издания поэмы целиком подверглась решительной переработке. Треть главы была выкинута. Начальные строфы первоначальной редакции:

Битый год я кружусь
В вертеже
Исторических чисел.
Как могла, я крепилась,
Указанного держась.
Что мне делать теперь,
Когда все мои силы превысил
Этот взрыв нетерпенья
В никем не назначенный час?»
Зашатавши стволы
И вздымая
Корсаж из железа,
Хороша, как смятенье,
Как грива пожара рыжа,
Как улыбку, гоня
С замелившихся губ
Марсельезу,
Так и бухнула штабу,
От натиска счастья дрожа:
«Час мой пробил.
На зимнюю площадь любой из окраин!
Шей мне занавес, ночь!
Городи декорации, снег!
Я не знаю сама, что со мной,
Но пойдем, доиграем.
Отпирайте казармы.
Зовите к участию всех».

Вместо 7-й строфы было:

Шашки.
Бабьи платки.
Бакенбарды и морды вагулок.
Густо бредят костры,
Точно их лихорадка трясет.
Гулко ухает в фидлерцев

Пушкой
Машков переулоч.
Полтора́ста борцов
Против столько́х же тысяч и сот.
Ночь на Чистых Прудах.
Поседелых деревьев вершины.
Пять часов запустенья.
Бегущие люди в шестом.
В ту же ночь
По Новинскому
Бодро проходят дружины
И снимает из маузеров
Бляшников
Пост за постом.

Перед 12-й строфой («Значит, крышка?..») были строки:

День тоски, день хлопот.
Надо встать и на что-то решиться.
Лезут глупости сдуру.
Надетым на саблю платком
Еще машет поручик
Дружинникам
В Среднем Тишинском.
К черту!
Прочь сентименты!
Недаром торопит ревом.

Перед последней строфой («Было утро...») были строки:

Но герои дошли.
Когда их подвели,
Как сипаев,
К дулам пушек,
Не вынес,
Как сноп, повалился один.
Он очнулся на миг
И услышал,
Опять засыпая:
«А не выйдут,
С землею сравняю», —
Покрикивал Мин.

Граль — здесь символ святости (по средневековому сказанию о «Чаше Грааля»). *Аквариум* — увеселительный сад на углу Садовой Триумфальной. *Фидлерцы* — ученики реального училища Фидлера, подверглись артиллерийскому обстрелу. *Мин* — командир Семеновского полка, присланного из Петербурга для подавления восстания. *Риман* — офицер, прославившийся своею жестокостью. *Прохоров* — владелец Трехгорной мануфактуры.

Лейтенант Шмидт

Впервые — частями: «Новый мир», 1926, № 8-9, стр. 33; «Молодая гвардия», 1926, № 7, стр. 3; «Новый мир», 1927, № 2, стр. 29; № 3, стр. 22; № 4, стр. 30 и № 5, стр. 39. Журнальные публикации значительно расходятся с окончательным текстом. Главы имели названия. Сохранилась неполная рукопись поэмы (расклейка с авторской правкой, хранящаяся в ЦГАЛИ, которая во многом соответствует журнальному тексту. Поэму предваряло «Посвящение» (акrostих — Марине Цветаевой):

Мельканье рук и ног, и вслед ему:
«Ату его, сквозь тьму времен! Резвей
Ревя рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».
Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень — Сатурн.
Вращающийся возраст, круглый след.
Ему б уплыть стихом во тьму времен;
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог: ату!
Естественный, как листья леса, стон.
Вск, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, стволами, сном ветвей
И ветром и травкою мне и ей.

Часть первая. Глава 2 — «Первое письмо» — в журнале заканчивалась строфой:

Вот оправданье беспричинной дерзости.
Вот отчего я не кажусь вам фатом.
Но надо кирпичу с карниза сверзиться,
Чтоб догадались люди: это фатум.

Далее следовала опущенная впоследствии глава — «Письмо о дрязгах»:

Ваш отклик посвящен делам.
Я тем же вам отвечу
И кстати опишу бедам,
Предшествовавший встрече.

Я ездил в Керчь. До той поры
Стоял я в Измаиле.
Вдруг — телеграмма от сестры —
И... силы изменили.

Четыре дня схожу с ума,
В бессильи чувств коснею.
На пятый, к вечеру — сама.
Я объясняюсь с нею.

Сестра описывает смерч
Семейных сцен и криков
И предлагает ехать в Керчь
Распутывать интригу.

Что делать! Подавив протест,
Таю сестре в угоду,
Что обнаружусь мой отъезд,
Мне крепости три года.

Помешали. Продолжаю. Решено:
Едем вместе. Это мне должно зачесться.
В гонке сборов и пока сдаю судно,
Закрывают отделение казначейства.

Ночь пропитана, как сыростью, судьбой.
Где б я был теперь, тогда же в путь не бросься?
Для сохранности решаюсь взять с собой
Тысячные деньги миноносца.

В Керчь водой, но по Дунаю все свои.
Разгласят, а я побег держу в секрете.
Выход ясен: трое суток толчеи
Колеями железнодорожной сети.

В Лозовой освобождается диван.
Сплю как мертвый от рассвета до рассвета.
Просыпаюсь и спресонок за карман.
Так и есть! Какое свинство! Нет пакета.

Остановка. Я — жандарма. Тут же мысль:
А инкогнито? — Спасаясь в волны спячки.
По приезде в Киев — номер. Пью кумыс
И под душ и на извозчике на скачки.

Странно, скажете. К чему такой отчет?
Эти мелочи относятся ли к теме?
Крупно только то, что мелко. Так течет,
Растоясь бессонной летней ночью, время.

Следующая глава начиналась со слов: «Давайте посчитаемся...» и шла под названием «Письмо из Севастополя». Гл. 4 называлась «Стихия», после 1-й строфы в журнале было:

Глаза протереть! Оклемаюсь!
О, юношеская бурность
Курсисток! О, фурий-мишурниц
Старушечье — чур нас!
Щемящая грусть прокламаций.
О, море! О, рев о пощаде!

И грохот безумных и здоровых,
И левых и правых!

Между строками: «Клянитесь! Клянемся!..» и «О вихрь, обрывающий фразы..» следовало:

О, кучи песку и асбеста,
Летающие с берега на дом
К садам, становящимся задом,
Ветвями к фасадам!

О, ветер в ограде! Пресытись,
Ты рыщешь с искромсанной клятвой.
Клянитесь! Клянемся! — Клянитесь!
Как тени велят вам!

Затем шла глава «Мужское письмо»:

Здравствуйте, моя подруга!
Здравствуйте, моя опора!
Сделано большое дело,
Это дело сделал я.

Только б не сорваться с круга!
В эти дни я сдвинул гору,
И теперь, признаюсь смело,
Я люблю вас, жизнь моя!

В этом нет для вас позора.
Всем любовь мою сткройте.
Я теперь в чести и славе,
Ваш поклонник знаменит.

Можете сказать, и вправде,
Вас боготворит не пройда,
Но предмет статей и споров
И поборник правды — Шмидт.

В этот холод, в эту застыдь,
В эти дни торжеств и паник
Где, как не у вас, дружочек,
Где, о где набраться сил?

И о как же мне не хвастать!
Я — пожизненный избранник
Севастопольских рабочих
После речи у могил.

Речь известна по газетам
И вошла в анналы края.

Пробудил ли вид заглавья
Что-нибудь у вас в груди?

Ах, я в вас души не чаю
И живу заемным светом! . .
Мы добьем самодержавье —
Что еще-то впереди?

Гл. 5 называлась «Марсельеза», ей был предпослан эпиграф: «Артиллерист стоит у кормила» («Поверх барьеров»), она заканчивалась строфами:

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил,
Саперы месяц слякоть, и гуляют егеря.

Не толкайтесь, пожалуйста! — На действительных началах
Неприкосновенности личности, ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, скрипят о причалы
Дунайских пароходств и интендантских тунеедств.

Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

Доношу о распушенности в Брестском и Белостоцком
Полках, выражающейся в шатаньи по ночам
И езде на извозчиках из подражания флотским,
По халатности начальства, не заботящегося ни о чем.

Гл. 6 называлась «Ноябрьский митинг»; вместо строки «Айва, антоновка, кизил. . .» было:

Айвы гниющие огни,
Упав, гадают на грязи
О вероятных таскоти
Действительно, лишь вихрь дохни,
И завтра же выпадет снег в Симеизе.

(здесь третья строка, видимо, журнальная опечатка: «о вероятье таскотни»).

Гл. 7 называлась «Восстанье» и завершалась строфами:

Гирляндой, версты огибавшей,
По вантам бился переклик,

Опрашивали экипажи,
Поддерживали, берегли.

Флажки шептали: смерть драконам,
Но новый ветер, налетев,
Сменял их верными законам
Или сулил нейтралитет.

Когда ж сменилась пляска знаков
Несением ночных дежурств,
Один Потемкин и Очаков
Остались верны мятежу.

* * * * *
А тот, в совете, раскарякой
Средь сотни вопрошавших глаз
Шептал, как флаг Петров с «Варяга»,
В двадцатый или сотый раз.

В гл. 8 после заключительной строфы следовал позднее исключенный отрывок:

Прервал и жалею.
Усилилась качка.
На то ли я
Ловлю ее плеск,
Чтоб болеть тем полней?
Неужели
Недели пройдут в этой пытке?
Острог — санатория
Пред этой плавучей
Покойницкою на качелях!
Добро бы хоть каторга!
Можно б от диспутов выспаться.
Добро бы гробница!
Хеопс утопает в удобствах.
Но обе — в подобьи!
Весь день — электричество.
Исподволь
Мне помпою воздух качают,
Чтоб я не задохся.
Нет сил моих, Ася!
Всей шлепающей громадою
Гиганта судна
Бескуражен с бухты-барахты.
Едва чебурахнет,
И падаю духом,
И паденью —
Ни дна,
Ни скончанья,

Как дням и качанью гауптвахты.
И еканье сердца
Сживается с дерганьем якорным,
И чудится
За громыханием волн
Временами,
Что не броненосец,
Лягаясь,
Становится на корму,
А дыбится жизнь
И пугается
Воспоминаний.
Не штаба страшусь.
Обещаются в пятницу выпустить.
За речь — оказалось.
Но на сердце точно ободья,
И трудно дышать мне,
И чувствую — нет во мне гибкости.
Какой я политик
И что меня ждет на свободе?
А вдруг я герой обреченный?
Еще обстоятельство:
Я вижу, ты машешь рукой,
Отгадала, мол:
Влюбчив.
Оставь, не до шуток.
Положим, и попусту тратился.
А эта —
Грядущего детище, Ася, голубчик!
Я века предвестье люблю в ней.
Еще не ослабили
Ни тягости брака,
Ни бездна изведенной боли.
Нежданная радость:
Велят собираться — и на берег,
Поздравь меня, Ася.
Я, кажется, снова на воле.

Часть вторая. Гл. 1 — «В экипажах», с авторским пояснением. «экипажи — морские казармы». Гл. 2 называлась «Тяжелая ночь» и заканчивалась отрывком:

Нет. Я объеду города
И пробужу страну от спячки.
И лишь тогда пущу суда
На помощь всероссийской стачке.

Но так, безумное одно
Судно против эскадры целой.

Нам столковаться не дано,
Да и не ваше это дело».

Пожатья рук. Разбор галош.
Щелчок английского затвора.
Плывущий за угол галдеж.
Поспешно спущенные шторы.

И ночь. Шаганье по углам.
Выставанье до ознеба.
С душой, разбитой пополам
Над требухою гардероба.

Отказ от планов. Что ни час,
Растущая покорность лани.
Готовность встать и согнуться с глаз
И согласиться на закланье.

И, наконец, тоска и лень,
Победа чести и престижа.
Чехлы, ремни, — и ночь, и день,
И вечер, о котором ниже.

Гл. 3 называлась «Безоглядочное решенье». Гл. 4 называлась «Серверный рейд» и начиналась:

Стихла буря. Дождь сбежал
Ручьями с палуб по желобам,
Ночь в исходе. И ее
Тронуло небытие.

После строки: «Но чем он с панталыку сбит?..» следовало:

Где след команд? — Неотрезвимы,
Споили в доску, и к утру,
Приняв от спившихся в дрезину
Повинную, спустили в трюм.

Теперь там обморок и одурь.
У пушек боцмана. К заре
Судам осталось прятать в воду
Зубовный скрежет якорей.

А там, где грудью б встали люди,
Где не загон для байбаков,
Сданы ударники к орудьям,
Зевают пушки без бойков,

Зато на суше — муравейник. . .

После строки: «Чтоб вихрем гари в ночь нестись...» следовало.

Но это только в первый ярус.
А сверху бухты бунтарей
Амфитеатром мерит ярость
Объятых негой бунтарей.

Гл. 5 называлась «Поднятые флага»; после строки: «В осиннике снастей» было:

Сигналы «Вижу» дальних мачт
Рябят — (две, три, четыре, пять) —
Рябят — (не счесть, чего желать!) —
Рябят седую гладь.

Простор, ощерясь мятежом,
Топорщится ежом.
Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

Как красный флаг, как флотский знак
К открытию огня.
Вверх и наотмашь поперек,
Как сабля со стегна.

Гл. 6—8 называлась «Обход эскадры» и начиналась впоследствии исключенными строками:

Вдруг взоры отвлеклись к затону.
Предвидя, чем грозит испуг,
Как вены, вскрыв свои кингстоны,¹
Шел кó дну минный транспорт «Буг».

Он знал, что от его припадка
Сместился бы чертеж долин:
Всю левую его лопатку
Пропитывал пироксилин.

Полуутопший трапецоедр
Служил свидетельством толпе,
Что бой решен, и рыба роет
Колодцы под смерчи торпед.

Что градоносная опасность,
Нависшая над кораблем,
Брюхата паводком снарядов,
И, чернь по кубрикам попрыгав

¹ Кингстоны — каналы, ведущие в балластные цистерны двойного дна.

Угрозой, водкой и рублем,
Готова, не стерпевши, хряснуть,
Как мокрым косарем кочан,
Арапником огня по трапам;

Что их решили взять нахрапом.
И рейд на клетки разграфлен.

За последней строкой следовало:

Поднявшись над скопом
Слепых остолопов,
Ворочая шеей оград и тумб,
Летевший навстречу ему Севастополь
Следил за ним
За румбом румб.

В гл. 7 после 1-й строфы следовало:

Он не спешил. На миноносце
Щадили винт.
Он чуть скользил, а берег неся,
Как в фордевинд.¹

В гл. 8 после строки: «Освобожденных каторжан...» следовало:

Снова по рейду и по ряам
Громко пронесся красный вихрь:
Бывший «Потемкин», теперь — «Пантелеймон»
В освобожденных узнал своих.

Гл. 9—10 в журнале составляли главу «Гибель Очакова»; после заключительных строк гл. 10 следовало:

Уже давно затих обстрел.
Уже давно горит судно
В костре. Уже давно быстрей
Летят часы. Затих
С последней вспышкой треск шутих.
И крейсер догорел.

Глухая ночь. Чернильный ров
Морской губы. Слепой покров
Бегущих крыш и катеров
В чехлах прожекторов.

Часть третья. Гл. 1 называлась «Последнее письмо» и относилась ко 2-й части. В гл. 5 после строки: «С пригретых солнцем крыш...» следовало:

¹ Фордевинд — первый попутный ветер.

Без всякого вниманья
В тумане различишь,
Как к ракушкам в лимане
Кубышками льнет камыш.

Гл. 7 завершалась четверостишием:

Час спусть опять назад с гауптвахты
Той же кучей в сорок три шей
К папкам обвинительного акта,
В смертный шелест сто второй статьи.

В гл. 8 в тексте, подаренном автором Я. З. Черняку после выхода в свет книги с поэмой «Лейтенант Шмидт», после строки «Не жду и не теряю...» следовало:

Как непомерна разница
Меж именем и вещью!
Зачем Россия красится
Так явно и зловеще!

Едва народ по-новому
Сознал конец опеки,
Его от прав дарованных
Поволокли в аптеки.

Всё было вновь отобрано.
Так вечно пункт за пунктом
Намереньями добрыми
Доводят нас до бунта.

После строки «Теперь не сожалею»:

Поставленный у пропасти
Слепою властью буквы,
Я не узнаю робости,
И не смутится дух мой.

Сличение текста со стенограммой речи Шмидта позволяет судить о тщательности, с какой автор изучал исторические документы. «Я знаю, вы, так же, как и мы, жертвы переживаемых потрясений народных... Когда дарованные блага начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик» (см. речь П. П. Шмидта на суде — сб. «Подсудимые обвиняют». М., 1962, стр. 218—220). Адмирал *Чухнин* — командующий Черноморским флотом. *Терпуг* — пазильник. *Дряня* — снег с дождем. *Горжа* — вход из укрепления в бастион. *Конфидент* — человек, обремененный доверием. *Пелион*, *Осса* — горы в Греции; в одном из мифов гиганты в борьбе с Зевсом пытались громоздить гору на гору, чтобы взобраться на небо.

Спекторский

Роман писался с 1924 г. по 1930 г. и печатался частями в разных изданиях: альм. «Круг», 1924, № 5 (гл. 1, 2, 3); альм. «Ковш», 1925, кн. 2 (гл. 1, без 13—15 строф, первые шесть строф гл. 2, гл. 3); журнал «Россия», 1925, № 5 (14), — под названием «Встреча Нового года» (7—21 и 29—42 строфы гл. 2); сб. стихов «Стык», 1925, М., (22—42 строфы гл. 2); альм. «Ковш», 1926, кн. 4 (1—18 строфы гл. 4); «Красная новь», 1928, № 1 (гл. 5, впоследствии написанная заново, см. Ранние редакции, стр. 597 — «С вокзала брат пошелся на урок...»); «Красная новь», 1928, № 7 (гл. 6 и 7, под общим названием «Двор», с посвящением Борису Пильняку); «Красная новь», 1929, № 12 (гл. 8 и 1—7 и 17—25 строфы гл. 9); «Новый мир», 1930, № 12 («Вступление»). Для отдельного издания («Спекторский», 1931) текст был заново отредактирован, некоторые части написаны заново, из гл. 2 выброшены отрывки: «Когда рубашка врезалась под пружой...», который шел за строкой «И елка иглы осыпает в крем» (см. Ранние редакции, стр. 595), и «Метель тех дней!..», завершавший 2-ю главу (см. стр. 596). Строфы 19—29 гл. 8 в «Спекторском» (1931) и в «Поэмах» (1933) — отсутствуют. В «Красной нови», 1929, № 12 вместо 17—25 строф гл. 9 шел отрывок: «Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул...» (см. стр. 601).

В «Спекторском» (1931) и в «Поэмах» (1933) роман в стихах печатался с эпиграфом, впоследствии снятым: «Были здесь ворота...» (Пушкин, «Медный всадник»).

Со «Спекторским» тесно связаны два произведения Пастернака: «Двадцать строф с предисловием» — ПБ (1929) — и прозаическая «Повесть» (1934). В статье Д. Кальма «„Спекторский“ Б. Пастернака» приводятся слова поэта о романе: «Задачу, которую ставил себе Борис Пастернак, работая над «Спекторским», он формулирует как стремление «изобразить перелом очевидности, дать общую сводную картину времени, естественную историю быта» («Лит. газета», 1931, 19 марта). В заметке из раздела «Писатели о себе», напечатанной в журн. «На литературном посту» (1929, № 4-5), Пастернак так объясняет соотношение романа и «Повести»: «Часть фабулы в романе, приходящаяся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части все более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу. С этой целью я недавно засел за повесть, которую пишу с таким расчетом, чтобы, являясь прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей «Спекторского» и подготовительным звеном к стихотворному его заключению, она могла бы войти в сборник прозы, — куда по всему своему духу и относится, — а не в роман, часть которого составляет по своему содержанию. Иными словами, я придаю ей вид самостоятельного рассказа. Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу «Спекторского». «Повесть» начинается с упоминания романа: «В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать. Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он

запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то, как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь». Сюжет «Повести» непосредственно очень мало связан с романом, однако в ней есть упоминания об отдельных ее эпизодах, дается более расширенная характеристика сестры Спекторского, затрагивается и здесь не очень отчетливо выявленная линия двух братьев (пояняются, кстати, строки в гл. 5 романа: «Их назвали, но как-то невдомек. Запало что-то вроде «мох» иль «лемех». Фамилия братьев — Лемох) и т. д. Временное соотношение романа и «Повести»: 1-я и 2-я главы романа — Рождество 1912 года, 3—7-я главы — весна 1913 года, «Повесть» относится к началу 1916 года, но все действие ее (данное как воспоминание Спекторского) развертывается летом 1914 года, и, наконец, заключительные 8-я и 9-я главы романа — 1919 г.

В рукописи, хранящейся у Л. Ю. Брик, два отрывка «Из записок Спекторского», относящиеся, вероятно, к первоначальной (журнальной) композиции романа (см. Ранние редакции, стр. 602). Джозеф Конрад (1857—1924) — английский писатель. Марсель Пруст (1871—1922) — французский писатель. Мельник пушкинский — один из героев «Русалки» Пушкина. Мальстрем — морской водоворот у берегов Норвегии. Цинерария — цветущее декоративное растение. «Громокопийный кубок» — сборник стихов Игоря Северянина. Мерилиз — магазин Мюра и Мерилиза в Москве, теперь ЦУМ. Земляной Вал — улица в Москве. «Кнут» и «Вече» — журналы реакционного направления. Шиперка — ломбард. Раменье — лес, соседствующий с полем. Рейнское (рейнское) — виноградное вино. Сыромятниковские склады — товарные склады Курской железной дороги в Сыромятникове. Ступин — транспортная контора. Децемвир — выборный блюститель закона в Древнем Риме. Аплике — накладное серебро. «Ира» — марка папирос.

Второе рождение

1930—1931

Стихи, входящие в эту книгу, были написаны в течение 1930—1931 гг. и, прежде чем выйти отдельным изданием, все, кроме одного («О, знал бы я, что так бывает...»), публиковались в журналах. Первое издание книги «Второе рождение» (1932) было повторено в 1934 г., но без стихотворения «Столетье с лишним, не вчера...», которое не входило и в «Стихотворения» (1933 и 1935), включавшие всю книгу (под общим названием «Волны»). В «Избр.» (1945) и Верстке (1957) книге возвращено первоначальное название.

1

Волны. Впервые — «Красная новь», 1931, № 1, стр. 24. С изменениями — ВР (1932). ВР (1934) — без членения, как цельная поэма, с добавлением одной строфы (после слов «За родом род, за пядью пядь...»):

Война не сказка об Иване,
И мы ее не золотим.
Звериный лик завоеванья
Дан Лермонтовым и Толстым.

Эта строфа впоследствии не перепечатывалась. Печ. по ВР (1932). В Верстке (1957) автор сделал ряд исправлений; некоторые из них впоследствии отменил, другие неоднократно переправлял (10-й отрывок имеет три варианта), что не позволяет считать этот текст окончательным. В 1-м отрывке 7—8-я строки исправлены:

Волна подает свой голос в хоре
И новой очереди ждет,

Впоследствии восстановлен старый вариант, в рукописи имеется помета: «Попало во французский перевод». В 3-м отрывке исключена 6-я строфа. В 4-м отрывке неоднократно изменялась 1-я строфа. Наиболее законченный вариант:

Здесь будет дальнего обвала
Гремящий за горами гул,
И жалкий дворик постоялый,
И скалы, сакли, и аул.

В 11-м отрывке — несколько вариантов 2-й строфы:

Шумит прибой, и неизменно
Ложится за волной волна,
И их следы смывает пена
С песчаных круч, как письма.

12-й отрывок переписан заново:

Октябрь, а солнце так же жгуче,
И блещут пальмы на холме,
Но выпавшего снега кучи
Напоминают о зиме.

Она вблизи, она в преддверьи,
Она в дверях. Остаток дней
Я убыль расстоянья мерю
Меж нами, осенью и ей.

Зима всё ближе, жизнь всё глуше,
Безлюдней берега откос,
Как будто всё живое с суши
Осенний ветер в море снес.

Пойдем, простимся с побережьем
И, обежав его кругом,
Подобно остальным приедем,
Стопы на север повернем.

У Г. Д. Бебутова находится ранняя рукопись четырех отрывков из «Волн», подаренная ему автором в 1931 г. и значительно отличающаяся от печатной редакции. В 1-м отрывке вместо 2—5-й строф:

Исполнен май, и август справлен,
И сентября насыпан холм,
А море знай жуёт, как вафли,
Густую белковину волн.

Четырнадцатого июля
Чуть свет мы прибыли в Тифлис.
Три месяца, как сон, мелькнули,
Как вал, над головой сошлись.

Стоит октябрь, зима при двэрях,
Тоскует лета эпилог,
А море знай хлобыщет в берег
Прибоя порванный белок.

В 3-м отрывке (он идет вторым) начало:

Войду, как входит ночь в аллею,
Пройду, как ночь, пройду насквозь,
Пройду насквозь и пожалею,
Что я в Москве, что мы не врозь.

Обрубки дней, как сахар, хрупки,
И галек мелко наколов,
Знай скатывает море в трубки
Белок разорванных валов.

Вместо 6-й строфы:

Опять повалят с неба взятки,
Опять попрячет к утру вихрь
Оси и ясеней десятки
Под слой осадков снеговых.

Заканчивается отрывок еще одной строфой:

Уж в горы снег местами вкраплен,
И кубок дней не верхом полн,

И допивая их по капле,
Глокает море вафли волн.

Во 2-м отрывке (он идет третьим) после 2-й строфы следует еще одна:

На восемь верст отбитый ниткой
И пеной, ровною как нить,
Готовый отразить попытку
Равнение это изменить.

Вместо 4-й строфы:

Прямой, как озаренность свыше,
Слывущая у нас за блажь,
Обширный, как четверостишье,
Огромный восьмиверстный пляж.

После 5-й строфы еще одна, заключительная:

С полудня зыблущий, как студень,
Желе купальных мокрых блуз
И, точно поцелуй Иудин,
Следы сосудистых медуз.

11-й отрывок начинается с 3-й строфы; вместо 4—5-й строф:

Ты б слушала и молодеда,
Большая, смелая, своя,
Прямой, как изложение дела,
Разбор нескладиц бытия.

Есть в опыте больших поэтов
Черты душевности такой,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить черною тоской.

В сб. «Стихи о Грузии» (1958) — шесть отрывков из «Волн», тексты которых контаминированы из разных редакций. *Кобулеты* — город-курорт в Аджарской АССР, на берегу Черного моря. *Ларс* — почтовая станция на Военно-Грузинской дороге. *Млеты* — селение на Военно-Грузинской дороге, за Крестовым перевалом. *Девдорах* — ледник на северо-восточном склоне Казбека. *Ты* — край, где женщины в *Путивле Зегзицами не плачут впредь*. Имеется в виду плач Ярославны из «Слова о полку Игореве» («Полечу, — рече, — зегзицею по Дунаеве»). *Зегзица* — кукушка.

II

Баллада. Впервые — «Красная новь», 1930, № 12, стр. 80, с посвящением пианисту Генриху Густавовичу Нейгаузу. Вошло в ПБ (1931). Начиная с ВР (1932) — без посвящения. *Подол* — прилегающий к Днепру самый низкий район Киева. *Матиолы* — цветы, пахнущие только вечером и ночью. *Араукария* — тропическое растение из семейства еловых. *Кара* — река в Забайкалье; в XIX в. золотоносные прииски на Каре были местом политической ссылки.

Вторая баллада. Впервые — «Красная новь», 1930, № 12, стр. 81, с посвящением Зинаиде Николаевне Нейгауз и с пометой «Ирпень, конец августа 1930». Вместо 12—16-й строк было:

Сурдин рассерженный надсад.
Льет дождь, и, сталкиваясь в лад,
Гребут сады, трещат тесины,
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.
До нас рукой подать. Наш сад
В пяти шагах. Он в той же роте
Берез, на полном повороте
Стремглав отброшенных назад.
Клонясь впопад и невпопад,
Деревья изгибают спины.
На даче спят под стон сурдинный,
Как только в раннем детстве спят.

С изменениями — ПБ (1931). Начиная с ВР (1932) — без посвящения. До Верстки (1957) под названием «Баллада». *Плашкот* — плоскодонная беспалубная барка.

Лето. Впервые — «Новый мир», 1931, № 4, стр. 63, с посвящением Ирине Сергеевне Асмус. С изменением — ПБ (1931). Начиная с ВР (1932) — без посвящения. В ПБ (1931) и «Стих.» (1933) — без 33—36-й строк, в «Стих.» (1933) в этом месте отточие. *Ирпень* — дачная местность под Киевом. *«Пир»* — философский диалог Платона. *Диотима* — персонаж «Пира» Платона. *Мэри* — героиня «Пира во время чумы» Пушкина.

Смерть поэта. Впервые — «Новый мир», 1931, № 1, стр. 117, с подзаголовком «Отрывок», с отточием после последней строки. Вместо 9—10-й строк было:

Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех. И, как наемни,
Был день. Как час назад. Как миг
Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.

С изменением — ПБ (1931) и ВР (1932). В «Избр.» (1948) исключена 5-я строфа:

Как, сплющив, выплеснул из стока б
 Лещей и шуку миный вспых
 Шутих, заложенных в осоку,
 Как вздох пластов нехолостых,

а также последняя строфа стихотворения, восстановленная автором в Верстке (1957). Стихотворение написано на смерть Маяковского. *Красивый, двадцатидвухлетний, Как предсказал твой тетраптих*. Имеются в виду строки из пролога поэмы Маяковского «Облако в штанах» (обозначенной автором в подзаголовке как «тетраптих», т. е. — четырехчастная): «Мир огрóбив мощью голоса, Иду — красивый, Двадцатидвухлетний».

III

«Годами когда-нибудь в зале концертной...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 40, с эпиграфом: «Интермеццо, Иог. Брамс, ор. 115».¹ Без эпиграфа и с изменениями — ВР (1932). Печ. по Верстке (1957). До этого 6-я строфа была:

И сразу же буду слезами увлажен
 И вымокну раньше, чем выплачусь я.
 Горючая давность ударит из скважин,
 Околицы, лица, друзья и семья.

«Басма» — марка дешевых папирос.

«Не волнуйся, не плачь, не труди...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 40.

«Окно, пюпитр и, как овраги эхом...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 41. С изменением — ВР (1932).

«Любить иных — тяжелый крест...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 42.

«Всё снег да снег, — терпи и точка...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 42. Печ. по Верстке (1957). До этого по всех изданиях 17—18-я строки читались: «А вскачь за тряскою четверкой, За безрессоркою Ильи». *Вокабулы* — иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык для заучивания.

«Мертвецкая мгла...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 42. На *Ямском поле* (улица в Москве) жил поэт в 1930—1931 гг.

¹ Очевидно, ошибка: имеется в виду «Интермеццо, Иог. Брамс, ор. 117».

«Платки, подборы, жгучий взгляд...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 43. С изменениями — ВР (1932).
Лакрица — сладкий солодковый корень.

«Любимая, — молвы слащавой...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 43. С изменениями — ВР (1932).

«Красавица моя, вся статья...». Впервые — «Новый мир», 1931, № 8, стр. 44. С изменением — «Стих.» (1933). В «Избр.» (1945) — без последнего четверостишия. *Поликлет* — греческий скульптор (V в. до н. э.).

IV

«Кругом семящейся ватой...». Впервые — «Красная новь», 1931, № 9, стр. 13. Вместо первых двух строф было четверостишие:

На улице войлока ключья,
Сонливого тополя пух,
А в комнате пахнет, как ночью,
Фиалки ночной перепуг.

С исправлениями — ВР (1932).

«Никого не будет в доме...». Впервые — «Красная новь», 1931, № 9, стр. 13. С изменениями — ВР (1932).

«Ты здесь, мы в воздухе одном...». Впервые — «Красная новь», 1931, № 9, стр. 13—14, с пометой: «Киев, VII, 1931». Между 2-й и 3-й строфами было еще четверостишие:

Где ширью плит по-мотовски
Несутся бусинами блузки,
А с пыльных круч, как пауки,
Свисают узенькие спуски.

С изменениями — ВР (1932).

«Опять Шопен не ищет выгод...». Впервые — «Красная новь», 1931, № 9, стр. 14, с пометой: «Киев, VII, 1931». ВР (1932) — в измененном виде и без последней строфы:

Всей черной крышкой вниз с площадки,
Всем этим третьим этажом —
Во двор, лопатками в нападки,
Когда мы в доме лампу жжем!

В стихотворении говорится о 3-й сонате Шопена. Позже Пастернак написал о Шопене статью (см. «Ленинград», 1945, № 15—16).

Рейтарская — улица в Киеве. *Фермата* — нотный знак, указывающий на произвольно долгую длительность паузы или ноты. *Мальност* — почтовая карета.

V

«Вечерело. Повсюду ретиво...». Впервые — «Темпы», Тбилиси, 1931 (вместе со стихотворениями «Пока мы по Кавказу лазаем...» и «Начало дня тридцатого апреля...» — под общим заглавием «Тифлис»), без 2-й строфы. Строки 13—18 были:

На виду у пытливых орехов,
Хоронившихся в свежей красе,
Под прорехами леса проехав,
Колесило петлисто шоссе.
Каждый столб что-то издали чуял,
Каждый срыв вспоминал про разбой.

С изменениями — «Новый мир», 1931, № 12, стр. 54 (вместе со стихотворением «Пока мы по Кавказу лазаем...» — под общим названием «Кавказские стихи»), с пометой «Каджоры». С новыми изменениями — ВР (1932). *Носайцы* — народность, живущая в Дагестане и Черкесии.

«Пока мы по Кавказу лазаем...». Впервые — «Темпы», Тбилиси, 1931, с другими стихами — под общим заглавием «Тифлис» (см. Ранние редакции, стр. 605). В новом варианте — «Новый мир», 1931, № 12, стр. 54 (вместе со стихотворением «Вечерело. Повсюду ретиво...», под общим заглавием «Кавказские стихи»), с пометой: «Каджоры-Тифлис, дом Паоло» (имеется в виду грузинский поэт Паоло Яшвили, живший в Каджорах под Тбилиси). В переработанном виде — ВР (1932). В сб. «Стихи о Грузии» (1958) — контаминированный текст «Темпов» и ВР (1932).

VI

«О, знал бы я, что так бывает...». Впервые — ВР (1932).

«Когда я устаю от пустозвонства...». Впервые — «Новый мир», 1932, № 2, стр. 83.

«Стихи мои, бегом, бегом...». Впервые — «Новый мир», 1932, № 2, стр. 83. С изменениями — ВР (1932).

«Еще не умолкнул упрек...». Впервые — «Новый мир», 1932, № 2, стр. 82, с 1-й строфой:

Упрек не успел потускнеть,
С рассвета опять потрясенье:
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

В том же виде — ВР (1932). В «Избр.» (1948) — с изменениями, повторенными в Верстке (1957). Стихотворение написано в связи со смертью музыканта Ф. М. Blumenфельда, профессора Московской консерватории, родственника Г. Г. Нейгауза. *Ритуфель* — часть аккомпанемента, повторяющаяся перед каждой строфой вокального произведения.

VII

«Весенний день тридцатого апреля...». Впервые — «Темпы», Тбилиси, 1931 (вместе со стихотворениями «Вечерело. Повсюду ретиво...» и «Пока мы по Кавказу лазаем...» — под общим названием «Тифлис»), с разночтениями. В рукописи, хранящейся у В. Г. Лидина, это стихотворение вместе со следующим и стихотворением «Будущее! Облака встрепанный бок!...» (см. «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание», стр. 553) объединялось в цикле «Гражданская триада». В новом варианте — «Новый мир», 1932, № 5, стр. 67. С изменением — ВР (1932). *Панатенеи* (панафинеи) — аттический праздник в честь Афины Паллады и Эректа. Среди обрядов праздника был факельный бег. *Центифолия* — махровая садовая роза.

«Столетье с лишним — не вчера...». Впервые — «Новый мир», 1932, № 5, стр. 67, без 4-й строфы. Полностью — ВР (1932). Перепечатывалось лишь однажды — в «Избр.» (1934). В стихотворении автор — частью в парафразе, частью прямой цитатой — использует строки из «Стансов» (1826) Пушкина:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

В рукописи, хранящейся у В. Г. Лидина, это стихотворение входит в цикл под общим заглавием «Гражданская триада». См. комментарий к стихотворению «Весенний день тридцатого апреля...».

«Весеннюю порою льда...». Впервые — «Новый мир», 1932, № 3, стр. 44. Печ. по ВР (1932). В «Стих.» (1933) и «Стих.» (1935) — без строк 32—39 (после строки «С преображеньем света...»). Концовка (начиная со строки «О том ведь и веков рассказ») после ВР (1932) не приводилась по соображениям не художественного порядка, что и дало основание восстановить авторский текст.

На ранних поездках

1936—1944

Стихотворения этого раздела входили в сборники «На ранних поездках» (1943) и «Земной простор» (1945). Сб. «На ранних поездках» включает четыре цикла: «Военные месяцы», «Художник», «Путевые

заметки» и «Переделкино». В сб. «Земной простор» цикл «Военные месяцы» получил название «Стихи о войне» и сильно пополнился новыми, написанными во время войны, стихами. Цикл «Переделкино» получил название «На ранних поездах». В «Избр.» (1945) и в Верстке (1957) вся книга названа «На ранних поездах». Стихи этого раздела расположены в хронологическом порядке.

ХУДОЖНИК

Цикл впервые — «Знамя», 1936, № 4, под названием «Несколько стихотворений» и в ином составе: 1) «Я понял, всё живо...»; 2) «Мне по душе строптивый норв...»; 3) «Немые индивиды...»; 4) «Все наклоненья и залогии...»; 5) «Как-то в сумерки Тифлиса...»; 6) «Скромный дом, но рюмка рому...»; 7) «Он встает. Века. Гелаты...». Стихотворение «Немые индивиды...» под названием «Безвременно умершему» помещено в Верстке (1957) вне цикла. Стихотворения 1 и 4 в дальнейшем автором не перепечатывались (см. «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание», стр. 554—555). Цикл печатается по РП (1943).

1. «Мне по душе строптивый норв...». Впервые — «Известия», 1936, 1 января, вместе со стихотворением «Я понял, всё живо...». С небольшими изменениями — «Знамя», 1936, № 4, стр. 4. В окончательном виде — РП (1943), здесь исключена 2-я часть. В «Известиях» последняя строфа была:

Он этого не домогался;
Он жил как все. Случилось так,
Что годы плыли тем же галсом,
Как век стоял его верстак.

2. «Как-то в сумерки Тифлиса...». Впервые — «Знамя», 1936, № 4, стр. 8. В измененном виде — РП (1943). В журнале вместо 6-й и 7-й строф было:

Я люблю лицо немое
Помешавшихся небес,
День, глядящий неумоимой,
Сажи с жемчугом замес.

Обновленный до кровинок,
Как по спаде вод в бору
Первый сорванный барвинок,
Вздых и выдох на ветру.

Я люблю каким-то чудом
Звезд плывущих звон и век
Буду стужи самогудам
Верен, грешный человек.

В рукописи ЦГАЛИ другой, очевидно более ранний, вариант двух последних строф:

Воздух с запахом барвинка
На проталине в бору,
И душистую крупинку
На размашистом ветру.

И воскресный день досужий
В зимнем городе, и век
Буду северу и стуже
Верен, грешный человек.

В записи Пастернака (1956) об этих стихах сказано: «В 1933 г. ездили с большой делегацией в Тифлис. Здесь все творческое и все личное, связанное с семьей Леонидзе». *Миньона* — героиня «Вильгельма Майстера» Гете — поет песенку с рефреном «Dahin, Dahin».

3. «Скромный дом, но рюмка рому...». Впервые — «Знамя», 1936, № 4, стр. 9. С изменением — РП (1943). *Полудье* — сбор дани в Древней Руси.

4. «Он встает. Века. Гелаты...». Впервые — «Знамя», 1936, № 4, стр. 10. С изменениями — РП (1943), где после 4-й строфы исключены строки:

Революция, ты чудо,
Наконец-то мы вдвоем.
Ты виднее мне отсюда,
Чем из творческих ярём.

Мало верить понаслышке,
Мало ездить и глазеть.
Надо с этой сердца вышки
По тебе равняться сметь.

Гелаты — Гелатский монастырь в Грузии, недалеко от Кутаиси, основанный в XI—XII вв.

Безвременно умершему. Впервые — «Знамя», 1936, № 4, стр. 5, без названия. С названием и с изменением — Верстка (1957). В записи 1956 г. Пастернак указывает, что стихотворение посвящено смерти поэта Николая Деметьева, покончившего жизнь самоубийством. *Берга* — немецкая дальнобойная пушка, обстреливавшая Париж в конце первой мировой войны. *Кормчая книга* — древнерусский сборник церковных законов.

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

Впервые — «Новый мир», 1936, № 10, стр. 87, под заглавием «Из летних записок» и с посвящением: «Друзьям в Тифлисе». В дальнейшем весь цикл полностью никогда не перепечатывался. В переработанном виде семь стихотворений (2, 7, 8, 9, 10, 12, 13) составили цикл «Путевые записки (лето 1936 года)» в сб. «На ранних поездах» (1943). В Верстку (1957) и сб. «Стихи о Грузии» (1958) вошли отдельные стихотворения, в сумме воспроизводящие весь цикл. Так как при выборе стихотворений для этих книг автор, по-видимому, обратился к журнальному (полному) тексту, что подтверждает и сохранение журнального названия, в ряде случаев были воспроизведены ранние варианты; в сб. «Стихи о Грузии», в подготовке которого автор большого участия не принимал, попали даже не журнальные, а еще более ранние рукописные редакции. Поэтому ряд стихотворений печатается по РП (1943).

1. «Не чувствую красот...». Вошло в Верстку (1957).

2. «Как кочегар, на бак...». С изменениями — РП (1943). Печ. по Верстке (1957). Вошло в сб. «Стихи о Грузии» (1958).

3. «Счастлив, кто целиком...». Вошло в Верстку (1957).

4. «Дымились, встав от сна...». Вошло в Верстку (1957) и «Стихи о Грузии» (1958). *Навтуги* — первая железнодорожная станция после Тбилиси. *Дорога на Беслан* — Военно-Грузинская дорога. *Мытня* — застава для сбора мыта (пошлины).

5. «За прошлого порог...». В журнале — без последнего четверостишия. Печ. по сб. «Стихи о Грузии» (1958). *Паоло* — Паоло Яшвили (1894—1937) — грузинский поэт.

6. «Я видел, чем Тифлис...». В журнале — без 3-й строфы. Печ. по сб. «Стихи о Грузии» (1958).

7. «Я помню грязный двор...». С изменениями — РП (1943) и Верстка (1957). Печ. по сб. «Стихи о Грузии» (1958).

8. «Меня б не тронул рай...». Печ. по РП (1943). Вошло в сб. «Стихи о Грузии» (1958).

9. «Чернее вечера...». С изменениями — РП (1943). Печ. по Верстке (1957). В журнале между 3-й и 4-й строфами шла строка:

Он может наугад
В любую даль зарыться,
Он сам восстанье дат,
Как пятый год гурийца.

Колхозы не вопрос
Для старика. Неужто

Рассудком не дорос
До нас двойник Вахушта.¹

В сб. «Стихи о Грузии» (1958) между 2-й и 3-й строфами лишь 1-я из вышеприведенных строф, стихотворение завершает строфа:

В нем отзвук трех эпох,
Он дышит с той же ширью,
Как меха долгий вздох
Волюнкой длит мествире.

10. «Немолчный плеск солей...». Печ. по РП (1943). Вошло в Верстку (1957) и «Стихи о Грузии» (1958).

11. «Еловый бурелом...». Вошло в Верстку (1957) и «Стихи о Грузии» (1958). *Тициан Табидзе* (1895—1937) — грузинский поэт.

12. «На Грузии не счесть...». Вошло в сб. «Стихи о Грузии» (1958).

13. «Дивясь, как высь жутка...». В журнале — через отбивку, как продолжение предыдущего. В РП (1943) — в качестве отдельного стихотворения.

Пастернак писал о Грузии и о своих «друзьях в Тифлисе» — грузинских поэтах Т. Табидзе и П. Яшвили: «Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицы жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессиянства символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное бляение волюнки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

Паоло Яшвили замечательный поэт послесимволического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблю-

¹ Царевич Вахушта — грузинский летописец.

днями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит. . .

Если Яшвили весь был во внешнем центробежном проявлении. Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждою своею строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души. Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру, способной к ясновидению и самопожертвованию. . .

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках. Мысль о Табидзе наводит на стихии природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря. . .

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем» (Рукопись).

ПЕРЕДЕЛКИНО

В 1936 г. Б. Л. Пастернак поселился в подмосковном поселке Переделкино. Стихотворения этого цикла написаны в 1941 г. (в книге «На ранних поездках» этот цикл имел подзаголовок: «Начало 1941 года»); за исключением стихотворений «Вальс с чертовщиной» и «Зазимки», написанных позже, но включенных в этот цикл в Верстке (1957). . .

Летний день. Впервые — «Молодая гвардия», 1941, № 1, стр. 54, под заглавием «Лето» (см. Ранние редакции, стр. 607). В переделанном виде — РП (1943), с заключительным четверостишием:

И распутившийся побег
Потянется к свободе,
Устраняясь на ночлег
На крашеном комодe.

Печ. по ЗП (1945).

С о с н ы. Впервые — РП (1943). Печ. по ЗП (1945). . .

Ложная тревога. Впервые — РП (1943). Печ. по ЗП (1945).

Зазимки. Впервые — «Литературная газета», 1944, 11 ноября, под заглавием «Зимние праздники». Новый вариант под тем же заглавием — «Антология русской советской поэзии. 1917—1957». М., 1957, т. 1, стр. 314. Под заглавием «Зазимки» включено в раздел «На ранних поездах» в Верстке (1957). В первом варианте между 2-й и 3-й строфами были еще четыре:

Опять переполох в подлунной,
Земля отходит, ей не встать.
И вдруг предчувствия, кануны,
Обетованье, благодать.

О, смерть притворщицы природы,
Задумавшей к весне побег
Из гробового обихода
И завалившейся под снег!

Заглянешь в лес, — как всё похоже!
Всё борется, мы не одни.
Сравнишь, — мороз дерет по коже,
Так всё понятно, так сродни.

Всё борется с тем царством ночи,
С той самой смертоносной тьмой,
С которой сормовский рабочий
Вступил в победоносный бой.

Иней. Впервые — РП (1943).

Город. Впервые — «Молодая гвардия», 1941, № 1, стр. 55. В переделанном виде — РП (1943). В ЗП (1945) — с разночтением, снятым в «Избр.» (1945). Печ. по Верстке (1957).

Вальс с чертовщиной. Впервые — ЗП (1945) под названием «На Рождестве». Печ. по Верстке (1957).

Вальс со слезой. Впервые — РП (1943).

На ранних поездах. Впервые — «Красная новь», 1941, № 9—10, стр. 47, с пометой «Март 1941». Печ. по РП (1943).

Опять весна. Впервые — РП (1943). Печ. по ЗП (1945).

Присяга. Впервые — РП (1943). В другие издания не вошло.

Дрозды. Впервые — РП (1943).

СТИХИ О ВОЙНЕ

Первые пять стихотворений цикла вошли в книгу «На ранних поездках» под общим названием «Военные месяцы (конец 1941 г.)». Начиная с книги «Земной простор», появляется цикл «Стихи о войне».

В начале Отечественной войны Пастернак участвовал в дежурствах во время воздушных налетов на Москву. В 1943 г. в составе бригады писателей (Вс. Иванов, К. Федин и др.) ездил на фронт в район Орла (см. очерк «Поездка в армию» — газ. «Труд», 1943, 20 ноября; ср. также стихотворение «Спешные строки» — стр. 558); сохранилось его обращение «К бойцам Третьей армии». В этот период Пастернак принимал участие в военных сборниках, печатался в газетах «Красная Звезда» и «Красный флот»; по приглашению командования фронтом участвовал в сб. «В боях за Орел». В бумагах Пастернака сохранились отчеты штаба фронта, использованные им при написании таких стихотворений, как «Смерть сапера», «Разведчики», «Преследование» и др.

Страшная сказка. Впервые — «Огонек», 1941, № 29, стр. 6, с еще одной строфой между 2-й и 3-й строфами:

Когда-нибудь его приход
Сочтут за небылицу.
За вдов, увечных и сирот
Заплатит враг сторицей.

Печ. по РП (1943).

Бобыль. Впервые — «Красная новь», 1941, № 9—10, стр. 46, с пометой «Июль 1941». Печ. по РП (1943).

Застава. Впервые — «Огонек», 1941, № 29, стр. 6, с еще одной строфой между 4-й и 5-й строфами:

Из-за реки прожектора
Лесную высь облазят сетью,
Как шарит раков детвора
В прибрежном мелком очерете.

Печ. по РП (1943).

Смелость. Впервые — сб. «В огне Отечественной войны», Нальчик, 1942, стр. 183, с еще двумя заключительными строфами:

Этим делом, этой славой
Завершалось ваше я,
Ваша доля, ваше право
В давней тяжбе бытия.

Голос долга и успеха,
Спетою песни вечный след,
Дальний отголосок эха,
Раздающийся в ответ.

Печ. по РП (1943).

Старый парк. Впервые — РП (1943). В ЦГАЛИ — рукопись этого стихотворения, отличающаяся от печатного варианта четырьмя дополнительными четверостишиями. Между 1-й и 2-й строфами:

Умиранье дня и лета
Прогоняет облака
Мимо окон лазарета
Минометного полка.

Между 5-й и 6-й строфами:

Как он рад, что до разрыва
Отскочил от западни
И отделался счастливо
Ампутацией ступни.

Между предпоследней и последней строфами:

Все мечты его в театре.
Он с женою и детьми
Тайно, года на два, на три,
Сгинет где-нибудь в Перми.

Вслед за последней:

Сколько пожеланий сразу!
Сколько замыслов и дел!
Заглядишься вдаль вполглаза,
Да туда б и улетел.

Ю. Ф. Самарин (1819—1876) — литератор, славянофил; имеется в виду бывшее его имение — парк и дом в Переделкинне, под Москвой.

Зима приближается. Впервые — «Литература и искусство», 1943, 13 ноября, под названием «Зима начинается». С исправлениями — ЗП (1945).

Смерть сапера. Впервые — сб. «В боях за Орел», М., 1944, стр. 137. Печ. по ЗП (1945). *Зуша* — приток Оки.

Преследование. Впервые — сб. «В боях за Орел», М., 1944, стр. 139. Без последней строфы и с изменениями — ЗП (1945). Печ. по «Избр.» (1945).

Разведчики. Впервые — сб. «В боях за Орел», М., 1944, стр. 139, под заглавием «Летний день», без 3-й строфы. Печ. по ЗП (1945).

Неоглядность. Впервые — «Красная Звезда», 1944 год. С изменениями — ЗП (1945). Печ. по «Избр.» (1945). В рукописи после 6-й строфы следовали еще шесть строф:

О глубине их отпечатка
Свидетельствует их стезя,
И плещет море каждой складкой,
Чем только можно и нельзя.

Какой-то юношеской жилкой,
Присущей ночью парусам,
И ветром, глядящим с затылка
По звездам и по волосам.

Звериной грацией флотилий
Средь низких дымовых завес
И тем, как на врага ходили
Стремительно наперерез.

Как верили два адмирала
Всегда в счастливый оборот.
И сколько с верой умирало
За родину и свой народ.

Ночной победой, бегством турок
И тем, как находил рассвет,
Как догорающий окурок,
Чужой затопленный корвет.

И все препятствия осилив,
Вздыхался флагманский фрегат
Размахом вытянутых крыльев,
Уже не ведая преград.

В низовьях. Впервые — «Красный флот». В рукописи ЦГАЛИ помета «24 марта 1944 г.».

Ожившая фреска. Впервые — «Литература и искусство», 1944, 15 апреля, без первых двух строф; начало было:

Когда среди сталинградских схваток
Он под огнем своих проведывал,
Какой-то странный отпечаток
В чертах врага его преследовал.

Печ. по ЗП (1945). В чистовой рукописи вместо последних двух строк следовало другое окончание:

Дивизию в Сталинграде
Моря испиты, горы сдвинуты.
И вот великий город сзади.
Их силы под Орел закинуты.

Но он остался колыбелью
Их гордости, ее источником.
И Волга снилась в каждом деле
Мечтателям и полуночникам.

Когда комдив упал в бурьяне,
Всё, что от жизни и беспечности
Еще могло хранить сознание,
Вернулось в город русской вечности.

Он знал, что это смерть, по ходу
Вещей предсмертному какому-то,
И видел взорванные своды
У волжского речного омута.

Он вновь на знаменитом фронте,
Где ангелы и отошедшие
Сражаются на горизонте
Над продолжающейся сечею.

Он отдал жизнь отчизны ради,
За родину, свою печальницу,
Он не умрет. Он в Сталинграде,
Бессмертья славной усыпальнице.

Архистратиг — Михаил-архангел, предводитель небесного воинства.

Победитель. Впервые — ЗП (1945).

Весна. Впервые — ЗП (1945). В рукописи сохранился ранний вариант этого стихотворения, под заглавием «Цветы».

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ ИЗ РОМАНА»

1946—1953

«Стихи из романа» (заглавие цикла принадлежит Б. Пастернаку) писались с 1946 по 1953 год, представляют собой отдельную и законченную книгу. Двенадцать стихотворений были опубликованы в разных изданиях. В «Знамени» (1954, № 4), где было напечатано десять стихотворений, они предварялись авторским пояснением: «Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от

1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа. Автор». Роман «Доктор Живаго» в Советском Союзе не издан; опубликование романа (в 1957 г.) за границей (первоначально в переводе на итальянский язык) вызвало резкий протест советской общественности. Стихи данного цикла непосредственного отношения к сюжету романа не имеют. Стихи этого цикла вошли в Верстку (1957).

М а р т. Впервые — «Избр.» (1948), стр. 151. С иной 4-й строфой — «Знамя», 1954, № 4, стр. 93:

Перед приоткрытою конюшной
Голуби в снегу клюют овес,
И, приволья вешнего воздушней,
Пахнет далью мартовской навоз.

В Верстке (1957) — возвращается к первоначальной редакции.

Белая ночь. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 92.

Весенняя распутица. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 92.

Объяснение. Печ. впервые.

Лето в городе. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 93.

Ветер. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 93. Первоначально в рукописи — четыре стихотворения: «Ветер», «Хмель», «Бессонница» и «Под открытым небом» — шли как цикл под общим названием «Колыбельные». Впоследствии общее название было снято. Два последних стихотворения в цикл «Стихи из романа» не вошли (см. «Стихи, не вошедшие в основное собрание», стр. 569 и 570).

Хмель. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 94.

Бабье лето. Впервые — «Избр.» (1948), стр. 152, с пометой «1946»; вторично — «Знамя», 1954, № 4, стр. 94.

Свадьба. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 95, с разночтениями. Печ. по Верстке (1957).

Осень. Печ. впервые. В рукописи сохранился ранний вариант этого стихотворения (см. Ранние редакции, стр. 609, «На дереве свистит синица...»).

Сказка. Печ. впервые.

Зимняя ночь. Впервые — «Избр.» (1948), стр. 154, без 6-й строфы и со следующей последовательностью строф: 1, 2, 4, 8, 5, 3, 7, 1. В новой редакции — «День поэзии», М., 1956, стр. 27.

Разлука. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 94. Печ. по Верстке (1957).

Свидание. Впервые — «Знамя», 1954, № 4, стр. 95, без последней строфы. Печ. по Верстке (1957).

Рассвет. Впервые — «День поэзии», М., 1956, стр. 27. В более раннем рукописном варианте этого стихотворения были еще две строфы (между 6-й и 7-й строфами):

И снег, как выдумка, глубок,
И крыши, как игрушки, мелки,
И вьюга отдаёт клубок
Мотать метельщице на стрелке.

Нежданно наступает день,
И хоть давно проснуться время,
Деревьям на бульваре лень
Стряхнуть белеющее время.

Земля. Печ. впервые.

Когда разгуляется

1956—1959

Последняя книга стихов Б. Пастернака охватывает период с 1956 по 1959 г. Последние стихи были написаны в январе 1959 г. Печатается по белой тетради. Часть стихотворений (20) печаталась в разное время в журналах и сборниках. Написанные к моменту подготовки Верстки (1957) 22 стихотворения были включены туда под названием «Новые строки». 35 стихотворений вошли в «Избр.» (1961).

Эпиграф взят из книги Марселя Пруста «Обретенное время» («Le Temps retrouvé»), последнего тома романа «В поисках утраченного времени» («À la recherche du temps perdu»).

«Во всем мне хочется дойти...». Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 74.

«Быть знаменитым некрасиво...». Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 78. С изменением — «Избр.» (1961). В рукописи сохранился другой законченный вариант этого стихотворения, который состоял из четырех строф (1, 5, 6, 7). Строки 17—20:

Как плавает в тумане местность
И в ней не различить ни зги,
Таинственная неизвестность
Пускай хранит твои шаги.

Е в а. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 75. С изменениями — Верстка (1957). С новыми изменениями — «Избр.» (1961).

Без названия. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 75. С изменениями — Верстка (1957). С новыми изменениями — «Избр.» (1961).

Весна в лесу. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 76. С изменениями — «Избр.» (1961).

Июль. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 76, под названием «Лето» и с разночтениями. С изменениями — «Избр.» (1961).

По грибы. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 77, под названием «Осенний день». С измененной строкой — под прежним названием — Верстка (1957). С новым названием — «Избр.» (1961).

Тишина. Впервые — «Литературная Грузия», 1957, № 4, стр. 77. С изменениями — «Избр.» (1961).

Стога. Впервые — «Литературная Грузия», 1957, № 4, стр. 77. С изменениями — «Избр.» (1961).

Липовая аллея. Впервые — «Литературная Грузия», 1957, № 4, стр. 78, без строфы 7. С изменениями — «Избр.» (1961).

Когда разгуляется. Впервые — «Литературная Грузия», 1958, № 4, стр. 29, без 5-й и 6-й строф. С изменениями — Верстка (1957). В рукописи — два варианта этого стихотворения: «Проблеск света» и «Только краешек неба расчистив...» (см. Ранние редакции, стр. 610, 611).

Хлеб. Впервые — «Новый мир», 1956, № 10, стр. 18. С изменениями — «Избр.» (1961).

Осенний лес. Впервые — «Избр.» (1961). В Верстке (1957) — другой вариант этого стихотворения, сохранившийся в рукописи (см. Ранние редакции, стр. 611), без последней строфы и с изменениями, под названием «В чаше».

Заморозки. Впервые — «Литературная Грузия», 1958, № 4, стр. 30.

Ночной ветер. Впервые — «Избр.» (1961).

Золотая осень. Впервые — «Избр.» (1961). В Верстке (1957) имеются разночтения.

Ненастье. Впервые — «Избр.» (1961). В Верстке (1957) — с разночтением.

Трава и камни. Впервые — «Избр.» (1961). В Верстке (1957) — с разночтениями. Стихотворение написано в связи с праздновавшимся в 1956 г. юбилеем Адама Мицкевича.

Ночь. Впервые — «День поэзии», М., 1957, стр. 89.

Ветер. Впервые — «Избр.» (1961), три последних отрывка. В Верстке (1957) — полностью, с разночтениями.

Б. Пастернак писал о Блоке: «У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств, и еще многих других, останюлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений... Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость, — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица... Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах. Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии. Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное будничное просторечье, которое освежает язык поэзии. В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира». О Блоке см. также статью Б. Пастернака «Полю Мари Верлен» («Литература и искусство», 1944, 1 апреля).

Дорога. Впервые — «Избр.» (1961).

В больнице. Печ. впервые. Вошло в Верстку (1957).

Музыка. Впервые — «День поэзии», М., 1957, стр. 89. В Верстке (1957) имеются разночтения. С изменениями — «Избр.» (1961). *Полет валькирий* — знаменитый музыкальный отрывок из 3-го акта оперы Рихарда Вагнера «Валькирии».

После перерыва. Впервые — «Избр». (1961).

Первый снег. Впервые — «Знамя», 1956, № 9, стр. 77, где после заключительной строфы следовала еще одна:

Повалит снег — и в трепете
Окно и частокол,
Но петель не расцепите,
Которые он сплел.

В таком же виде — Верстка (1957). Без этой строфы — «Избр.» (1961).

Снег идет. Впервые — «Литературная Грузия», 1957, № 4, стр. 79.

Следы на снегу. Впервые — «Избр.» (1961).

После вьюги. Впервые — «Избр.» (1961).

Вакханалия. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 179, без названия. В рукописи сохранился отрывок ранней редакции стихотворения:

Жизнь проходит под знаком
Неудач и обид,
С жаждой смерти во всяком,
Чтобы смыть этот стыд.

Но что значат потери,
И беда, и позор,
Когда давка в партере
И опять полный сбор?

Что ей участь вселенной,
Что ей рай, что ей ад?
Море ей по колено
И сам черт ей не брат.

В этой вечной дилемме
Пан ты или пропал, —
Люди, судьбы и время,
Век и зрительный зал.

Только в бешеном риске,
А не в выборе поз,
Упоенье артистки,
Страсть и апофеоз.

1957

Ронсар — французский поэт, учитель Марии Стюарт. Стихотворение папеяно премьерой «Марии Стюарт» Шиллера в переводе Пастернака во МХАТе.

За поворотом. Впервые — «День поэзии», М., 1962, стр. 291. В рукописи сохранился первоначальный вариант стихотворения под названием «Будущее» (см. Ранние редакции, стр. 612).

Всё сбылось. Впервые — «Литературная Грузия», 1958, № 4, стр. 30. С изменениями — «Избр.» (1961). В рукописи сохранился первоначальный вариант стихотворения под названием «Далекая слышимость» (см. Ранние редакции, стр. 613).

Пахота. Впервые — «Литературная Грузия», 1958, № 4, стр. 30. С изменениями — «Избр.» (1961).

Поездка. Впервые — «Избр.» (1961).

Женщины в детстве. Впервые — «Избр.» (1961).

Зимние праздники. Впервые — «Избр.» (1961).

«Тени вечера волоса тоньше...». Печ. впервые.

Единственные дни. Впервые — «Избр.» (1961).

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

В этот раздел включены стихотворные произведения Б. Л. Пастернака, которые были опубликованы в журналах, газетах или альманахах, но не включались впоследствии ни в одну из книг, стихи, исключенные из ранних книг при переизданиях, а также законченные стихи, оставшиеся в рукописи.

«Я в мысль глухую о себе...». Впервые — сб. «Лирика», М., 1913, стр. 41.

«Сумерки... словно оруженосцы роз...». Впервые — сб. «Лирика», М., 1913, стр. 43.

Элегия 3. «Он слышал жалобу бруска...». «Пусть даже смешаны сердца...». «Там, в зеркале, они бессрочны...». Печ. впервые по рукописи, хранящейся в семье А. Л. Штиха, так же как и три следующих стихотворения. *Плюскá* — стеблевое образование, окружающее основание плода.

Лесное. Впервые — «Близнец» (1914). Анаграмма — слово, образованное из букв другого слова, путем их перестановки. *Голиаф* (библ.) — великан, надежда войска филистимлян, убитый в единоборстве пастухом Давидом.

«Грусть моя, как пленная сербка...». Впервые — «Близнец» (1914).

Близнецы. Впервые — «Близнец» (1914). *Водолей* — знак Зодиака. *Канаус* — шелковая материя. *Кастор* и *Поллукс* (миф.) — братья-близнецы, их именами названы звезды зодиакального созвездия *Близнецы*. *Манипула* — отряд в римском войске.

Близнец на корме. Впервые — «Близнец» (1914). К. Г. *Локс* — литературовед и педагог. *Рдест* — водоросли. *Криптия* — тайна, тайник.

Лирический простор. Впервые — «Близнец» (1914). Посвящено *Сергею Боброву*, поэту и переводчику, основателю кружка «Лирика» и издательства «Центрифуга», в которых участвовал Пастернак. *Монгольфьер* — старое название воздушного шара по имени его изобретателя.

«Ночью... со связками зрелых горелок...». Впервые — «Близнец» (1914). *Лаззарони* (лаццарони) — неаполитанский нищий.

«За обрывками редкого сада...». Впервые — «Близнец» (1914). В чистовой рукописи, находящейся в семье А. Л. Штиха, после заключительной строфы идет еще одна:

Когда, верующего походкой,
Что скитался стезею воды,
Никуда, по снегам околотка
Не вдут рассыпные следы.

Хор. Впервые — «Близнец» (1914). Ю. М. *Анисимов* — поэт и переводчик.

Ночное панно. Впервые — «Близнец» (1914). *Фазтон* (греч. миф.) — сын бога солнца Гелиоса. *Джентри* — английское дворянское сословие. *Ариэль* — возможно, имеется в виду английский поэт Шелли.

Сердца и спутники. Впервые — «Близнец» (1914). Посвящено Е. А. Виноград-Дородновой. *Афелий* — точка орбиты планеты, наиболее удаленная от Солнца.

Цыгане. Впервые — сб. «Руконог», М., 1914.

Мельхиор. Впервые — сб. «Руконог», М., 1914.

Об Иване Великом. Впервые — сб. «Руконог», М., 1914. Твердо, слово, ры — названия букв Т, С и Р в старой русской азбуке.

«Артиллерист стоит у кормила...». Впервые — газ. «Новь», М., 1914, 20 ноября. В ПБ (1917) последние шесть строк были вычеркнуты цензурой и вместо них шли точки. Эти строки восстанавливаются по рукописи ЦГАЛИ.

«Как казначей последней из планет...». Впервые — сб. «Взял. Барабан футуристов», Пг., 1915, стр. 7. Вошло в ПБ (1917).

«Весна, ты сырость рудника в висках...». Впервые — сб. «Весеннее контрагентство муз», М., 1915, стр. 46.

«Тоска, бешеная, бешеная...». Впервые — «Второй сборник Центрифуги», М., 1916, столбцы 10—11.

Полярная швея. Впервые — «Второй сборник Центрифуги», М., 1916, столбцы 9—10. Вошло в ПБ (1917).

«Улыбаясь, убывала...» Печ. впервые по рукописи, хранящейся у Ф. Н. Збарской.

Предчувствие. Впервые — ПБ (1917).

Но почему. Впервые — ПБ (1917).

Материя prima. Впервые — ПБ (1917).

«С рассветом, взваленным за спину...». Впервые — ПБ (1917).

«Вслед за мной все зовут вас барышней...». Впервые — ПБ (1917).

Pro domo. Впервые — ПБ (1917).

«Осень. Отвыкли от молний...». Впервые — ПБ (1917). После четверостишия шли пять строф точек — следы цензорских изъятий. Рукопись стихотворения не сохранилась.

«Какая горячая кровь у сумерек...». Впервые — ПБ (1917). Дом Коровина находился в Москве у б. Красных ворот, ныне пл. Лермонтова.

Скрипка Паганини. Впервые — ПБ (1917).

«Порою ты, опередив...». Впервые — ПБ (1917).

Apassionata. Впервые — ПБ (1917).

Последний день Помпеи. Впервые — ПБ (1917).

«Это мой, это мой...». Впервые — ПБ (1917).

Прощанье. Впервые — ПБ (1917).

Муза девятьсот девятого. Впервые — ПБ (1917).

Наброски к фантазии «Поэма о ближнем». Печ. впервые по рукописи, сохранившейся у С. П. Боброва. Отточия в рукописи.

«Уже в архив печали сдан...». Печ. впервые по рукописи, хранящейся у Ф. Н. Збарской.

Драматические отрывки. Впервые — «Знамя труда», М., 1918, 1 мая (18 апреля) и 16 (3) июня. Третий отрывок (в прозе) «Диалог» — там же, 17 мая. Очевидно, все это — фрагменты незавершенной драмы из эпохи Французской революции конца XVIII века. Филипп Франсуа Жозеф *Леба* — якобинец, депутат конвента. Луи Антуан *Сен-Жюст* — один из руководителей революционного правительства. Максимилиан Мари Исидор *Робеспьер* — фактически глава революционного правительства. Жорж Огюст *Кутон* — якобинец. Франсуа *Анрио* — левый якобинец. Жорж Жак *Дантон* играл значительную роль в якобинском клубе, министр юстиции революционного правительства.

Любовь Фауста. Печ. впервые по рукописи, хранящейся у З. Н. Пастернак. *Гален* — древнеримский врач и естествоиспытатель.

Голос души. Впервые — ТВ (1923), цикл «Болезнь», после стихотворения «Может статься так, может иначе...». Было исключено из всех последующих изданий книги и больше не переиздавалось. В раннем рукописном варианте, сохранившемся у Е. А. Дородновой, оно входило в состав стихотворения «Может статься так, может иначе...», но в иной редакции; после 1-й строфы шла строфа:

Завернусь в платок
И в енотовый
Побегу, — не то
Заметет его.

Далее шли 2-я, 4-я, 3-я, 5-я, 6-я строфы.

Голод. Впервые — «Известия ВЦИК», 1922, 15 марта. Написано во время голода в Поволжье. *Крыжак* — крестоносец.

Gleisdreieck. Печ. впервые по факсимиле, воспроизведенном в кн. Yves Berger, «Boris Pasternak», Paris, 1958, p. 192. *Gleisdreieck* — название станции берлинского метро, расположенной на эстакаде, высоко над землей.

1 мая. Впервые — «Лэф», 1923, № 2, стр. 15.

Морской штиль. Печ. впервые по рукописи, хранящейся у Л. Ю. Брик.

Стихотворенье. Печ. впервые по рукописи, хранящейся у Л. Ю. Брик. *Кортомный* — сдаваемый в наем.

«Трепещет даль. Ей нет препон...». Впервые — сб. «Поэты наших дней. Антология», М., 1924, стр. 69.

Осень. Впервые — «Русский современник», 1924, № 2, стр. 9.

Перелет. Впервые — «Русский современник», 1924, № 2, стр. 10.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Карусель. Впервые — в отдельном издании: Л., ГИЗ, 1925.

Зверинец. Впервые — отдельное издание: М., 1929, по тексту которого печатается. То же — «Молодая гвардия», 1939, № 4. Вошло в Верстку (1957) и в «Избр.» (1961). В рукописи ИМЛИ после 12-й строки идут строфы:

Тогда в испуге без оглядки
Бегут взволнованные складки
Зеленых ив и желтых свай
На противоположный край.

Тут их охватывают лютым
Не в шутку пушечным салютом,
Истомой с ног до головы
Со сна охваченные львы.

После 16-й строки:

В сырых пещерах дремлют совы,
Как в полдень потные засовы
Глухих амбаров и клетей
С чанами ледяных питей.

Снопы лучей длиною в сажень
Сочатся из замочных скважин:
Светлей отверстий для ключей
Глядят впотьмах глаза сычей.

Как крысы в пятнах от проказы
Топорщат иглы дикобразы,
Зато природного добра
Полны движения бобра.

После 20-й строки:

Когда же шлепается булка
В ушат с водой, то своды гулко
Обрушивают детский смех
На плиты и в медвежий мех.

После 36-й строки:

Зловонье псины и гниенье
Дошло до гнусности в гиене.
Потягивается шакал,
Сверкает хищника оскал.

И день и ночь, как по дорожке,
Вдоль перекладин ходят кошки.
Шипит, окрысившись, рысь
На смельчаков, кричащих брысь.

После 48-й строки:

И как мясник в подножьи плахи,
В широко огненной рубаше
Разлегся сонной тушей тигр,
Как людоед среди детских игр.

Навозный пар и кучи грязи
И мухи, как у коновязей.
В загоне зубр, в соседнем — вепрь,
А в следующем — пара зебр.

Глаза помимо их желанья
Скользят по очертаньям лани,
Но вдруг мы их отводим вкось:
По ним скользит глазами лось.

После 60-й строки:

Но вот влача на дно двугорбой
Горой наваленные торбы,
Ложится на землю баркас,
Заслыша сторожа приказ.

После 96-й строки:

Средь визга, хохота и стонов
Шимпанз, игрунок и гиббонов,
Забившись в угол, кенгуру
Хмелеет на чужом пиру.

Асееву. Печ. впервые по копии, сохранившейся у С. Е. Молянского, заверенной Н. Н. Асеевым. Стихотворение предварялось таким обращением: «Дорогой и драгоценный друг мой! Однажды и раз навсегда узурпировал ты слово «брат», и однажды раз навсегда зажал им мне рот. И оттого моя любовь к тебе — без преувеличений и с точностью почти докучной — смешана постоянно с болью, что без этого слова, предвосхищенного тобой, ты так, наверное, и не узнаешь, сколько бы обстоятельства ни говорили тебе о том другими словами, — что ты составил в моей жизни и что ты представляешь для меня. С этой-то болью, с болью об отпетости этого слова передаю я тебе эту сестру твою, твою столько же, сколько и мою. Это не «третья моя» книга: она посвящена тени, духу, покойнику, несуществующему; я одно время серьезно думал ее выпустить анонимно; она лучше и выше меня. Так вот, знай же: этой-то затронутой стихии поэзии, этой «потусторону книге», этой абракадабре поэтической действительности ты — в большей, конечно, степени, нежели я, — родной брат. И не в каламбуре возвращаю я тебе это собственное твое золотое слово. Нет. Но ты должен знать, что когда слышу я его от тебя, то горжусь и радуюсь, что только ей брат ты, жизни и поэзии, не ниже и не меньше. Тебе эти» (следуют стихи).

Мороз. Впервые — «30 дней», 1928, № 1, стр. 25.

«Когда смертельный треск сосны скрипучей...». Впервые — «Новый мир», 1928, № 1, стр. 169.

«Мгновенный снег, когда булыжник узрен...». Впервые — «Красная новь», 1929, № 5, стр. 159, вслед за стихотворением «Марине Цветаевой», посвящено ей же; это стихотворение — акростих.

«Жизни ль мне хотелось слаще?..». Печ. впервые по рукописи, хранящейся у З. Н. Пастернак. 3-я строфа впоследствии перешла в стихотворение «Никого не будет в доме...». Нотная вставка — из Брамса (ор. 117).

«Будущее! Облака встрепанный бок!..». Печ. впервые по рукописи, хранящейся у В. Г. Лидина.

«Я понял: всё живо...». Впервые — «Известия», 1936, 1 января. С изменениями — «Знамя», 1936, № 4, стр. 8. В «Известиях» после 1-й строфы было:

Бывали и бойни,
И поед живьем,
Но вечно наш двойня
Гремел соловьем.

Глубокою ночью
Загаданный впрок,
Не он ли, пророча,
Нас с вами предрек?

После 5-й строфы:

Я понял: всё в силе,
В цвету и в соку,
И в новые были
Я каплей теку.

«Все наклоненья и залогии...». Впервые — «Знамя», 1936, № 4, стр. 6. Это стихотворение — отклик поэта на выход в Праге в 1935 г. его «Охранной грамоты» в переводе на чешский С. Пирковой-Яacobson и тома стихотворений в переводах известного поэта Йозефа Торы. *Гордень* — веревка в блоке, канат.

П р а в д а. Впервые — «Литературная газета», 1941, 8 октября. В рукописи — под заглавием «Духу родины»; вместо первой строфы:

Не слушай сплетен о другом.
Чурайся старых своден.
Ни в чем не меряйся с врагом —
Его пример не годен.

Чем громче о тебе галдеж,
Тем умолкай надменной.
Не доверяй чужую ложь
Позором объяснений.

1917—1942. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 163. Написано для газеты «Комсомольская правда» к двадцатилетию Октябрьской революции.

Спешные строки. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 167. *Анатолий Глебов* (1899—1964) — советский писатель, драматург.

З а р е в о. Вступление впервые — «Правда», 1943, 15 октября (с подзаголовком «Вступление в поэму»). С изменениями — ЗП (1945). Глава первая печатается впервые. В рукописи поэма сперва носила название «Возвращение из армии», потом — «Отпускник». *Хортица* — остров на Днепре, где была Запорожская сечь.

П а м я т и М а р и н ы Ц в е т а е в о й. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 163, с подзаголовком «Отрывок» — первые пять строф. Печ. по рукописи. Включено в Верстку (1957), в раздел «Стихи разных лет». В архиве А. Е. Крученых сохранилась рукопись раннего варианта, где после 3-й строфы идут строки:

Я не плачу, я травлю и режу.
Надо запечатлеть на меди
Эту жизнь, этот путь непроезжий,
Этот дождь, этот сад впереди.

После 5-й строфы:

Сумрак веял над снежною степью
Черный, точно разбойничий флаг,
Крыши зданий и яблони в крепе
Были белы, как мебель в чехлах.

Ты б в санях переехала Каму
В час налетчиков и громил.
Пред тобой, как пред Пиковой Дамой,
Я б от ужаса лед проломил.

Во второй части после 1-й строфы следует:

Ведь ты не Пиковая Дама,
Чтобы в хорошие дома
Врываться из могильной ямы,
Пугая и сводя с ума.

Ты вечно будешь той же самой,
Какой была ты до Адама,
Огонь и сдержанность сама.

Ты та же в обращении к богу
Со дна кладбищенской земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

О, что мне сделать в память друга?
В твою единственную честь
Я жизнь в стихах собью так туго,
Чтоб можно было ложкой есть.

Я наподобье евхаристий
Под вкус бессмертья подберу
Промерзшие под снегом листья
И мандаринов кожуру.

Зима — как пышные поминки,
Средь нашего житья-бытья
В сугробы положить коринки,
Облить вином, вот и кутья.

Светает. Я пишу в постели.
Я только что пришел домой.
Ты помнишь запах стен с похмелья?
Сосновый дух жилья зимой?

И флот речной во льдах затона,
И город на степной земле,

И сад, вглухую заметенный,
Как стол или рояль в чехле...

25—26 декабря 1943
Москва

В рукописи приписка: «Задумано в 1942 году, написано по побуждению Алексея Крученыха 25 и 26 декабря 1943 года в Москве. У себя дома. Борис Пастернак». *Цветаева Марина* Ивановна покончила самоубийством в Елабуге на Каме в августе 1941 г. Пастернак писал о Цветаевой: «Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее (Цветаевой) «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей, без обрыва ритма, целые последовательности строф развитием своих периодов. Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний, или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений. Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участвовавшая в середине двадцатых годов, когда появились ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли яркие, необычные по новизне: «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крыслов». Мы подружились... Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех».

Одесса. Впервые — «Красный флот», 1944, 12 апреля, под заглавием «Великий день» и без 6-й строфы. Печ. по газетной вырезке с авторской правкой. В «Избр.» (1961) — ранний вариант, сохранившийся в рукописи.

Бессонница. Под открытым небом. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 178. Оба стихотворения, вместе со стихами «Ветер» и «Хмель», составляли цикл «Кольбельные» в сборнике «Стихи из романа». Позже автор исключил эти два стихотворения из сборника.

Нежность. Впервые — «Новый мир», 1965, № 1, стр. 170.

Актриса. Впервые — «Театр», 1957, № 7, стр. 108. Обращено к *Анастасии Платоновне Зуевой*, актрисе МХАТа им. А. М. Горького.

«В разгаре хлебная уборка...». Впервые — «Литературная газета», 1957, 19 октября.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Б. Л. Пастернак. Фотография. Осень 1958 г.
2. *Стр. 97*. Рукопись стихотворения «Импровизация на рояле».
3. *Между стр. 112 и 113*. Б. Л. Пастернак. Фрагмент картины Л. О. Пастернака «Поздравление».
4. *На обороте*. Б. Л. Пастернак. Рисунок Ю. Анненкова, 1921 г.
5. *Между стр. 144 и 145*. Б. Л. Пастернак. Фотография 1924 г.
6. *Между стр. 400 и 401*. Б. Л. Пастернак. Фотография 1948 г.
7. *Между стр. 432 и 433*. Б. Л. Пастернак. Фотография 1948 г.
8. *Между стр. 464 и 465*. Б. Л. Пастернак. Фотография 1956 г.
9. *Между стр. 496 и 497*. Б. Л. Пастернак. Фотография. Лето 1958 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- «А затем прошалось лето...» (Гроза моментальная навек) 148
«А над обрывом, стих, твоя опешит...» (Перелет) 543
Актриса («Прошу простить. Я сожалею...») 571
Анне Ахматовой («Мне кажется, я подберу слова...») 199
«Артиллерист стоит у кормила...» 503
Асееву («Записки завсегдатая...») 550
- Бабочка—буря («Бывалый гул былой Мясницкой...») 206
Бабье лето («Лист смородины груб и матерчат...») 433
Балашов («По будням медник подле вас...») 119
Баллада («Бывает, курьером на бóрзом...») 96
Баллада («Дрожат гаражи автобазы...») 252
Бальзак («Париж в золотых тельцах, в дельцах...») 204
Без названия («Недотрога, тихоня в быту...») 449
«Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти...» (Урал впервые) 86
Безвременно умершему («Немые индивиды...») 385
«Безыменные герои...» (Смелость) 411
Белая ночь («Мне далекое время мерещится...») 427
Белые стихи («Он встал. В столовой било час. Он знал...») 232
Бессонница («Который час? Темно. Наверно, третий...») 569
Близнец на корме («Как топи укрывают рдест...») 496
Близнецы («Сердца и спутники, мы коченеем...») 495
Бобыль («Грустно в нашем саду...») 409
Болезни земли («О еще! Раздастся ль только хохот...») 127
Болезнь (1—7) 167
«Больной следит. Шесть дней подряд...» (Болезнь, 1) 167
«Большое озеро как блюдо...» (Когда разгуляется) 455
Брюсову («Я поздравляю вас, как я отца...») 211
«Будто всем, что видит глаз...» (Уральские стихи, 1. Станция) 219
«Будущего недостаточно...» (Зимние праздники) 485
«Будущее! Облака встрепанный бок!...» 553
«Бывает, курьером на бóрзом...» (Баллада) 96
«Бывали дни: как выбитые кегли...» (Элегия, 3) 492
«Бывалый гул былой Мясницкой...» (Бабочка-буря) 206

- «Был вечер, как удар...» (Последний день Помпеи) 520
 «Был утренник. Сводило челюсти...» (На пароходе) 103
 «Быть знаменитым некрасиво...» 447

- В больнице («Стояли как перед витриной...») 467
 «В девять, по левой, как выйти со Страстного...» (Возможность)
 77
 «В детстве, я как сейчас еще помню...» (Женщины в детстве) 484
 «В занавесках кружевных...» (До всего этого была зима) 117
 В лесу («Луга мутило жаром лиловатым...») 182
 «В московские особняки...» (Земля) 444
 «В нашу прозу с ее безобразьем...» (Девятьсот пятый год) 245
 В низовьях («Илистых плавней желтый янтарь...») 422
 «В посаде, куда ни одна нога...» (Метель, 1) 84
 «В разгаре хлебная уборка...» 572
 «В степи охладевал закат...» (Вариации, 6) 167
 «В тверди тверда слова рцы...» (Об Иване Великом) 503
 «В траве меж диких бальзаминов...» (Сосны) 396
 «В трюмо испаряется чашка какао...» (Зеркало) 114
 «В шалашную полночь площадь...» (Раскованный голос) 84
 Вакханалия («Город. Зимнее небо...») 474
 Вальс с чертовщиной («Только заслышу польку вдали...») 402
 Вальс со слезой («Как я люблю ее в первые дни...») 403
 Вариации (1—6) 162
 Вдохновенье («По заборам бегут амбразуры...») 156
 Венеция («Я был разбужен спозаранку...») 70
 «Весеннюю порою льда...» 378
 «Весенний день тридцатого апреля...» 376
 Весенний дождь («Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил...») 123
 Весенняя распутица («Огни заката догорали...») 429
 Весна («Всё нынешней весной особое...») 425
 Весна (1—3) 88
 Весна (1—5) 187
 «Весна была просто тобой...» (Осень, 4) 197
 Весна в лесу («Отчаянные холода...») 450
 «Весна! Не отлучайтесь...» (Весна, 2) 89
 «Весна, ты сырость рудника в висках...» 507
 «Весна, я с улицы, где тополь удивлен...» (Весна, 1) 187
 Ветер. Четыре отрывка о Блоке («Кому быть живым и хвали-
 мым...») 464
 Ветер («Я кончился, а ты жива...») 432
 «Вечерело, повсюду ретиво...» 368
 «Во всё продолженье рассказа голос...» (Наброски к фантазии
 «Поэма о ближнем») 523
 «Во всем мне хочется дойти...» 446
 «Во сне ты бредила, жена...» (Голод) 539
 «Вода рвалась из труб, из луночек...» (Встреча) 157
 «Воздух дождем частым сечется...» (Весна, 3) 188
 «Воздух седенькими складками падает...» (Зимнее утро, 1) 184
 Возможность («В девять, по левой, как выйти со Страстного...») 77

- Вокзал («Вокзал, несгораемый ящик...») 69
 Волны («Здесь будет всё: пережитое...») 343
 Воробьевы горы («Грудь под поцелуи, как под рукомошник!...») 131
 «Ворота с полукруглой аркой...» (Липовая аллея) 454
 «Все в крестиках двери, как в Варфоломееву...» (Метель, 2) 85
 «Все наденут сегодня пальто...» 68
 «Все наклоненья и залогии...» 555
 «Все фонари, всех лавок скарлатина...» (Любовь Фауста) 537
 «Всё в шкафу раскинь...» (Голос души) 538
 «Всё нынешней весной особое...» (Весна) 425
 «Всё переменится вокруг...» (Страшная сказка) 408
 Всё сбилось («Дороги превратились в кашу...») 482
 «Всё снес да снег, — терпи и точка...» 360
 «Всё утро голубь ворковал...» (Еще более душевный рассвет) 136
 «Всё утро с девяти до двух...» (Сон в летнюю ночь, 2) 190
 «Вслед за мной все зовут вас барышней...» 514
 «Встав из грохочущего ромба...» 72
 «Встарь, во время оно...» (Сказка) 436
 Встреча («Вода рвалась из труб, из луночек...») 157
 «Всю ночь вода трудилась без отдышки...» (Петухи) 208
 Вторая баллада («На даче спят. В саду, до пят...») 353
 «Вы помните еще ту сухость в горле...» (Победитель) 425
 Высокая болезнь («Мелькает движущийся ребус...») 236
 «Вытянись вся в длину...» (Под открытым небом) 570

 «Глухая пора листопада...» (Иней) 399
 «Годами когда-нибудь в зале концертной...» 357
 Голод («Во сне ты бредила, жена...») 539
 Голос души («Всё в шкафу раскинь...») 538
 Город («Зима, на кухне пеные петьки...») 401
 Город («Уже за версту...») 214
 «Город. Зимнее небо...» (Вакханалия) 474
 «Графленая в линейку десь!...» (Двадцать строф с предисловием) 217
 «Гроза, как жрец, сожгла сирень...» (Наша гроза) 129
 Гроза моментальная навек («А затем прошалось лето...») 148
 «Грудь под поцелуи, как под рукомошник!...» (Воробьевы горы) 131
 «Грустно в нашем саду...» (Бобыль) 409
 «Грусть моя, как пленная сербка...» 494
 «Густая слякоть клейковиной...» (К Октябрьской годовщине, 3) 230

 Да будет («Рассвет расколыхнет свечу...») 184
 «Давай ронять слова...» 150
 Два письма (1—2) 194
 Двадцать строф с предисловием («Графленая в линейку десь!...») 217
 Двор («Мелко исписанный инеем двор!...») 74
 «Дворника бастует. Брезгуй...» (Свистки милиционеров) 124
 Девочка («Из сада, с качелей, с бухты-барахты...») 115
 9-е января («Какая дальность расстоянья!...») 225
 Девятьсот пятый год («В нашу прозу с ее безобразьем...») 245
 Десятилетье Пресни («Усыпляя, влачась и сплющивая...») 77

- «Дивясь, как высь жутка. . .» (Путевые записки, 13) 395
 «Дик прием был, дик приход. . .» 139
 «Для этой книги на эпитаф. . .» (Тоска) 112
 До всего этого была зима («В занавесках кружевных. . .») 117
 Дождь («Она со мной. Наигрывай. . .») 116
 «Дождь дороги заболотил. . .» (Ненастье) 460
 «Дом высился, как каланча. . .» (Музыка) 469
 Дорога («То насыплю, то глубиью лога. . .») 466
 «Дороги превратились в кашу. . .» (Всё сбилось) 482
 «Достатком, а там и пирами. . .» 181
 Драматические отрывки (1—2) 528
 «Дрожат гаражи автобазы. . .» (Баллада) 352
 Дрозды («На захолустном полустанке. . .») 407
 Другу («Иль я не знаю, что, в потемки тычась. . .») 199
 Дурной сон («Прислушайся к вьюге, сквозь десны процежен-
 ной. . .») 75
 Душа («О, вольноотпущенница, если вспомнится. . .») 83
 «Душа — душна, и даль табачного. . .» (Мучкап) 137
 «Душа, что получается? . . .» (Скрипка Паганини) 516
 «Душистую веткою машучи. . .» 122
 Душная ночь («Накрапывало, — но негнулись. . .») 135
 «Дымились, встав от сна. . .» (Путевые записки, 4) 389

 Ева («Стоят деревья у воды. . .») 448
 Единственные дни («На протяженьи многих зим. . .») 487
 Елене («Я и непечатным. . .») 145
 «Еловый бурелом. . .» (Путевые записки, 11) 393
 «Если бровь резьбою. . .» (Мухи мучкапской чайной) 138
 Еще более душный рассвет («Всё утро голубь ворковал. . .») 136
 «Еще не умолкнул упрек. . .» 373
 «Еще о восходах молодых. . .» (Ледоход) 87

 «Жар на семи холмах. . .» (У себя дома) 144
 «Желоба коридоров иссякли. . .» (Мейерхольдам) 201
 Женщины в детстве («В детстве, я как сейчас еще помню. . .») 484
 «Жизни ль мне хотелось слаще? . . .» 552
 «Жизнь вернулась так же беспричинно. . .» (Объяснение) 430

 «За обрывками редкого сада. . .» 498
 «За окнами давка, толпится листва. . .» (После дождя) 95
 За поворотом («Насторожившись, начеку. . .») 481
 «За прошлого порог. . .» (Путевые записки, 5) 389
 Зазимки («Открыли дверь, и в кухню паром. . .») 399
 «Заколдованное число! . . .» (1917—1942) 558
 «Закрой глаза. В наиглушайшем органе. . .» (Весна, 4) 189
 Заместительница («Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет. . .») 130
 Заморозки («Холодным утром солнце в дымке. . .») 458
 «Записки завсегдатая. . .» (Асееву) 550
 «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей. . .» (Разрыв, 5) 175
 Зарево («Нас время балуует победами. . .») 560

- «Засим, имелся сеновал. . .» (Имелось) 151
 Застава («Садясь, как куры на насест. . .») 410
 «Засыплет снег дороги. . .» (Свидание) 442
 Звезды летом («Рассказали страшное. . .») 125
 Зверинец («Зверинец расположен в парке. . .») 546
 «Здесь будет всё: пережитое. . .» (Волны) 343
 «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь. . .» (Осень, 5) 197
 Земля («В московские особняки. . .») 444
 «Земля смотрела именинницей. . .» (Одесса) 568
 Зеркало («В трюмо испаряется чашка какао. . .») 114
 Зима («Прижимаюсь щекою к воронке. . .») 71
 «Зима, на кухне пеные петьки. . .» (Город) 401
 Зима приближается («Зима приближается. Сызнова. . .») 414
 Зимнее небо («Цельно льдиной из дымности вынут. . .») 83
 Зимнее утро (1—5) 184
 Зимние праздники («Будущего недостаточно. . .») 485
 Зимняя ночь («Мело, мело по всей земле. . .») 439
 Зимняя ночь («Не поправить дня усилиями светилен. . .») 73
 Золотая осень («Осень. Сказочный чертог. . .») 459
 «И даже в портняжной. . .» (Полярная швея, 2) 510
 Ивака («Кокошник нахлобучила. . .») 90
 «Идет без проволочек. . .» (Ночь) 462
 «Из массы пыли за заставы. . .» (Мефистофель) 159
 Из поэмы (1—2) 104
 «Из сада, с качелей, с бухты-баракхты. . .» (Девочка) 115
 Из суевья («Коробка с красным померанцем. . .») 118
 «Извозничий двор и встающий из вод. . .» (Шекспир) 160
 «Илистых плавней желтый янтарь. . .» (В низовьях) 422
 «Иль я не знаю, что, в потемки тычась. . .» (Другу) 199
 Имелось («Засим, имелся сеновал. . .») 151
 Импровизация («Я клавишей стаю кормил с руки. . .») 95
 Иней («Глухая пора листопада. . .») 399
 «Ирпень — это память о людях и лете. . .» (Лето) 354
 «Исчерпан весь ливень вечерний. . .» (Счастье) 91
 «Итак, только ты, мой город. . .» (Сердца и Спутники) 500
 Июль («По дому бродит привиденье. . .») 450
 Июльская гроза («Так приближается удар. . .») 94
 «К ногам прилипает наждак. . .» (Пространство) 203
 К Октябрьской годовщине (1—3) 228
 «Как бронзовой золой жаровень. . .» 65
 «Как брошенный с пути снегам. . .» (Кремль в буран конца 1918 года. Болезнь, 5) 170
 «Как были те выходы в тишь хороши! . .» (Степь) 134
 «Как в пулю сажают вторую пулю. . .» (Петербург) 79
 «Как всякий факт на всяком бланке. . .» (Нескучный) 180
 «Как казначей последней из планет. . .» 504
 «Как кочегар, на бак. . .» (Путевые записки, 2) 387
 «Как не в своем рассудке. . .» (Зимнее утро, 2) 185
 «Как прежде, падали снаряды. . .» (Ожившая фреска) 423
 «Как-то в сумерки Тифлиса. . .» (Художник, 2) 382

- «Как топи укрывают рдест. . .» (Близнец на корме) 496
 Как у них («Лицо лазури пышет над лицом. . .») 147
 «Как усыпительна жизнь! . .» 141
 «Как я люблю ее в первые дни. . .» (Вальс со слезой) 403
 «Какая горячая кровь у сумерек. . .» 516
 «Какая дальность расстоянья! . .» (9-е января) 225
 «Камень мыло унынье. . .» (Предчувствие) 511
 Карусель («Листья кленов шелестели. . .») 544
 Клеветникам («О детство! Ковш душевной глуби! . .») 177
 «Когда до тончайшей мелочи. . .» (Три варианта, 1) 93
 «Когда за лиры лабиринт. . .» 66
 «Когда мечтой двояковогнутой. . .» (Ночное панно) 499
 Когда разгуляется («Большое озеро как блюдо. . .») 455
 «Когда случилось петь Дездемоне. . .» (Уроки английского) 125
 «Когда смертельный треск сосны скрипучей. . .» 551
 «Когда я устаю от пустозвонства. . .» 371
 «Кокошник нахлобучила. . .» (Ивака) 90
 Конец («Наяву ли всё? Время ли разгуливать? . .») 154
 «Коробка с красным померанцем. . .» (Из суевья) 118
 «Корыта и ушаты. . .» (Ложная тревога) 398
 «Косую тень зари роднит. . .» (Уральские стихи, 2, Рудник) 221
 «Косых картин, летящих ливня. . .» 180
 «Который час? Темно. Наверно, третий. . .» (Бессонница) 569
 «Красавица моя, вся статья. . .» 363
 Кремль в буран конца 1918 года («Как брошенный с пути сне-
 гам. . .». Болезнь, 5) 170
 «Кругом семенящейся ватой. . .» 364
 «Крупный разговор. Еще не запирали. . .» (Сон в летнюю ночь,
 1) 190
 «Куда часы нам затесать? . .» (Распад) 133

 Ландыши («С утра жара. Но отведи. . .») 209
 «Лариса, вот когда посожалею. . .» (Памяти Рейснер) 212
 Ледоход («Еще о восходах молодых. . .») 87
 Лейтенант Шмидт («Поля и даль распластывались эллипсом. . .») 271
 Лесное («Я — уст безвестных разговор. . .») 493
 Летний день («У нас весною до зари. . .») 395
 Лето («Ирпень — это память о людях и лете. . .») 354
 Лето («Тянулось в жажде к хоботкам. . .») 147
 Лето в городе («Разговоры вполголоса. . .») 431
 Липовая аллея («Ворота с полукруглой аркой. . .») 454
 Лирический простор («Что ни утро, в плененьи барьера. . .») 496
 «Лист смородины груб и матерчат. . .» (Бабье лето) 433
 «Листья кленов шелестели. . .» (Карусель) 544
 «Лицо лазури пышет над лицом. . .» (Как у них) 147
 «Лодка колотится в сонной груди. . .» (Сложка весла) 123
 Ложная тревога («Корыта и ушаты. . .») 398
 «Луга мутило жаром лиловатым. . .» (В лесу) 182
 «Любимая, безотлагательно. . .» (Два письма, 1) 194
 «Любимая — жуть! Когда любит поэт. . .» 149
 «Любимая, — молвы слащавой. . .» 362
 «Любить иных — тяжелый крест. . .» 359

- «Любить — идти, — не смолкнул гром...» 152
 Любка («Недавно этой просекой лесной...») 210
 Любовь Фауста («Все фонари, всех лавок скарлатина...») 537
- «Мальчик маленький в кроватке...» (Старый парк) 412
 Марбург («Я вздрагивал. Я загорался и гас...») 107
 Маргарита («Разрывая кусты на себе, как силос...») 158
 Марине Цветаевой («Ты вправо, вывернув карман...») 200
 Март («Солнце греет до седьмого пога...») 427
 Матрос в Москве («Я увидал его, лишь только...») 223
 «Мгновенный снег, когда булыжник узрен...» 552
 «Между прочим, все вы, чтицы...» (Зимнее утро, 5) 187
 Мейерхольдам («Желоба коридоров иссякли...») 201
 «Мелко исписанный инеем двор!...» (Двор) 74
 «Мело, мело по всей земле...» (Зимняя ночь) 439
 «Мелькает движущийся ребус...» (Высокая болезнь) 236
 Мельницы («Стучат колеса на селе...») 100
 Мельхиор («Храмовой в малахите ли холен...») 502
 «Меня б не тронул рай...» (Путевые записки, 8) 392
 «Мертвецкая мгла...» 360
 Метель (1—2) 84
 Мефистофель («Из массы пыли за заставы...») 159
 «Мне в сумерки ты всё — пансионеркою...» (Болезнь, 7) 172
 «Мне далекое время мерещится...» (Белая ночь) 427
 «Мне кажется, я подберу слова...» (Анне Ахматовой) 199
 «Мне по душе строптивый норв...» (Художник, 1) 381
 «Мне снилась осень в полусвете стекол...» (Сон) 67
 «Может статься так, может иначе...» (Болезнь, 3) 169
 «Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью...» (Разрыв, 7) 175
 «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всюю...» (Разрыв, 8) 176
 Мороз («Над банями дымятся трубы...») 551
 Морской штиль («Палящим полднем вне времен...») 541
 Муза девятьсот девятого («Слышшая младшею дочерью...») 522
 Музыка («Дом высился, как каланча...») 469
 Мухи мучкапской чайной («Если бровь резьбою...») 138
 Мучкап («Душа — душна, и даль табачного...») 137
 «Мчались звезды. В море мылись мысы...» (Вариации, 3) 165
 «Мы время по часам заметили...» (Смерть сапера) 415
 «Мы настигали неприятеля...» (Преследование) 417
- «На берегу пустынных волн...» (Вариации, 2. Подражательная) 163
 «На всех парах несется поезд...» (Поездка) 483
 «На Грузии не счесть...» (Путевые записки, 12) 394
 «На даче спят. В саду, до пят...» (Вторая баллада) 353
 «На днях, в тот миг, как в ворох корпии...» (Два письма, 2) 194
 «На захолустном полустанке...» (Дрозды) 407
 «На кустах растут разрывы...» (Три варианта, 3) 93
 «На мне была белая обувь девочки...» (Полярная швея, 1) 509
 На пароходе («Был утренник. Сводило челюсти...») 103
 «На протяжении многих зим...» (Единственные дни) 487

- На ранних поездах («Я под Москвою эту зиму...») 404
 «На тротуарах истолку...» (Про эти стихи) 111
 наброски к фантазии «Поэма о ближнем» («Во всё продолженье
 рассказа голос...») 523
 «Над банями дымятся трубы...» (Мороз) 551
 «Над шабашем скал, к которым...» (Вариации, 1. Оригиналь-
 ная) 162
 «Накрапывало, — но не гнулись...» (Душная ночь) 135
 «Налетела тень. Затрепыхалась в тяге...» (Pro domo) 515
 «Нас время бѣдует победами...» (Зарево) 560
 «Нас мало. Нас, может быть, трое...» 179
 «Насторожившись, начеку...» (За поворотом) 481
 Наша гроза («Гроза, как жрец, сожгла сирень...») 129
 «Наяву ли всё? Время ли разгуливать?...» (Конец) 154
 «Не верили, считали — бредни...» (Смерть поэта) 356
 «Не волшуйся, не плачь, не труди...» 358
 «Не как люди, не еженедельно...» 84
 «Не поправить дня усилиями свистлен...» (Зимняя ночь) 73
 Не трогать («Не трогать, свежеевыкрашен...») 119
 «Не чувствую красот...» (Путевые записки, 1) 387
 Ночной ветер («Стихли песни и пьяный галдеж...») 458
 «Недавно этой просекой лесной...» (Любка) 210
 «Недотрога, тихоня в быту...» (Без названия) 449
 Нежность («Ослепляя блеском...») 570
 «Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском...» (Спасское) 183
 «Немолчный плеск солей...» (Путевые записки, 10) 393
 «Немые индивиды...» (Безвременно умершему) 385
 Ненастье («Дождь дороги заболотил...») 460
 Неоглядность («Непобедимым — многолетье...») 421
 «Непобедимым — многолетье...» (Неоглядность) 421
 Нескучный («Как всякий факт на всяком бланке...») 180
 «Нет, не я вам печаль причинил...» (Послесловье) 153
 «Нет сил никаких у вечерних стрижей...» (Стрижи) 91
 «Никого не будет в доме...» 365
 «Но и им суждено было выцвести...» (Осень, 3) 196
 Но почему («Но почему...») 512
 «Ночам соловьем обладать...» (Эхо) 92
 Ночное панно («Когда мечтой двояковогнутой...») 499
 «Небо гадливо касалось холма...» (Прощанье) 521
 Ночь («Идет без проволочек...») 462
 «Ночью... со связками зрелых горелок...» 497
 «Ну, и надо ж было, тужась...» (Зимнее утро, 4) 186

 «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б...» (Разрыв, 1) 173
 «О, бедный Ното sapiens...» (Образец) 121
 «О, вольноотпущенница, если вспомнится...» (Душа) 83
 «О город! О сборник задач без ответов...» (1 мая) 540
 «О, детство! Ковш душевной глубин!» (Клеветникам) 177
 «О, эне! Раздастся ль только хохот...» (Болезни земли) 127
 «О, знал бы я, что так бывает...» 371
 «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем...» (Раз-
 рыв, 2) 173

- Об Иване Великом («В тверди тверда слова рцы...») 503
«Облако. Звезды. И сбоку...» (Вариации, 4) 165
Образец («О, бедный Ното sariens...») 121
Объяснение («Жизнь вернулась так же беспричинно...») 430
«Огни заката догорали...» (Весенняя распутица) 429
Одесса («Земля смотрела именинницей...») 568
Ожившая фреска («Как прежде, падали снаряды...») 423
«Окно, плюитр, и как овраги эхом...» 358
«Он встает. Века, Гелаты...» (Художник, 4) 384
«Он встал. В столовой било час. Он знал...» (Белые стихи) 232
«Он слышал жалобу бруска...» 492
«Она со мной. Наигрывай...» (Дождь) 116
Определение души («Спелой грушею в бурю слететь...») 127
Определение поэзии («Это — круто налившийся свист...») 126
Определение творчества («Разметав отвороты рубашки...») 128
Опять весна («Поезд ушел. Насыпь черна...») 405
«Опять Шопен не ищет выгод...» 366
Орешник («Орешник тебя отрешает от дня...») 181
Оригинальная вариация (Вариация 1. «Над шабашем скал, к которым...») 162
Осенний лес («Осенний лес заволосател...») 457
«Осень. Отвыкли от молний...» 515
«Осень. Сказочный чертог...» (Золотая осень) 459
Осень («Ты распугал моих товарок...») 543
Осень («Я дал разъехаться домашним...») 435
Осень (1—5) 195
«Ослепляя блеском...» (Нежность) 570
«От жара струились стручья...» (Apassionata) 519
«От луба отлынивая смолью...» (Цыгане) 501
«От тела все мысли отвлеку...» (Разрыв, 3) 174
«От тела отдельную жизнь, и длинней...» (Фуфайка больного. Болезнь, 4) 170
«Открыли дверь, и в кухню паром...» (Зазимки) 399
Отплытие («Слышен лепет соли каплющей...») 207
«Оттепелями из магазинов...» 82
«Отчаянные холода...» (Весна в лесу) 450
«Палящим полднем вне времен...» (Морской штиль) 541
Памяти Демона («Приходил по ночам...») 110
Памяти Марины Цветаевой («Хмуρο тянется день непогожий...») 567
Памяти Рейснер («Лариса, вот когда посожалею...») 212
«Пара форточных петелек...» (Весна, 2) 188
«Париж в золотых тельцах, в дельцах...» (Бальзак) 204
Пахота («Что случилось с местностью всегдашней?») 483
«Пей и пиши, непрерывным патрулем...» (Сон в летнюю ночь, 5) 192
«Пекло, и берег был высок...» (Подражатели) 120
1 мая («О город! О сборник задач без ответов...») 540
Первый снег («Снаружи вьюга мечется...») 471
Перелет («А над обрывом, стих, твоя опешит...») 543
«Пересекши край двора...» (Свадьба) 434

- Петербург («Как в пулю сажают вторую пулю...») 79
 Петухи («Всю ночь вода трудилась без отдышки...») 208
 «Пианисту понятно шнырянье ветошниц...» (Сон в летнюю ночь, 3) 191
 Пиры («Пью горечь тубероз, небес осенних горечь...») 72
 «Платки, подборы, жгучий взгляд...» 361
 Плачущий сад («Ужасный! — Капнет и вслушается...») 113
 «Плетемся по грибы...» (По грибы) 451
 «По будням медник подле вас...» (Балашов) 119
 По грибы («Плетемся по грибы...») 451
 «По дому бродит привиденье...» (Июль) 450
 «По заборам бегут амбразуры...» (Вдохновенье) 156
 «По стене сбежали стрелки...» (Mein Liebchen, was willst du noch mehr?) 132
 Победитель («Вы помните еще ту сухость в горле...») 425
 Под открытым небом («Вытянись вся в длину...») 570
 «Под ракитой, обвитой плющом...» (Хмель) 432
 «Под спудом пыльных садов...» (К Октябрьской годовщине, 2) 229
 Подражатели («Пекло, и берег был высок...») 120
 Подражательная (Вариации, 2. «На берегу пустынных волн...») 163
 «Поезд ушел. Насыпь черна...» (Опять весна) 405
 Поездка («На всех парах несется поезд...») 483
 «Пока мы по Кавказу лазаем...» 370
 «Положим, гудение улья...» (Сирень) 210
 «Поля и даль распластывались эллипсом...» (Лейтенант Шмидт) 271
 «Полями наискось к закату...» (Следы на снегу) 472
 Полярная швея (1—2) 509
 «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить...» (Разрыв, 4) 174
 «Попытка душу разлучить...» 140
 «Порою ты, опередив...» 519
 После вьюги («После угмонившейся вьюги...») 473
 После дождя («За окнами давка, толпится листва...») 95
 После перерыва («Три месяца тому назад...») 470
 «После угмонившейся вьюги...» (После вьюги) 473
 Последний день Помпеи («Был вечер, как удар...») 520
 Послесловье («Нет, не я вам печаль причинил...») 153
 «Потели стекла двери на балкон...» (Осень, 2) 196
 Поэзия («Поэзия, я буду клясться...») 193
 Правда («Чего бы вздорного кругом...») 557
 Предчувствие («Камень мыло унынье...») 511
 Преследование («Мы настигали неприятеля...») 417
 Приближение грозы («Ты близко. Ты идешь пешком...») 213
 «Привыкши выковыривать изюм...» (Спекторский) 304
 «Прижимаюсь щекою к воронке...» (Зима) 71
 «Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной...» (Дурной сон) 75
 Присяга («Голпой облеплены ограды...») 406
 «Приходил по ночам...» (Памяти Демона) 110
 Про эти стихи («На тротуарах истолку...») 111
 «Пронизан солнцем лес насквозь...» (Тишина) 452
 Проетранство («К ногам прилипает наждак...») 203

- «Прошу простить. Я сожалею. . .» (Актриса) 571
 Прощанье («Небо гадливо касалось холма. . .») 521
 Прощание с романтикой — см. Двадцать строф с предисловием
 «Пусть даже смешаны сердца. . .» 493
 Путевые записки (1—13) 387
 «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь. . .» (Пиры) 72
- «Разве только грязь видна вам. . .» (Весна, 3) 89
 Разведчики («Синело небо. Было тихо. . .») 418
 «Разговоры вполголоса. . .» (Лето в городе) 431
 Разлука («С порога смотрит человек. . .») 440
 «Разметав отвороты рубашки. . .» (Определение творчества) 128
 «Разочаровалась? Ты думала — в мире нам. . .» (Разрыв, 6) 175
 Разрыв (1—9) 173
 «Разрывая кусты на себе, как силок. . .» (Маргарита) 158
 Раскованный голос («В шалющую полночью площадь. . .») 84
 Распад («Куда часы нам затесать? . .») 133
 Рассвет («Ты значил всё в моей судьбе. . .») 443
 «Рассвет расколыхнет свечу. . .» (Да будет) 184
 «Рассказали страшное. . .» (Звезды летом) 125
 «Редчал разговор оживленный. . .» (К Октябрьской годовщине, 1) 228
 «Рослый стрелок, осторожный охотник. . .» 208
 «Рояль дрожащий пену с губ оближет. . .» (Разрыв, 9) 176
 Рудник (Уральские стихи, 2) 221
- «С действительностью иллюзию. . .» (Трава и камни) 461
 «С полу, звездами облитого. . .» (Болезнь, 2) 168
 «С порога смотрит человек. . .» (Разлука) 440
 «С рассветом, взваленным за спину. . .» 514
 «С тех дней стал над недрами парка сдвигаться. . .» (Осень, 1) 195
 «С утра жара. Но отведи. . .» (Ландыши) 209
 «Сады тошнит от верст затишья. . .» (Три варианта, 2) 93
 «Садясь, как куры на насест. . .» (Застава) 410
 Свадьба («Пересекши край двора. . .») 434
 Свидание («Засыплет снег дороги. . .») 442
 Свистки милиционеров («Дворня бастует. Брезгуя. . .») 124
 «Сегодня мы исполним грусть его. . .» 66
 «Сегодня с первым светом встанут. . .» 69
 «Сердца и спутники, мы коченеем. . .» (Близнецы) 495
 Сердца и спутники («Итак, только ты, мой город. . .») 500
 «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе. . .» 112
 «Синело небо. Было тихо. . .» (Разведчики) 418
 Сирень («Положим, — гудение улья. . .») 210
 Сказка («Встарь, во время оно. . .») 436
 «Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа. . .» (Тема) 161
 Скрипка Паганини («Душа, что получается? . .») 516
 «Скромный дом, но рюмка рому. . .» (Художник, 3) 383
 Следы на снегу («Полями наискось к закату. . .») 472
 Сложь весла («Лодка колотится в сонной груди. . .») 123
 «Слышшая младшею дочерью. . .» (Муза девятьсот девятого) 522
 «Слышен лепет соли каплющей. . .» (Отплытие) 207

- Смелость («Безыменные герои...») 411
 Смерть поэта («Не верили, считали — бредни...») 356
 Смерть сапера («Мы время по часам заметили...») 415
 «Снаружи вьюга мечется...» (Первый снег) 471
 Снег идет («Снег идет, снег идет...») 471
 «Снуют пунцовые стрекозы...» (Стога) 453
 «Солнце греет до седьмого пота...» (Март) 427
 Сон («Мне снилась осень в полусвете стекол...») 67
 Сон в летнюю ночь (1—5) 190
 Сосны («В траве, меж диких бальзаминов...») 396
 Спасское («Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском...») 183
 Спекторский («Привыкли выковыривать изюм...») 304
 «Спелой грушею в бурю слететь...» (Определение души) 127
 Спешные строки («Чувствовалась близость фронта...») 558
 Станция (Уральские стихи, 1) 219
 Старый парк («Мальчик маленький в кровати...») 412
 Степь («Как были те выходы в тишь хороши!...») 134
 «Стихи мои, бегом, бегом...» 372
 «Стихли песни и пьяный галдеж...» (Ночной ветер) 458
 Стихотворенье («Стихотворенье? — Малыши!...») 542
 Стога («Снуют пунцовые стрекозы...») 453
 «Столетье с лишним — не вчера...» 377
 «Стояли как перед витриной...» (В больнице) 467
 «Стоят деревья у воды...» (Ева) 448
 Страшная сказка («Все переменится вокруг...») 408
 Стрижи («Нет сил никаких у вечерних стрижей...») 91
 «Стучат колеса на селе...» (Мельницы) 100
 «Сумерки... словно оруженосцы роз...» 491
 «Счастлив, кто целиком...» (Путевые записки, 3) 388
 Счастье («Исчерпан весь ливень вечерний...») 91
- «Так начинают. Года в два...» 178
 «Так приближается удар...» (Июльская гроза) 94
 «Там, в зеркале, они бессрочны...» 493
 Тема («Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа...») 161
 «Тени вечера волоса тоньше...» 487
 Тишина («Пронизан солнцем лес насквозь...») 452
 «То насыпью, то глубию лога...» (Дорога) 466
 «Толпой облеплены ограды...» (Присяга) 406
 «Только слышу полку вдали...» (Вальс с чертовщиной) 402
 Тоска («Для этой книги на эпиграф...») 112
 «Тоска, бешеная, бешеная...» 507
 «Тот год! Как часто у окна...» (Январь 1919 года. Болезнь, 6) 171
 Трава и камни («С действительностью иллюзию...») 461
 «Трепещёт даль. Ей нет препон...» 542
 Три варианта (1—3) 93
 «Три месяца тому назад...» (После перерыва) 470
 «Ты близко. Ты идешь пешком...» (Приближенье грозы) 213
 «Ты в ветре, веткой пробуешь...» 115
 «Ты вправо, вывернув карман...» (Марине Цветаевой) 200
 «Ты выводы копишь полвека...» (Хлеб) 456
 «Ты здесь, мы в воздухе одном...» 266

- «Ты значил всё в моей судьбе...» (Рассвет) 443
 «Ты распугал моих товарок...» (Осень) 543
 1917—1942 («Заколдованное число!...») 558
 «Ты так играла эту роль!...» 119
 «Тянулось в жажде к хоботкам...» (Лето) 147
- «У нас весною до зари...» (Летний день) 395
 У себя дома («Жар на семи холмах...») 144
 «Ужасный! — Капнет и вслушается...» (Плачущий сад) 113
 «Уже в архив печали сдан...» 528
 «Уже за версту...» (Город) 214
 «Улыбаясь, убывала...» 510
 Урал впервые («Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти...») 86
 Уральские стихи (1—2) 219
 Уроки английского («Когда случилось петь Дездемоне...») 125
 «Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил...» (Весенний дождь) 123
 «Уступами восходит хор...» (Хор) 498
 «Усыпляя, влачась и сплющивая...» (Десятилетье Пресни) 77
- «Февраль. Достать чернил и плакаты!...» 65
 Фуфайка большого («От тела отдельную жизнь, и длинней...». Болезнь, 4) 170
- Хлеб («Ты выводи копишь полвека...») 456
 Хмель («Под ракистой, обвитой плющом...») 432
 «Хмуρο тянется день непогожий...» (Памяти Марины Цветаевой) 567
 «Холодным утром солнце в дымке...» (Заморозки) 458
 Хор («Уступами восходит хор...») 498
 «Храмовой в малахите ли холен...» (Мельхиор) 502
 Художник (1—4) 381
- «Цельною льдиной из дымности вынут...» 83
 Цыгане («От луча отлынивая смолью...») 501
 «Цыганских красок достигал...» (Вариации, 5) 166
- «Чего бы вздорного кругом...» (Правда) 557
 «Чем в жизни пробавляется чудак...» (Gleisdreieck) 540
 «Чернее вечера...» (Путевые записки, 9) 392
 «Чирикали птицы и были искренни...» (Весна, 5) 190
 «Что ни утро, в пленении барьера...» (Лирический простор) 496
 «Что почек, что клейких заплывших огарков...» (Весна, 1) 88
 «Что случилось с местностью всегдашней?...» (Пахота) 483
 «Чувствовалась близость фронта...» (Спешные строки) 558
 «Чужими кровьями сдабривавший...» (Materia prima) 513
- Шекспир («Извозчикий двор и встающий из вод...») 160
- Элегия 3 («Бывали дни: как выбитые кегли...») 492
 «Это — круто налившийся свист...» (Определение поэзии) 126
 «Это мой, это мой...» 521
 Эхо («Ночам соловьем обладать...») 92

- «Я был разбужен спозаранку. . .» (Венеция) 70
«Я в мысль глухую о себе. . .» 491
«Я вздрагивал. Я загорался и гас. . .» (Марбург) 107
«Я видел, чем Тифлис. . .» (Путевые записки, 6) 390
«Я вижу на пере у творца. . .» (Сон в летнюю ночь, 4) 192
«Я дал развехаться домашним. . .» (Осень) 435
«Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет. . .» (Заместительница) 130
«Я и непечатным. . .» (Елене) 145
«Я их мог позабыть? Про родню. . .» 178
«Я клавишей стаю кормил с руки. . .» (Импровизация) 95
«Я кончился, а ты жива. . .» (Ветер) 432
«Я не знаю, что тошней. . .» (Зимнее утро, 3) 186
«Я под Москвою эту зиму. . .» (На ранних поездах) 404
«Я поздравляю вас, как я отца. . .» (Брюсову) 211
«Я помню грязный двор. . .» (Путевые записки, 7) 391
«Я понял: всё живо. . .» 554
«Я понял жизни цель и чу. . .» 87
«Я рос. Меня, как Ганимеда. . .» 68
«Я спал. В ту ночь мой дух дежурил. . .» (Из поэмы, 2) 105
«Я тоже любил, и дыханье. . .» (Из поэмы, 1) 104
«Я тоже любил. И за архипелаг. . .» (Наброски к фантазии «Поэма о ближнем») 523
«Я увидал его, лишь только. . .» (Матрос в Москве) 223
«Я — уст безвестных разговор. . .» (Лесное) 493
Январь 1919 года («Тот год! Как часто у окна. . .» Болезнь, 6) 171

- Apassionata («От жара струились стручья. . .») 519
Gleisdreieck («Чем в жизни пробавляется чудак. . .») 540
Materia prima («Чужими кровями слаббивавший. . .») 513
Mein Liebchen, was willst du noch mehr? («По стене сбежали стрелки. . .») 132
Pro domo («Налетела тень. Затрепыхалась в тяге. . .») 515

СОДЕРЖАНИЕ¹

Предисловие	5
Поэзия Пастернака. <i>Вступительная статья А. Д. Сиявского.</i>	9

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА. 1912—1914

«Февраль. Достать чернил и плакать!..»	65	621
«Как бронзовой золой жаровень...»	65	621
«Сегодня мы исполним грусть его...»	66	622
«Когда за лиры лабиринт...»	66	622
Сон	67	622
«Я рос. Меня, как Ганимеда...»	68	622
«Все наденут сегодня пальто...»	68	623
«Сегодня с первым светом встанут...»	69	623
Вокзал	69	623
Венеция	70	623
Зима	71	623
Пир	72	623
«Встав из грохочущего ромба...»	72	624
Зимняя ночь («Не поправить дня усилиями светилен...»)	73	624

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ. 1914—1916

Двор	74	625
Дурной сон	75	625
Возможность	77	625
Десятилетье Пресни (<i>Отрывок</i>)	77	625

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

Петербург	79 625
«Оттепелями из магазинов...»	82 625
Зимнее небо	83 625
Душа	83 625
«Не как люди, не еженедельно...»	84 626
Раскованный голос	84 626
Метель	84 626
Урал впервые	86 626
Ледоход	87 626
«Я понял жизни цель и чту...»	87 626
Весна	88 626
Ивака	90 627
Стрижи	91 627
Счастье	91 627
Эхо	92 627
Три варианта	93 627
Июльская гроза	94 627
После дождя	95 627
Импровизация	95 628
Баллада	96 628
Мельницы	100 628
На пароходе	103 629
Из поэмы (<i>Два отрывка</i>)	104 629
Марбург	107 629

СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ. Лето 1917 года

Памяти Демона	110 632
Не время ль птицам петь	
Про эти стихи	111 633
Тоска	112 633
«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...»	112 633
Плачущий сад	113 633
Зеркало	114 633
Девочка	115 634
«Ты в ветре, веткой пробуящем...»	115 634
Дождь. <i>Надпись на «Книге степи»</i>	116 634
Книга степи	
До всего этого была зима	117 634
Из суевья	118 634
Не трогать	119 634
«Ты так играла эту роль!...»	119 634
Балашов	119 634
Подражатели	120 634
Образец	121 634
Развлеченья любимой	
«Душистою веткою машучи...»	122 634
Слома весла	123 634
Весенний дождь	123 635
Свистки милиционеров	124 635
Звезды летом	125 635
Уроки английского	125 635

Занятие философией	
Определение поэзии	126 636
Определение души	127 636
Болезни земли	127 636
Определение творчества	128 636
Наша гроза	129 636
Заместительница	130 636
Песни в письмах, чтобы не скучала	
Воробьевы горы	131 636
Mein Liebchen, was willst du noch mehr?	132 636
Распад	133 637
Романовка	
Степь	134 637
Душная ночь	135 637
Еще более душный рассвет	136 637
Попытка душу разлучить	
Мучкап	137 637
Мухи мучкапской чайной	138 638
«Дик прием был, дик приход...»	139 638
«Попытка душу разлучить...»	140 638
Возвращение	
«Как усыпительна жизнь!..»	141 638
У себя дома	144 638
Елене	
Елене	145 638
Как у них	147 639
Лето	147 639
Гроза моментальная навек	148 639
Послесловие	
«Любимая — жуть! Когда любит поэт...»	149 639
«Давай ронять слова...»	150 640
Имелось	151 640
«Любить — идти, — не смолкнул гром...»	152 640
Послесловье	153 640
Конец	154 640

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ. 1916—1922

Пять повестей	
Вдохновенье	156 641
Встреча	157 641
Маргарита	158 641
Мефистофель	159 641
Шекспир	160 641
Тема с вариациями	
Тема	161 641
Вариации	
1. Оригинальная	162 642
2. Подражательная	163 642
3. «Мчались звезды. В море мыслись мысы...»	165 642
4. «Облако. Звезды. И сбоку...»	165 642
5. «Цыганских красок достигал...»	166 642
6. «В степи охладевал закат...»	167 642

Болезнь

1. «Больной следит. Шесть дней подряд . . .» 167 642
2. «С полу, звездами облигого . . .» 168 642
3. «Может статься так, может иначе . . .» 169 643
4. Фуфайка больного 170 643
5. Кремль в бурю конца 1918 года 170 643
6. Январь 1919 года 171 643
7. «Мне в сумерки ты всё — пансионеркою . . .» 172 643

Разрыв

1. «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б . . .» 173 643
2. «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем . . .» 173 643
3. «От тебя все мысли отвлеку . . .» 174 643
4. «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить . . .» 174 643
5. «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей . . .» 175 643
6. «Разочаровалась? Ты думала — в мире нам . . .» 175 643
7. «Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью в перелете с Бергена на полюс . . .» 175 643
8. «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею . . .» 176 643
9. «Рояль дрожащий пену с губ оближет . . .» 176 643

Я их мог позабыть

1. Клеветникам 177 643
2. «Я их мог позабыть? Про родню . . .» 178 643
3. «Так начинают. Года в два . . .» 178 644
4. «Нас мало. Нас, может быть, трое . . .» 179 644
5. «Косых картин, летящих ливня . . .» 180 644

Нескучный сад

1. Нескучный 180 644
2. «Достатком, а там и пирами . . .» 181 644
3. Орешник 181 644
4. В лесу 182 644
5. Спасское 183 644
6. Да будет 184 644
7. Зимнее утро (Пять стихотворений) 184 644
8. Весна (Пять стихотворений) 187 645
9. Сон в летнюю ночь (Пять стихотворений) 190 645
10. Поэзия 193 645
11. Два письма 194 645
12. Осень (Пять стихотворений) 195 645

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ. 1918—1931

Смешанные стихотворения

- Другу 199 646
Анне Ахматовой 199 646
Марине Цветаевой 200 646
Мейерхольдам 201 647
Пространство 203 647
Бальзак 204 647
Бабочка — буря 206 647

Отплытие	207 647
«Рослый стрелок, осторожный охотник...»	208 647
Петухи	208 647
Ландыши	209 647
Сирень	210 647
Любка	210 648
Брюсову	211 648
Памяти Рейснер	212 648
Приближенья грозы	213 648
Эпические мотивы	
Город	214 648
Двадцать строф с предисловием (<i>Зачаток романа «Спекторский»</i>)	217 648
Уральские стихи	
1. Станция	219 648
2. Рудник	221 648
Матрос в Москве	223 649
9-е января (<i>Первоначальный вариант</i>)	225 649
К Октябрьской годовщине	228 650
Белые стихи	232 650
ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ	236 650
ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД	
«В нашу прозу с ее безобразьем...»	245 656
Отцы	246 656
Детство	250 657
Мужики и фабричные	254 657
Морской мятеж	257 657
Студенты	262 658
Москва в декабре	265 659
ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ	
Часть первая	271 661
Часть вторая	282 666
Часть третья	292 669
СПЕКТОРСКИЙ	304 671
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. 1930—1931	
I	
Волны	343 673
II	
Баллада	352 676
Вторая баллада	353 676
Лето	354 676
Смерть поэта	356 676

III

«Годами когда-нибудь в зале концертной...»	357 677
«Не волнуйся, не плачь, не труди...»	358 677
«Окно, пюпитр и, как овраги эхом...»	358 677
«Любить иных — тяжелый крест...»	359 677
«Всё снег да снег, — терпи и точка...»	360 677
«Мертвешкая мгла...»	360 677
«Платки, подборы, жгучий взгляд...»	361 678
«Любимая, — молвы slashавой...»	362 678
«Красавица моя, вся статья...»	363 678

IV

«Кругом семенящейся ватой...»	364 678
«Никого не будет в доме...»	365 678
«Ты здесь, мы в воздухе одном...»	366 678
«Опять Шопен не ищет выгод...»	366 678

V

«Вечерело. Повсюду ретиво...»	368 679
«Пока мы по Кавказу лазаем...»	370 679

VI

«О, знал бы я, что так бывает...»	371 679
«Когда я устаю от пустозвонства...»	371 679
«Стихи мои, бегом, бегом...»	372 679
«Еще не умолкнул упрек...»	373 679

VII

«Весенний день тридцатого апреля...»	376 680
«Столетье с лишним — не вчера...»	377 680
«Весенню порою льда...»	378 680

НА РАНИХ ПОВЕЗДАХ. 1936—1944

Художник

1. «Мне по душе строптивый норв...»	381 681
2. «Как-то в сумерки Тифлиса...»	382 681
3. «Скромный дом, но рюмка рому...»	383 682
4. «Он встает. Века, Гелаты...»	384 682
Безвременно умершему	385 682
Путевые записки	
1. «Не чувствую красот...»	387 683
2. «Как кочегар на бак...»	387 683
3. «Счастлив, кто целиком...»	388 683
4. «Дымилсь, встав от сна...»	389 683
5. «За прошлого порог...»	389 683
6. «Я видел, чем Тифлис...»	390 683
7. «Я помню грязный двор...»	391 683

8. «Меня б не тронул рай...»	392 683
9. «Чернее вечера...»	392 683
10. «Немолчный плеск солзй...»	393 684
11. «Еловый бурелом...»	393 684
12. «На Грузии не счесть...»	394 684
13. «Дивясь, как высь жутка...»	395 684

Переделкино

Летний день	395 685
Сосны	396 685
Ложная тревога	398 686
Зазимки	399 686
Иней	399 686
Город	401 686
Вальс с чертовщиной	402 686
Вальс со слезой	403 686
На ранних поездах	404 686
Опять весна	405 686
Присяга	406 686
Дрозды	407 686

Стихи о войне

Страшная сказка	408 687
Бобыль	409 687
Застава	410 687
Смелость	411 687
Старый парк	412 688
Зима приближается	414 688
Смерть сапера	415 688
Преследование	417 688
Разведчики	418 689
Неоглядность	421 689
В низовьях	422 689
Ожившая фреска	423 689
Победитель	425 690
Весна	425 690

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ ИЗ РОМАНА». 1946—1953

Март	427 691
Белая ночь	427 691
Весенняя распутица	429 691
Объяснение	430 691
Лето в городе	431 691
Ветер	432 691
Хмель	432 691
Бабье лето	433 691
Свадьба	434 691
Осень («Я дал разъехаться домашним...»)	435 691
Сказка	436 691
Зимняя ночь («Мело, мело по всей земле...»)	439 692
Разлука	440 692
Свидание	442 692
Рассвет	443 692
Земля	444 692

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ. 1956—1959

«Во всем мне хочется дойти...»	446 692
«Быть знаменитым некрасиво...»	447 692
Ева	448 693
Без названия	449 693
Весна в лесу	450 693
Июль	450 693
По грибы	451 693
Тишина	452 693
Стога	453 693
Липовая аллея	454 693
Когда разгуляется	455 693
Хлеб	456 693
Осенний лес	457 693
Заморозки	458 693
Ночной ветер	458 693
Золотая осень	459 693
Ненастье	460 693
Трава и камни	461 694
Ночь	462 694
Ветер (<i>Четыре отрывка о Блоке</i>)	464 694
Дорога	466 694
В больнице	467 694
Музыка	469 694
После перерыва	470 695
Первый снег	471 695
Снег идет	471 695
Следы на снегу	472 695
После выюги	473 695
Вакханалия	474 695
За поворотом	481 696
Всё сбылось	482 696
Пахота	483 696
Поездка	483 696
Женщины в детстве	484 696
Зимние праздники	485 696
«Тени вечера волоса тоньше...»	487 696
Единственные дни	487 696

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

«Я в мысль глухую о себе...»	491 696
«Сумерки... словно оруженосцы роз...»	491 696
Элегия 3	492 696
«Он слышал жалобу бруска...»	492 696
«Пусть даже смешаны сердца...»	493 696
«Там, в зеркале, они бессрочны...»	493 696
Лесное	493 697
«Грусть моя, как пленная сербка...»	494 697
Близнецы	495 697

Близнец на корме	496 697
Лирический простор	496 697
«Ночью... со связками зрелых горелок...»	497 697
«За обрывками редкого сада...»	498 697
Хор	498 697
Ночное панно	499 697
Сердца и спутники	500 697
Цыгане	501 697
Мельхиор	502 697
Об Иване Великом	503 698
«Артиллерист стоит у кормила...»	503 698
«Как казначей последней из планет...»	504 698
«Весна, ты сырость рудника в висках...»	507 698
«Тоска, бешеная, бешеная...»	507 698
Полярная швея	509 698
«Улыбаясь, убывала...»	510 698
Предчувствие	511 698
Но почему	512 698
Materia prima	513 698
«С рассветом, взваленным за спину...»	514 698
«Вслед за мной все зовут вас барышней...»	514 698
Pro domo	515 698
«Осень. Отвыкли от молний...»	515 698
«Какая горячая кровь у сумерек...»	516 698
Скрипка Паганини	516 698
«Порою ты, опередив...»	519 698
Arassiojata	519 699
Последний день Помпеи	520 699
«Это мой, это мой...»	521 699
Прощанье	521 699
Муза девятьсот девятого	522 699
Наброски к фантазии «Поэма о ближнем»	523 699
«Уже в архив печали спдан...»	528 699
Драматические отрывки	528 699
Любовь Фауста	537 699
Голос души	538 699
Голод	539 699
Gleisdreieck	540 700
1 мая	540 700
Морской штиль	541 700
Стихотворенье	542 700
«Трепещет даль. Ей нет препон...»	542 700
Осень («Ты распугал моих товарок...»)	543 700
Перелет	543 700
Стихи для детей	
Карусель	544 700
Зверинец	546 700
Асееву	550 702
Мороз	551 702
«Когда смертельный треск сосны скрипучей. »	551 702
«Мгновенный снег, когда булыжник узрен...»	552 702
«Жизни ль мне хотелось слаще?...»	552 702

«Будущее! Облака встрепанный бок!...»	553	702
«Я понял: всё живо...»	554	702
«Все наклоненья и залогии...»	555	703
Правда	557	703
1917—1942	558	703
Спешные строки	558	703
Зарево	560	703
Памяти Марины Цветаевой	567	703
Одесса	568	705
Бессонница	569	705
Под открытым небом	570	705
Нежность	570	705
Актриса	571	705
«В разгаре хлебная уборка...»	572	705

РАННИЕ РЕДАКЦИИ

«Когда за лиры лабиринт...»	577
Сон	578
«Сегодня с первым светом встанут...»	578
Вокзал	579
Венеция	580
Зима	581
Пирь	582
«Встав из грохочущего ромба...»	583
Зимняя ночь	583
Двор	584
Дурной сон	585
Ледоход	587
Весна	588
После дождя	588
Баллада («Бывает, курьером на бѳрзом...»)	589
Мельницы	591
Марбург	593
Любка	595
Спекторский	596
Из записок Спекторского	603
«Пока мы по Кавказу лазаем...»	606
Летний день	608
Осень	609
Когда разгуляется	610
Осенний лес	611
За поворотом	612
Всѳ сбылось	613

ПРИМЕЧАНИЯ	615
-------------------	-----

К иллюстрациям	706
Алфавитный указатель стихотворений	707

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), В. Г. Базанов,
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора),
В. М. Жирмунский, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский.*

Пастернак Борис Леонидович

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель» 1965 г. 732 стр.

Тем. план вып. 1965 г. № 531

Редактор *Г. М. Цурикова*

Художник *И. С. Серов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректоры *О. К. Королева*

и *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 30/VII 1964 г. Подписано в печать 25/V 1965 г.

М 40148. Бумага $84 \times 106^{1/32}$. Печ. л. $227/8 + 7$ вкл. Уч.-изд.

л. 34,5. Тираж 40 000. Зак. № 1359. Цена 1 р. 24 к.

Издательство «Советский писатель»

Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома

Государственного комитета Совета Министров СССР

по печати, Красная ул., 1/3

З А М Е Ч Е Н Н Ы Е О П Е Ч А Т К И

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
280	11 св.	Вдохнувши	Вдохнувши
527	5 сн.	Бросал	Бросая
622	4 сн.	поморье	поморьем
672	8 св.	ее	его
720	5 св.	вижу	вишу

Б. Пастернак

